

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

NIZHNY NOVGOROD 3(20)/2018



КИРИЛЛ
ЛОДЫГИН
Нижний Новгород

39



АЛЕКСАНДР
ПОНОМАРЁВ
Лигецк

69



БАХЫТЖАН
КАНАП'ЯНОВ
Алма-Ата

93



ГЕННАДИЙ
ЁМКИН
Саров

98



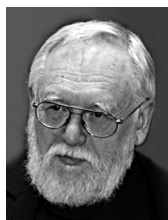
ЕКАТЕРИНА
СОЛДАТЕНКО
Ростов-на-Дону

107



ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
Коктебель

110



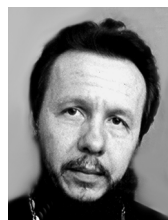
БОРИС
БАРТФЕЛЬД
Калининград

164



СОФИЯ
МАКСИМ'ЧЕВА
Ярославль

180



ВЛАДИМИР
ГОФМАН
Нижний Новгород

184



ЕЛЕНА
АРСЕНЬЕВА
Нижний Новгород

187



ИРИНА
ДЕМЕНТЬЕВА
Нижний Новгород

212



НАТАЛИЯ
КУРЧАТОВА
Санкт-Петербург

214



ЕЛЕНА
СОМОВА
Нижний Новгород

216



БОРИС
ЛУКИН
Москва

217



ВИКТОР
БАКИН
Киров

236

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Светлана ЧУРАЕВА	
АПОКРИФ О ПАВЛЕ	4
Кирилл ЛОДЫГИН	
ДВЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ КАСТРЮЛЬКИ И ЧАЙНИК ДЛЯ ЭКСТРЕМИСТОВ	39
МЕХАНИЗМЫ	47
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ	58
МЕД АСОВ	65
Александр ПОНОМАРЁВ	
ОХОТА НА ПРИЗРАКА	69
Анна КУЗНЕЦОВА	
<i>Из цикла «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ. Простые женские истории»</i>	
ИВАННА	84
ХОРОШИЙ ДЕНЬ	89
Евгений АЛЮТИН	
МУДРЫЙ ВОРОБЕЙ	91

Поэзия

Бахытжан КАНАПЬЯНОВ	
...ИЗ КНИГИ БЫТИЯ ГЛУБИННЫЙ ЛЬЕТСЯ СВЕТ	93
Геннадий ЁМКИН	
ЦВЕТЫ! Я ВАМ С РОЖДЕНЬЯ ДРУГ...	98
Софья АЛЕКСАНДРОВА	
МНЕ НЕ СКРЫТЬСЯ ОТ БЕШЕНЫХ ЗВЁЗД....	103
Екатерина СОЛДАТЕНКО	
ДО СВЕТА ЗВАТЬ ЖИВЫХ...	107

Проза

Владимир АЛЕЙНИКОВ	
НЕ СЛУЧАЙНО Я ВСПОМИНАЮ	110
Борис БАРТФЕЛЬД	
ФИРС	164
Юлия КИМ	
ТЫ ПАХНЕШЬ МОРЕМ	170

Поэзия

Иван АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	
РВАННОЙ ПЕНОЙ ВЗДЫБИЛОСЬ ПРОРОЧЕСТВО....	176
София МАКСИМЫЧЕВА	
И НАЧИНАЕТСЯ ОТСЧЁТ ЭПОХ ДРУГИХ...	180
Владимир ГОФМАН	
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ	184

Из будущих книг

Елена АРСЕНЬЕВА	
ТАЙНА ВОСКРЕСШЕЙ ЦАРЕВНЫ	187
Вениамин ЧЕРНОВ	
БИТВА ПРИ КАЛКЕ	198

Стихи по кругу

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА	212
Наталия КУРЧАТОВА	214
Галина МИНЕВИЧ	215
Елена СОМОВА	216
Андрей КАНЕВ	216
Борис ЛУКИН	217
Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ	217
Пётр РОДИН	218
Лариса БУХВАЛОВА	220

Литпроцесс

Валерий РУМЯНЦЕВ	
СМЕРТЬ ЧИТАТЕЛЯ – это лишь версия или?..	221
СОБРАТЬЯ ПО ПЕРУ в поэзии Михаила Анищенко	225
Анастасия ВЕКЛОВА	
РАЗДЕЛЕННОЕ ЕДИНСТВО	230

Далекое — близкое

Виктор БАКИН	
ВБЕГУТКИ... ПО ВРЕМЕНИ.	236

Светлана ЧУРАЕВА

Родилась в новосибирском Академгородке. Окончила факультет филологии Башкирского государственного университета. Работала журналистом, специалистом по рекламе в разных изданиях, в настоящее время заместитель главного редактора журнала «Бельские просторы»

Соавтор перевода на русский язык текста Государственного гимна Республики Башкортостан. Печаталась в журналах: «Октябрь», «Дружба народов» и др. Финалист премий им. Бориса Соколова (2005) и «Исламский прорыв» (2006).

Член Союза писателей России Живет в Уфе.

АПОКРИФ О ПАВЛЕ

...Люди были раздражены в сердце и скрежетали зубами. А Стефан всмотрелся в небо и сказал:

– Вот, я вижу открывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога!

Иаков, слышавший эти слова, горестно поджал губы. Сын Человеческий!

Безмозглая мать не учила Иисуса. Пока он был младенцем, лишь валялась с ним на неубранной постели, дни напролёт. И разговаривала с ним на голубином его языке, и блаженно слушала, как он гулит в ответ, и целовала его беспрестанно, лишь изредка поднимая голову, чтобы спросить:

– Ну, посмотрите, разве он не чудо?

На неё все в доме махнули рукой: что взять с дурочки.

А он рос, и всё давалось ему непозволительно легко. Любые умения, любые науки. Он уверенно спорил с учёными мужами, поражал беседами заезжих рабби.

Эта его неизбывная уверенность в себе! Это вечное высокомерие! Не задумываясь, отвечал на любой вопрос. «Господь, Отец мой, говорит во мне», – пояснял он брату.

Нам ли не знать, кто был его отец!

Но люди почему-то верили ему. Люди шли за ним, влюбляясь в него с первого взгляда. И слушали, как пророка. Он говорил увечному: «Иди!» – и увечный шёл. Он говорил слепому: «Прозрей!» – и слепой

видел. Откуда его власть? Уж не от глупой рыжей девочки, его матери, которая, как подсолнух лучи, ловила каждый вздох своего сыночка.

Он безбоязненно ходил по дорогам. В неистребимой своей самонадеянности полагая, что ни разбойник, ни зверь не тронут его. И люди уходили за ним, бросая свои дела.

Женщины обливали его ноги слезами, и отирали их волосами своими, и нежно целовали ему ноги и мазали миром. Никогда женщины не целовали ног ему, Иакову! А ведь он красивее брата.

Женщины служили Иисусу, а он и это принимал как должное. И в высокомерии своём прощал, будто он сам Господь.

«А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит».

Любовь, она не кончалась в нём, не кончалась в его речах!

«Как возлюбил меня Отец, так и Я вас возлюбил; пребудьте в любви Моей».

Он говорил, что пришёл вернуть в мир любовь, а сам умер позорной смертью, как тать, осрамившись пред всем Иерусалимом.

Но и в смерти ему повезло, как незаслуженно везло всю жизнь. Имя его передаётся из уст в уста, и люди почитают его за мессию.

Его, Иакова, мать ещё в чреве своём посвятила Богу. Он всегда жил праведно, а Иисус грешил против закона. Зато теперь он, Иаков, до самой смерти лишь «брат Господень», и не иначе! «А, – говорят про него люди, – это который брат Его?» Как глупо и несправедливо! Ведь не может какая-то любовь стоять выше закона и праведности.

Он, Иаков, всегда ступал степенно, а сейчас на один хороший шаг делает пять мелких. Его сбивают с шага – улица узкая, а люди устремились к воротам развлекаться убийством.

Люди, закричав громким голосом, единодушно устремились на Стефана. Выгнав его из города, они стали побивать его камнями. А свидетели сложили свою одежду у ног юноши, которого звали Савлом.

И побивали Стефана камнями, а он призывал Господа и говорил:

– Господь Иисус, прими мой дух!

Иаков не хотел смотреть дальше, он захотел вернуться в город. Но люди спешили ему навстречу, к месту казни, и толкали его, и влекли за собой, чуть не сбивая с ног.

– Жестоковейные! – со смехом кричал им Стефан. – Чем гордитесь вы перед Богом? На хрен вам мудрость и милосердие Его, вам – с необрезанными ушами и сердцами!

Иакову больно ударили по лицу локтем, ему топтали ноги и рвали одежды, но он упорно протискивался прочь.

– Иаков! – заметил его Стефан, задорно крутя головой, чтобы видеть одним уцелевшим глазом. – Передать привет брату?

Но ответа не получил: Иаков уже забился в толпу.

«Закон и справедливость», – думал Савл.

Закон и справедливость торжествуют, и счастлив Савл своим служением им. Безумец Стефан преступил закон и возмутил людей. Справедливо, что его побивают камнями и забрасывают помётом животных. Жестокая, безобразная казнь, подобна забавам детским, шумным и беспощадным. Ей предан вид государственной процедуры, а суть неизменна – потеха черни и горе гонимому. Гонимый получил по заслугам. Справедливо, что ему, Савлу, благочестивому и благонравному, – почёт, а Стефану – помёт.

– Ты! – крикнул казнимый Савлу. – Пустозвон! Кимвал звучащий, медь звенящая!

Пустозвон? Так звала его мать шёпотом, склоняя лицо своё над работой. Так дразнили Савла мальчишки-сверстники, кидаясь грязью, гоня по единственной улочке Тарсы. Так выругалась блудница, жирная и неопрятная, когда он, аскет и избранник божий, отверг её покупные искусства.

Пустозвон! Он достойно отвечал в суде на кощунства Стефановой речи. Слова его, фарисея Савла, будет передаваться в народе и послужит потомкам наукой. Он избран Господом отстаивать закон пред неразумными. А этот жалкий фанатик из зависти пачкал язык. Кимвал звучащий, медь звенящая – пустозвон!

Савл кинул камень, не целясь, дыша обидой и гневом. Потом ещё и вскоре кричал с толпой единый бессмысленный вопль ликования травли.

Стефан рухнул на колени, обливаясь кровью, захлёбываясь кровью, истекая кровью на камни. «Господь, не вмени им греха, детям своим», – попросил он, увидев Бога.

А Савл одобрял его убийство. А толпа возмутилась, что потехе уже конец. И в тот день произошло большое гонение на церковь, которая была в Иерусалиме. Евреи пошли громить христиан, евреев.

Глава первая

Страшный Суд всё не наступал, и назореи покуда судились друг с другом.

Евреи, члены иерусалимской назорейской общины, рядились с эллинистами, евреями членами иерусалимской назорейской общины, вернувшимися из греческих земель в святой город. Те, дескать, распустились в своих элладах, позабыли отцовский закон, без которого еврей – не еврей, а презренный язычник и кал пёсий.

Эллинисты же смеялись над иерусалимским птичником да посмащивали, как бы их правоверные собратья, эти голубки надутые, в скаредности своей не склюнули лишнего. «Всё твоё – это моё, и всё моё – тоже моё», – вот тебе и общность имущества. Голубки кроткие, а клювом не щёлкают: нет-нет да подгребут под себя сладкого сору. Не вступишь Стефан за эллинистских вдов, где сейчас были бы те вдовы? Подошли на своих крохах? Смирение, милосердие на словах, а случись – растерзают, заклюют насмерть.

Где молитва, где служение слову – всё суета и злоба!

Хорошо Стефан разворошил курятник: раскудахтались назореи, vybrали семь человек следить за хлебом насущным. И отлично Стефан вёл все дела – не дурак, и деньгами привык ворочать, и за словом в карман не лез.

Но горе истинно праведному – протухло время, в котором живём! Господь медлит с судом, а синедрион скор на расправу. Доносчики шепчут молитву, а где умница Стефан, молодой, горячий? Валяется беззастенчивым трупом, скалится дерзко в безмятежное небо. Пусть себе мухи пируют, пока не засохла кровь да не спёкся вытекший глаз – справедливый Стефан и при жизни следил, чтобы все были сыты. Радуйтесь, мухи!

А убийцы его спешат по вечернему Иерусалиму за своим предводителем – молодым фарисеем по имени Савл.

Слушает топот их под своими окнами смиренный Иаков, брат Господень, глава назорейской общины.

После вечерней трапезы взялись за священные книги назореи-эллинисты, скорбя по Стефану, своему брату казнённому.

Горд и взволнован молодой фарисей по имени Савл. Сколько гоняли его по улицам родной Тарсы, сколько смеялись над ним! Не помогали ни деньги отца, ни добрая слава его благочестивой матери. А тут, в Иерусалиме, в городе Храма, в центре мира, он, Савл, сделал карьеру. Он учён, он постиг премудрости писаний и уважаем в синагогии. А сейчас идёт очистить любимый город от скверны, разорить источник смуты, грозящий иудеям многими бедами. Не то дождутся эти евреи, говорящие по-гречески, довыступаются, навлекут на себя и на весь Иерусалим гнев неразборчивых римлян.

Сейчас его, Савла, сам Господь взял в руки свои. Да свершится божья кара над неразумными! Горд и взволнован молодой фарисей по имени Савл, он – меч разящий в руках Господних.

Невозмутим Иаков, брат Иисусов, в доме своём. Убийцы идут мимо его дома, идут расправиться с грешниками, усомнившимися в законе. Давно пора было вычистить с поля дурные травы, чтобы распрямились и вызревали злаки истинно праведных. Он, Иаков, на многие земли славен смирением своим. Не вкушает ни вина, ни мяса, не стрижёт волос, не натирается благовониями, блюдёт стыд всегда и повсюду. Он спасён от мирской суеты, сам Господь взял его, Иакова в руки и говорит с ним. Господь карает дерзких, а он, Иаков, невозмутим в доме своём.

Назореи-эллинисты вели вечернюю беседу с Богом, единым и вездесущим, и сыном Его распятым, победившим смерть. Их жёны и сёстры молились тоже. Те, кто не был занят засыпающей малышкой. А кто был занят, тихо пели о любви, укачивая тяжёлых младенцев. Дети постарше засыпали кто где, хихикающими стайками, устраивая непременные потасовки из-за тонких шерстяных одеял. Трёхлетний Лука, первенец Филиппа и Марфы, свернувшись, как зародыш, в своём углу, изо всех сил сжимал глаза и шептал слова о добром боженьке, чтобы не бояться наступающей ночи. Белела под тёплым небом трёхэтажная инсула времён Великого Ирода, чернели в тёплой земле вкопанные кувшины с зерном, водой и маслом, упала роса на развешенное бельё, на детские качели, на посыпанные щебнем дорожки.

Горек был день, унёсший их брата, но он прошёл, и назореи-эллинисты вели вечернюю беседу с Богом, единым и вездесущим, и сыном Его распятым, победившим смерть.

Убийцы Стефана – деловитые палачи синагогии и просто азартные добровольцы – ворвались в общину, крича и топя, чтобы казаться злее. Савл, меч разящий в руках Господа, дрогнул было, замешкался, не зная, с чего начать. Но его сподвижники уже хватили, вязали мужчин и женщин, отшвыривали детей, визжащих и плачущих. Потрошили кладовые и погреба, волокли в кучу драгоценные свитки. Худой чиновник сидел на стуле, невозмутимо сортировал арестованных, сверяясь с разложенным на коленях списком – сотни имён, итог многомесячной работы трудолюбивых доносчиков. Связанных уводили, убегающих ловили, над остальными глумились жестоко, распалившись от жара расправы.

И Савл свирепствовал вместе с другими. Он хотел быть холодным клинком справедливости, но уже полилась дымящаяся кровь, истекали горячим потом дерущиеся тела, потрескивали рвущиеся одежды, по сваленным по полу свиткам побежали первые ящерки пламени – жар охватывал всё.

Вскоре погромщики, хохоча и спотыкаясь, как пьяные, бежали в другие дома. Под тёплым небом пылала трёхэтажная инсула времён Великого Ирода. Вопили и рыдали истерзанные жертвы. Каталась по земле, выла безумная Марфа, мать трёхлетнего Луки, уже не слыша визга своего горящего сына. Растрёпанный Филипп упрямо баюкал голодную дочку. Ходил по двору, не обращая внимания на пожар и крики, баюкал грудную дочурку, пел ей о любви и спрашивал Господа: за что слепотой ты караешь детей своих, иудеев, граждан иерусалимских?

Несколько дней продолжались в Иерусалиме гонения на христиан-эллинистов. Кто успел, уехал прочь с домочадцами, животными и скарбодом. Кто не успел, попал под суд синедриона и римлян.

Скорбели апостолы по своим грекоязычным братьям, посылали учеников навещать гонимых в темницах, прятали у себя осиротевших детей, молились за невинно убитых.

Молился, не вкушал ни вина, ни мяса, не стриг волос и не натирался благовониями в доме своём благочестивый Иаков.

Савл, меч разящий в руках господних, нелепый низкорослый юнец, кривоножка, заслужил похвалу синедриона и был отправлен агентом в Дамаск – выжечь и там назорейскую пакость.

...Путники остановились на отдых и ночлег. Наутро – один переход, и они будут в Дамаске ещё до пекла.

Здесь, у подножия холма, – хорошее место для привала, давнее излюбленное стойбище пастухов и торговцев. Безветренное, тенистое, но достаточно открытое, чтобы не слишком донимал гнус. Родник расчищен, заботливо обложен галькой; свежая вода удобно стекает по специально прилаженному обломку кувшина. В небольшой пещерке под корнями старого дерева аккуратной горкой сложена растопка...

Благословенное место.

Впрочем, Савл и его товарищи пока не нуждались в огне. Они расседлали ослов, разложили поклажу, набрали воды и достали свои немудрёные припасы: плотные жирные комки сыра, хрустящие хлебцы и свежие, по сезону, фрукты. Молодое розовое вино радостно полилось в чаши... Благословенная трапеза, степенные беседы.

Солнце ярилось где-то высоко над деревьями, от ручья тянуло прохладой, хорошо лежалось уставшим, легко говорилось под молодое вино.

То да сё, и разговор вышел на людей, способных принимать звериную личину. Всерьёз никто из собеседников не верил в подобные превращения, но на этот счёт ходило много интересных и даже скабрёзных баек – так отчего не побалакать, пока не стемнело.

– Вздор, чушь египетская! – вскрикнул Савл, покраснев после очередной особенно сочной истории. Но его, мальчишку прыщавого, никто не слушал: каждый, отсмеявшись, спешил рассказать о своём и старался запомнить то, что рассказывали другие.

– Вот ещё, – начал очередной рассказчик. – Один колдун мог превращаться в кого угодно. А жена у него была лакомка, каких поискать. И очень ей нравилось, когда он начинал львом. Ну, понимаете, шкура там

какая-то особенная на ощупь, запах... Гриву ей нравилось трепать. Но главное в этом деле был язык! Якобы язык у льва... – Вдруг за деревьями раздался львиный рык, все вздрогнули, но сразу же рассмеялись – совпадению и своему испугу.

– Богомерзость, – бормотал Савл, против воли жадно желая услышать продолжение.

– А кончал-то он кем? – спросил наименее сдержанный из слушателей.

– погоди! – одёрнули его.

Рассказчик, утерев выступившие от смеха слёзы, снова раскрыл рот, но вдруг закричал и повалился лицом на плащ, закрывая голову руками. Все как лежали, так и замерли в ужасе – к ним вышел огромный человек с львиной головой.

За ним – чёрный голый раб, ещё огромнее, чем хозяин. Он бережно поставил на камни большой кувшин.

– Что орёшь, – пробормотал негр на хорошем греческом, – карлика разбудишь. – И он осторожно заглянул в глубину кувшина. Удовлетворённо кивнул: – Спит.

Тут подошли ещё люди, странные чужеземцы, явно варвары по обличию. Один с косматой бородой, с пышным завязанным хвостом волос на макушке, свирепый, краснолицый, в одежде из шкур и кожи, обвешанный оружием. Другой, наоборот, – бритый, но с полоской воинственно торчащих волос на голове, с иссечёнными шрамами рожей, одетый в лёгкие доспехи, грубый плащ, в руке – обоюдоострый топор. За ними ещё – дикие, страшные, заполнили поляну, явно не стесняясь прибывших ранее. Захлопотали по-хозяйски. Воздух наполнился резкой незнакомой речью, запахом зверинца, дыма, копчёной рыбы, ячменной браги. Бряцало оружие, поодаль громко, непристойно рассмеялась женщина.

– Заткнись, Хель! – крикнул, отвернувшись, негр. – Карлик спит.

Страшная баба высунулась из-за плеча волосатого варвара, нарезавшего на камне хлеб. Половина лица – сплошное фиолетовое пятно, ото лба до подбородка, вторая половина – красоты неопишуемой, яркой, свирепой. Круглые плечи, красивые руки, высокая грудь под шерстяным платьем, но в бесстыдные разрезы ниже пояса видно, что с ногами что-то не в порядке – чуть ли не голые изъеденные непонятной болезнью кости белеют среди юбок. Вокруг горла у бабы блеснул металлический ошейник, цепь от которого прикрепили к дереву. Что не мешало ей хохотать и браниться с безумной яростью. Негр попытался урезонить неистовую тварь, заговорив на её языке, но тщетно. Тогда один из воинов просто ударил её прямо в рот, с такой силой, что уродина отлетела к дереву, ударилась о ствол, сползла по нему, злобно визжа и громяхая цепью.

Львиноголовый посмотрел на неё спокойно, она сразу замолчала, затихла, зарывшись в своё тряпье, закрыв лицо рыжими космами.

Богомерзость! Савл во все глаза смотрел на это адово скопище.

Впрочем, всё выглядело довольно мирно. Львиноголовый – его лицо действительно очень напоминало звериную морду – прилёг на плащ, отпил из кисло пахнущей плетёной бутылки. Негр, пожалуй, всё-таки не раб, приладил свой кувшин между камнями, улёгся рядом, положив щеку на тёплый валун. Остальные расположились группками, кто где, зачавкали, забулькали, не воздав даже хвалу господу за дары его.

Евреи, собрав припасы, сгрудились настороженной кучкой возле своих ослов.

– Ешьте, не стесняйтесь, – милостиво предложил человек с головой, похожей на львиную. – Вы нам не мешаете. – С евреями он заговорил по-арамейски.

Те неприязненно промолчали.

– Они брезгают. Разве ты не знаешь их обычаев? – насмешливо спросил один из пришельцев. Он подошёл и сел рядом с львиноголовым.

Этот, подошедший, сильно отличался от своих товарищей: по лицу и по одежде видно, что местный, иудей, только ноги босы. Улыбнулся, достал из сумки большую сушеную рыбку и неторопливо, со вкусом, принялся её разделывать.

В этой дикой ватаге был ещё один иудей. Но в виде непотребном совершенно: одежда порвана, весь в крови, в садинах, один глаз выбит и жутким месивом размазан по виску. Впрочем, этот вид и самому раненому был явно противен: он, став на колени перед ручьём, принялся смывать с себя грязь.

Чудны дела твои, Господи!

– Кто вы? – не удержался от вопроса Савл. И попытался говорить чуть любезнее. – Куда путь держите?

– Мы ищем клады, – вежливо ответил человек с львиной головой.

Вот как – гробокопатели! Разорители древних гробниц, которых множество в здешних пустынях. Ничейные люди и без бога в сердце, и без царя в голове. Слепцы, гоняющиеся за призрачным блеском золота.

– Что же ты отодвинулся, рабби? – весело спросил иудей, разделывающий рыбу.

Савл промолчал. Иудей, сдув с пальцев рыбью чешую, похлопал Савла по плечу.

– Ты – рабби, и я – рабби. Мы поймём друг друга. Будь доверчивее к миру, не жди от него зла, и мир ответит тебе добром. – У этого человека был нестерпимый галилейский акцент, и Савл не удержался от грубости.

– Уж не думаешь ли ты меня поучать? – Ещё чего не хватало! Его, уважаемого агента синедриона будет учить галилейский нищий, подрабатывающий проводником у язычников, да ещё не гнушающийся делить с ними трапезу!

– Что плохого в поисках кладов? – недоумённо спросил львиноголовый. Он стряхнул налетевший в белую гриву рыбий мусор, отхлебнул из своей бутылки и передал бутылку проводнику. Этот чужеземец один из всей ватаги был совсем без оружия, но очень уж велик ростом и почему-то казался опасным.

Савл, испугавшись, ответил:

– Клады не приносят счастья. Их закапывают под злое колдовство. Только хозяин, сильный чародей или блаженный недоумок может безбоязненно притронуться к кладу. Потому что для мудреца и для дурачка сокровища – просто побрякушки, без ценности и пользы. Над остальными клады имеют страшную власть.

– Наше ремесло трудное, – согласился гривастый. – Но не хуже прочих. При чём тут счастье, колдовство? Мы зарабатываем деньги, вот и всё. Какое же ремесло у тебя, сердитый?

– Я делаю палатки, – ответил Савл. Это было правдой, а о своей богоугодной миссии он предпочёл промолчать. Делать палатки, печь хлеб, обучать мудрости – работа полезная людям. А поиски кладов – пустая погоня за золотым тельцом. Суэта ради обогащения – не ремесло.

– Дорого берёшь за палатки? – спросил, подойдя к ним, раненый, который отмылся в ручье и выглядел уже не так дико. Одноглазый удивительно походил на Стефана, казнённого назорея, и это было очень неприятно Савлу. Он буркнул:

– Обычную плату.

– Это хорошо, – сказал похожий на Стефана. – Хорошо, когда знаешь, сколько, чем и за что платишь. А я вот недавно отдал глаз и получил возможность видеть незримое.

«Безумец», – подумал Савл.

– Глаз за науку – это недорого, – белогривый что-то подсчитал в уме.

Все они безумцы. Два этих странных еврея, этот спящий негр со своим карликом в кувшине, этот урод со звериной башкой, не говоря уж о прочих – их слишком много. Савл решил не злить чужаков, рассмеялся через силу:

– Все мы гоняемся за кладами! Вы ищете их в песках, мы, евреи, роемся в древних черепках наших священных писаний.

– Вот и молодец, – обрадовался похожий на Стефана. – Выпей с нами!

«Сыну богоизбранного народа пить с язычниками?!» – подумал Савл.

– Что есть богоизбранность? – отхлебнув из бутылки, изрёк галилеянин. – Бог избирает и даёт многие дары. Ты, одарённый вдесятеро, лучше ли прочих? Нет, ты вдесятеро отвечаешь перед Господом своим. Пастуху, пасущему десять овец, больше хлопот и меньше праздности, чем пасущему одну овцу. Ему вдесятеро отвечать перед господином. Тебе, богоизбранному, предстоит много трудов, выпей с нами! До-станьте чашу.

– Ту самую? – уточнил одноглазый.

– Да.

Не выпить – страшно, выпить – противно. Савлу протянули тяжёлую чашу, налив туда тёмный варварский напиток. Со змеиным шипением поднялась из чаши белая пена, выползла на песок.

– Пей, – подбодрил галилеянин. – Хорошо пойдёт в жаркий-то день.

– Разломил руками блестящий слиток рыбьей икры, половинку протянул Савлу.

Тот хлебнул – горько, не вино. Откусил – икра противная, едко солёная, липнет к зубам. Скорее отпил ещё, чтобы прополоскать рот. Горько.

– Так вкушаем мы горечь познания после соли наших печалей, – произнёс сумасшедший одноглазый еврей.

– Пить познание горько, – подтвердил проводник, – но от него становится легко душе и приятно телу. Пей, пей до конца.

Вот и всё. Савл содрогнулся – пустая чаша была вымазана чем-то чёрным, запёкшимся потёками по стенкам и намертво налипшим на дно.

Диковинная, тяжёлая гладкая чаша – два полушария, сросшихся макушками. Пенное варварское пойло. Горькое, тёмное – куда ему до сладких виноградных соков, до светлой солнечной крови горы Кармель! Никакого удовольствия от такого угощения, боже упаси выпить его вторично.

– Привыкнешь, – успокоил великан с головой зверя. Он затеял с проводником странную игру. Начертил прутиком на мокром песке две невиданные буквы, между ними – точки. Галилеянин пристально всмотрелся в эти знаки.

– Эйваз? – спросил, подумав.
 – Нет, – ответил львиноголовый и накарябал рядом вертикальную палочку.

– Отал, – предположил еврей.

Его соперник согласился и вписал вместо одной из точек ещё одну странную букву.

Потом галилеянин снова сказал неправильно. Вертикальную полоску на песке зачеркнула горизонтальная. Следующая буква мимо, и на рисунке появился кружок с глазками и ртом – голова. Ещё ошибка – туловище. Проводник никак не мог отгадать, какие буквы следует вписать вместо точек, и проиграл. Львиноголовый дорисовал человечка на кресте и радостно объявил:

– Распят!

Галилеянин, пожав плечами, стёр рисунок. Написал свои буквы.

– Отыграюсь. Давай, начинай.

– Ингуз! – воскликнул чужестранец с головой льва.

Его друзья рассмеялись.

Димас, старый никчёмный раб, то и дело как бы невзначай проходил мимо играющих. Этот разряженный суетный человечек считал себя учёным, мудрецом, философом и любил, чтобы другие считали так же. Но сейчас он, позабыв всякое достоинство, кружил около чужеземцев, как любопытная шавка.

Наконец не выдержал и обратился к львиноголовому:

– Ты позволишь спросить, господин мой?

– Позволяю, – буркнул тот.

– Где выучился ты этим письменам?

– Нигде.

Чужеземец, пощипывая себя за ухо, раздумывал, какую следующую букву назвать, а Димас притворился обиженным. Но на него никто не обращал внимания, поэтому он спросил снова:

– Из какой ты страны, о, господин мой?

Чужеземец с досадливым недоумением уставился на жирного курчавого раба, будто вспоминая, что это и откуда. Старый грек вдруг испугался: неподвижное лицо его странного собеседника теперь уж слишком напоминало львиную морду, и смотрел он зверь зверем.

– Ну, допустим, из Асгарда. Ты доволен, червь?

Димас лстыиво рассмеялся:

– Изволите шутить, мой господин? Такой страны нет.

Чёрный гигант рядом пробормотал, не открывая глаз:

– Хочешь, я сделаю, чтобы тебя не было?

Смех Димаса стал тоньше и визгливее.

– Эй, это мой раб! – предостерегающе крикнул Савл, но его будто и не услышали.

– Я мог бы наказать тебя: отнять у тебя зрение, слух, способность к речи. – Грек, поверив, затрясся. – Но не могу, – закончил львиноголовый. – Поскольку у тебя нет ни того, ни другого, ни третьего. Ступай, раб. – Повернулся к игравшему с ним иудею. – Этот дурак сбил меня, доиграем после?

Иудей усмехнулся:

– Всё равно тебе болтаться на Югдрасиле!

Савл, сердито оттолкнув потного Димаса, отошёл от лагеря по нужде. Чужаки за его спиной громко заговорили на непонятном языке.

У Савлова плаща вдруг оторвалась пряжка и звонко покатила по камням. Юноша побежал за ней, присел, стал шарить в траве, опёрся о нагретый солнцем валун. И тут земля, разверзшись, поглотила его.

Холодный мёртвый воздух пещеры вернул Савлу сознание.

Везде, куда ему могла набиться земля, была земля. Он зашевелился, и новый земляной поток с мелкими и крупными камешками обрушился ему на голову. Фыркая и отплёвываясь, Савл яростно рванулся вперёд, почувствовал ногами твёрдый пол, оглянулся, отряхиваясь.

Из провала над головой падал тусклый свет, освещая гладкие стены, тщательно выровненные до самого свода пещеры. На них явственно проступали древние рисунки, изображения коров, буйволов, оленей. На фризах начерчены какие-то каракули – косые и поперечные линии. Длинный ряд кувшинов у одной из стен тянулся далеко в темноту.

Прямо около ног Савла раскинулся обнажённый тонкокостный скелет, нижняя часть которого была отрублена по рёбра и отсутствовала. Чуть поодаль, чинно прижавшись друг к другу, вытянулись ещё скелеты: пяти детей и одной женщины. Эти были щедро разряжены. Золотые украшения ящерами поблёскивали там и тут среди мёртвых костей.

Савл, испуганно попятившись, споткнулся об один из кувшинов около стены. Тысячелетний сосуд медленно развалился, разрушая и соседний. Крошечный засохший трупик недельного младенца выпал на каменный пол. Его тут же прикрыло черепками второго кувшина, на которые выкатился точно такой же скорченный младенец, прикрывающий серую головку чёрными очень маленькими пальчиками. Нежный пух вековой плесени на хрупком остове сохранил трогательные очертания новорожденного ребёнка.

Кувшинов было очень много, и каждый мог от малейшего прикосновения разродиться истлевшим младенцем. Савл замер в ужасе, сдерживая дыхание, кощунственное в этом обиталище мёртвых.

Младенец на куче черепков съехал чуть ниже, лениво продолжая начатое движение, одна ручка его легко отвалилась, оставшись лежать отдельно. Трупик тут же утратил всякую трогательность, остановился, уткнувшись в глиняный обломок чётко различимой пробойной родничка на черепе. Перевернутое личико косилось беззубой челюстью, жутко смотрело в пустоту грустными овалами глазниц.

Несколько минут было очень тихо. Потом из темноты, из глубины пещеры послышались шаги.

– Прочь! – завизжал Савл. – Прочь! – завизжал тонко, как летучая мышь. Отступил, свалился тяжело на земляную кучу за спиной. Сверху обрушился большой пласт дёрна, и яркий свет пронизал взвесь поднимающейся пыли.

– Савл! Савл, почему ты гонишь меня? – спросил приятный голос совсем близко.

Агент синедриона узнал галилейский акцент странного иудея, пришедшего с чужеземцами. Зашевелился на куче, пытаясь встать. В глаза его набилась пыль, он никак не мог проморгаться, слёзы мешали ему видеть. Поставил неуклюже ногу, услышал, как хрустнули под сандалией тоненькие косточки, и закричал.

– Не бойся младенцев, Савл, – успокоил мягкий голос. – Это глупые древние люди принесли в жертву своих первенцев, живыми втиснули

в эти кувшины, головами вниз, как привыкли они, вызревая в утробе. Эти дети не накопили зла, не бойся их, Савл.

Но Савл очень боялся.

В непроницаемой темноте пещеры зазвучали деловитые голоса спутников галилейского рабби. Шум, шорох, забубнил на греческом негр, перечисляя найденные драгоценности. Кто-то споткнулся, выругался: «Ваальство!», его одёрнули.

– Вот ведь, – грустно продолжал голос проводника кладоискателей. – Иеремия и Иезекииль всё попрекали Ваала человеческими жертвами. Неужели они не читали книги? II и IV книги Моисея: «Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота...» – голос бормотал цитаты из Писания, и Савл стал успокаиваться.

– Горе народу, который убивает своих младенцев, – в голосе послышался вздох. – Горе людям, когда они разучились передавать детям своим любовь. Дети благословенны, ибо они вызывают улыбки на наши лица и свет в наши души.

«Золотая налобная повязка, – диктовал негр, – восемь золотых, два серебряных и три бронзовых кольца, пять голубых жемчужин, серебряная пряжка...»

«Кто записывает за ним? Ведь так плохо видно», – встревожился Савл.

Голос львиноголового задумчиво произнес.

– «Тогда сказала Гиафлаг, сестра Гиуки: восемь для меня самое несчастное число на земле. Я потеряла не менее пяти мужей, двух дочерей, трёх сестёр и восемь братьев...»

Савлу опять стало жутко.

– Не бойся, – подбодрил голос галилеянина.

– Кто вы? – спросил Савл.

– Бессмертные, – получил он ответ.

– Боги?

– Боги? – задумчиво переспросил голос. – Не знаю, бессмертных часто называют богами.

– Почему?

– Они могущественнее, сильнее людей. А главное – они помогают преодолеть страх перед смертью.

– Скажи, разве можно не бояться смерти?

Голос тихо засмеялся.

– А что её бояться? – Позвал: – Хель! Поди сюда, Хель!

В темноте громыхнула цепь, кто-то свирепо засопел рядом. Ужас рванул из Савла горлом, не давая ни сглотнуть, ни вздохнуть.

– Не бойся, Павел, – голос назвал Савла его вторым, забытым, римским, именем; так называла его только тщеславная мать. – Не бойся! – ласковое дуновение прошло по лицу, заструилось по телу, вытапливая ужас. – Страх порождает злобу, злоба разъедает душу, искореженные души забирает Хель. – Та всхрипнула жадно, всхрипнула рядом.

– Не бойся! Не все попадают к Хель. Многие живут мирно, как травы и камни. Как деревья и звери. Они торгуются с богом, говоря: я тебе – жертву, ты мне – удачную жатву. Я тебе – хлеба, ты мне – урожай. Я тебе – крови, а ты убей моего врага. Они заключают сделку и спокойны, если соблюдают свои немудрёные правила.

– А смерть?

– Что им смерть, они живут, как травы, и высыхают, как травы, рассыпая вокруг себя семя и перегнивая в землю. Они – часть растительного мира, и он не отвергает их. Можно и так жить, Павел.

– Но можно... – возразил Павел, – ведь можно иначе?

Голос помедлил, усмехнулся. Возня, шаги в темноте, бряцанье золота клада и железа цепи отдалились – бессмертные уходили, закончив свои дела.

– Можно просто стать равным богам.

– Кто ты, господин мой? – тихо спросил Павел.

– Я – Иисус, которого ты гонишь.

– Бог один, Иисус, – прошептал Павел. – Нет многих богов, Бог один.

– Да. Все мы едины в нём. Мы – часть тела его. Он – это мы и весь мир.

– Зачем ты пришёл, Иисус?

– Тело господа моего болит, оно изъязвлено злобой и гордыней людской. Я пришёл вернуть людям любовь.

А он, Савл, всегда хотел быть холодным клинком справедливости, но свирепствовал вместе с другими.

– Как мне убить в себе злобу? – с тоской спросил Павел.

– Понять, чего ты боишься.

«Лилась дымящаяся кровь, истекали горячим потом дерущиеся тела, потрескивали рвущиеся одежды, по сваленным по полу свиткам побежало пламя...» – зачем все это? Я боялся смуты, грозящей иудеям многими бедами. Что было делать с неразумными, дразнящими римлян?

– Прийти к ним с миром и добрым словом, Павел?

А как злобно крикнула блудница у языческого храма в Киликии: «Пустозвон!» Что её разозлило, чего боялась она? Того что стареют её прелести, падают в цене и скоро некому будет приласкать её? Он же, Савл, боялся уступить искушению, осквернить тело, одновременно боялся неловкости своей, своей неудачи и насмешки этой страшной женщины. Злобно оттолкнул её.

Я боялся насмешки.

– Что такое насмешка, Павел? – минутное дуновение воздуха, звук изо рта – не более.

Павлу стало легко, он рассмеялся. Тысячи кувшинов ответили ему гулким эхом, снова пугая его.

– Как же победить страх, господи?

– Если зол, остановись, оглянись, найди свой страх и посмотри ему в лицо. Посмотри: ты испугался костей, но ведь они не могут причинить тебе вреда. Ты испугался меня и гонишь, но посмотри – я ведь люблю тебя, Павел! Страх на поверку или слишком мал, или побеждаем любовью, которая сильнее страха и сильнее злобы.

– Я не знаю, что такое любовь.

– Возлюби ближнего, как самого себя.

– Я не люблю себя. Я не знаю, что такое любовь.

Ласковая рука погладила Павла по голове, взъерошила жёсткие волосы.

– Бедный засохший первенец, бедный мальчик, застрявший головой в кувшине! Твой кувшин разбит, иди. Ты узнаешь, что такое любовь.

Павел поверил, что Иисус любит его. Заплакал благодарно, встал с земли и пошёл в темноте, пока живой травяной воздух и тепло заходящего солнца не показало ему, что он уже на воле.

Но глаза его не видели ни трав, ни заката. Павел ослеп.

Глава вторая

Не видя дороги, Павел дошёл до своих спутников. Сел на камень. Сидел, слушал, улыбаясь.

Иудеи взволнованно обсуждали нашествие чужеземцев. После тех на утоптанной поляне остался кислый запах зверинца, сложенные горкой под камнем рыбы остовы да несколько перьев, запененных пылью.

Заметили, наконец, пришедшего Павла. Весь в грязи, в ссадинах; земля – в волосах, в бороде, одежда порвана. Сидит на камне, улыбается, слушает.

Бессмертные уходили, закончив свои дела.

– Спасибо тебе, Иешуа-бен-Пандера, – сказал гигант с львиной головой.

Впрочем, сейчас в его лице почти не осталось сходства со зверем. Он завязал на затылке белокурые волосы и надел чёрную повязку на один глаз.

– Спасибо, – повторил он. – Мы хорошо провели время на твоей земле.

– Ты нашёл, что искал? – спросил Иисус.

– Да. Теперь допишу свою поэму. Не хватало нескольких строк, и я нашёл их.

– Ты придумал название?

– «Эдда», – ответил белокурый поэт.

– А зачем ты закрыл глаз, Один? – улыбнулся Иисус.

– Мне понравился образ, – пояснил поэт. – Я тоже буду говорить всем, что отдал глаз за науку и мудрость.

– За возможность видеть незримое, – поправил Стефан.

– Пусть будет так, – согласился Один. – Прощайте. Пойдём, Хель! – Смерть застучала цепью.

– Спасибо тебе, Иешуа-бен-Пандера, – сказал чёрный гигант с кувшином в руках. – Мы тоже уходим. И мы забираем чашу.

Павел улыбался, слушал, неподвижно глядя на зашедшее солнце.

Его спутники встревожились.

– Савл, Савл, – тихонько позвали его.

Он не откликнулся.

– Савл! – его позвали снова.

Молчит, улыбается, не слышит.

Тронули за руку.

– Вы меня зовёте? – спросил Павел.

– Тебя.

– Зовите меня Павел.

Спутники не стали спорить.

– Что с тобой, господин? – озаботился Димас.

– Ангелы говорят со мной.

Евреи заволновались, зашептались. С праздничными лицами расселись возле Павла. Посидели, помолчали.

Молчал и Павел.

– Кто именно говорит с тобой? – не выдержал один из евреев, самый болтливый.

– Христос.

– Это который?

– Иисус назарянин, распятый три года назад в Иерусалиме.

Евреи удивлённо зашумели, зашелестели: «Иисус?.. Иисус... Тише, с ним говорит Христос!»

– А ты не падал, господин мой? – участливо спросил Димас и бережно смахнул пыль с края одежды своего хозяина.

Но, уже смахивая, понял, что поторопился. Евреи посмотрели на него неодобрительно, и он, вздохнув, отошёл.

– Ты слышишь Его сейчас? – спросили спутники Павла.

– Нет.

– Он ушёл?

– Не знаю.

«Тише, тише! – зашептали евреи. – Вы мешаєте ему слушать. Слушай, Павел!»

Павел сидел на камне, улыбался, слушал.

Просидел так всю недолгую ночь. Евреи вздремнули по очереди и утром отвели Павла в Дамаск.

Павел доверчиво шёл, держась за руку раба Димаса, грека. То и дело подносил другую, свободную, руку к глазам и счастливо смеялся оттого, что не видит её. Он помнил, что рука у него очень некрасивая: худая, жилистая, поросшая сверху неровным волосом, пальцы тонкие, шишковатые и морщинистые на сгибах. Павел шевелил пальцами – они легко слушались его – и счастливо смеялся.

Как мудр Господь, радовался Павел, что увёл раба своего от безобразия плоти! Глаза были его, Павла, привязью, не пускавшей на волю. Он видел небо, пески, холмы – и они закрывали от него Вселенную. Он видел города, храмы, книги – они закрывали от него Создателя. Он видел лица – бородавки, морщины, язвы, они закрывали от него людей. Он видел слюнявые пасти и не видел Слова. Он видел кривые с толстыми коленями ноги, щедедушное тело с мёртвыми оазисами пыльных волос, пористую прыщавую кожу, маленький коричневый пенис в буром серпике обрезанной плоти – он не видел себя, Павла. Павла, которого любит Господь.

Димас вёл его мимо пахучего стойбища рыбаков, и Павел был лёгкой бестелесной рыбой, сквозь пустые глазницы повешенной на солнце. Солнце грело сквозь него, ветер не задерживался в нём, пролетал, лаская вывернутое пустое чрево.

Димас подвёл его к городским воротам. Павел слышал, как кричали под стенами дерущиеся птицы и кричали на стенах сердитые люди – римляне строили крепость. Павел был камнем, надёжно вставленным между прочих, таких же. Спокойным тяжёлым камнем, теперь на столетия для него – только ветер. То холодный, утренний – с реки; то свирепый горячий – с пустыни. Высота, ветер и крики птиц – на века.

Господь песчинкой гнал его по дороге, пчелой по цветам, поднимал к облакам дымом от кипящей похлёбки. Не было глаз, закрывающих мир, а было слово Иисуса, открывшее мир: «Я люблю тебя, Павел».

Дамаск подхватил Павла разноязычным щебетанием, запахом многих тел и нагретой пыли. Придавил к земле, сбил с шага. Павел напряжённо вслушивался, различая знакомые наречия; вслушивался, ожидая услышать галилейский акцент Иисуса.

Первые три дня слепой Павел провёл в доме некоего Иуды, в переулке, который называется Прямой. Три дня он не ел и не пил. Ему очень нравилось, что плотское уничтожено для него.

«А в Дамаске был один ученик по имени Анания; и Господь в видении сказал ему:

– Анания!

И тот сказал:

– Вот я, Господь.

А господь ему:

– Встань и пойди в переулок, который называется «Прямой», и разыщи в доме Иуды тарсянина по имени Савл; который сейчас молится и увидел в видении, как человек по имени Анания вошёл и возложил на него руки, чтобы он прозрел.

Но Анания ответил:

– Господь, я слышал от многих об этом человеке, сколько злого он сделал Твоим святым в Иерусалиме; и здесь он имеет власть от главных священников связать всех, кто призывает Твоё имя.

Но Господь сказал ему:

– Иди, ибо этот человек у Меня избранный сосуд, чтобы понести Моё имя перед язычниками, и царями, и сыновьями Израиля. Ибо я покажу ему, сколько он должен претерпеть за моё имя.

И Анания пошёл и вошёл в тот дом; и, возложив на него руки, сказал:

– Савл, брат, Господь послал меня – Иисус, явившийся тебе на дороге, которой ты шёл, – чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа», Деяния 9:10–17.

Павел уже ждал Ананию, ждал с печалью от того, что ему снова суждено видеть.

Сначала он не почувствовал разницы. Только тише стали гоготать гуси под окнами, тише стали шаги в доме и крики на улице. И уже не так вкусно пахло хлебом со двора. Потом глаза немного привыкли к свету, и в полумраке комнаты Павел заметил Ананию, такого же кряжистого, низкошею, щекастого, как в недавнем видении.

Анания окрестил его водой из миски, которую держал в руках, поцеловал троекратно и сказал грубым голосом: «Давай-ка, поешь, а то ослаб совсем. – Поскольку Павел продолжал сидеть неподвижно, втиснул ему в рот кусочек хлеба, размоченного в воде. – Ешь!»

Павел начал есть, отяжелел, прошло ощущение невесомости и наслаждения бестелесностью. Вздыхнув, он уснул, впервые почти за четверо суток.

Спал без снов и проснулся с удивительным ощущением всезнания и всепонимания. Будто все вопросы и все ответы заключались в нём; будто он весь мир впитал в ничтожную оболочку своего тела.

Но весь мир – это слишком много для одного Павла, и он поспешил в местную синагогу – делиться.

– Мир вам, иудеи, – сказал он. – Я брат ваш от семени Давидова, колена Вениаминова. Саул, тарсянин, посланный сюда синедрионом.

– И тебе мир, коли не шутишь, – ответили дамасские иудеи. – Мы слышали о тебе. Что скажешь, Саул, тарсянин?

– Откуда эта обезьяна? – брезгливо прошамкал стовосьмилетний старец в лисьей шапке.

– Агент синедриона, – вполголоса пояснили ему.

Старик недовольно промолчал, сжал высохший посох своей лапкой древней мумии.

Павел чувствовал, как много вложено в него, не знал, с чего начать делиться. Стоял, смотрел на евреев сияющими от любви глазами, маленький, неказистый.

– Братья, – начал, наконец, он. – По дороге в Дамаск я встретил пророка Иешуа-бен-Пандеру из Назарета.

– Вот как? – изумились слушатели. – Разве он жив? Разве не его казнили три года назад?

– Его казнили, – объяснил Павел. – Но он стал бессмертным и теперь хочет спасти нас.

– Спасти? От кого и от чего?

– Спасти нас от смерти, а Господа – от боли за нас.

– Почему он не цитирует Моисея? – обиделся стовосьмилетний старик в лисьей шапке.

Ему не ответили.

– Разве можно жить после того, как тебя казнили? – любопытствовали евреи.

– Если нам начертано умирать со смертью, зачем Господь вложил в нас тревожную душу? – вопросом на вопрос ответил Павел.

– Значат ли твои слова, что мы оживём после смерти?

– Не все, а только по суду Его.

– Что он там говорит? – сердился старец в лисьей шапке. Он очень плохо слышал.

– Говорит, что спаситель уже пришёл в мир, и что это Иешуа из Назарета, распятый три года назад.

– Ну и что? – пожал плечиками старец.

– Что ещё сказал тебе Иешуа? – спросили Павла.

– Он освободил меня от рабства страха, вдохнул дух сыновства, в котором восклицаю: «Авва, Отец!»

– Что он говорит? – сердился старец.

– Что он – сын божий.

– Господи, и этот туда же! Хватит, уже скучно, остановите его.

– Мы все – дети божьи, – с нежностью продолжал Павел. – Братья! Мы все вместе сбились с пути, все вместе пришли в негодность; нет никого, кто творит добро, нет ни одного. Нет праведного ни одного; нет никого, кто понимает; нет никого, кто ищет Бога.

– А теперь что говорит?

– Ругается. Бога, говорит, забыли.

– Он что, пьян?

– Иудеи! – продолжал Павел. – Вы опираетесь на закон и хвалитесь Богом, ничего не зная о нём. Уверены, что вы – поводыри для слепых, свет для тех, кто во тьме, а сами слепы. Вы – учителя младенцев, образы знаний и истины в законе – себя не учите?

– Да что он говорит там? – всё больше сердился старец. – Больно уж невнятно. И долго. Хватит! Он никому не даёт рта раскрыть.

– Из-за вас имя божье хулится среди язычников, как и написано. Вспомните о любви...

– Ну, хватит! – возмутился старик. Встал, решительно подошёл к Павлу, ткнул его палкой в грудь. – Проваливай-ка отсюда, трепло! Кимвал звенящий! Ты пьян, тебе вступило в голову – поди проспись, а не морочь порядочных людей.

Павел схватился за палку, больно упёршуюся ему в грудь. Старик выдернул палку, коротко дал Павлу по шее:

– Пошёл вон, собака!

– Не надо так, – вступился один стоящий рядом. – Всё-таки его при- слал синедрин.

– И в синедрион напишу! – визгливо огрызнулся старик. – Пусть выбирают, кого посылать! Не могут Господу служить такие уродцы!

– Господь любит всех своих детей, – с обидой выкрикнул Павел. – И красивых, и хилых; умных, и глупых; и богатых, и бедных! Все имеют право на любовь его. А большое чадо больше жалеет отец.

– Он говорит: Бог любит ничтожных! – засмеялись евреи.

Слово за слово, и Павел разозлился страшно на собратьев, кричал, плакал, брызгал слюной, хватался за двери синагоги, откуда его с позором вытолкали. Дали ещё пинка напоследок так, что он ткнулся лицом в пыль.

И он сидел, плакал, развозя слёзы по щекам, как ребёнок.

– Ты не умеешь разговаривать с евреями, брат мой, – сказал голос над его головой. – Помнишь, ещё Исайя говорил: «Целый день я простирал руки мои к народу непокорному и прекословящему».

– Они даже не выслушали меня! – выкрикнул Павел. – А я умею говорить, я много выступал в самом Иерусалиме, не в этом вашем Дамаске...

– Ты сразу взял неверный тон, брат мой, – ответили ему. Сильные руки помогли подняться.

Павел оказался перед человеком прелестной наружности: белозубым, улыбчивым. С аккуратной чёрной бородкой, с живыми приветливыми глазами.

– Меня зовут Варнава, – сказал человек. – Я крещён, как и ты. Мир тебе, Павел.

– Мир тебе, Варнава, – пробормотал Павел.

Варнава взял незадачливого проповедника под руку, повёл по улице.

– Так, значит, ты говорил с Иисусом? – спросил он.

– Да.

– Я верю тебе. – Варнава кивнул, довольный. – Ты слышишь мёртвых, это хорошо.

– Я познал языки человеческие и ангельские, – с достоинством подтвердил Павел.

– А любви не имеешь, – усмехнулся Варнава.

– Иисус любит меня, – насупился Павел.

Варнава дружелюбно посмотрел на него, низенького, побитого, грязного и заплаканного:

– А кого любишь ты, Павел?

Павел промолчал. Он не знал ответа.

Он шёл со своим новым спутником по пыльным, крикливым улицам Дамаска; пёстрого, многоцветного, грязного. Павлу стало очень жаль того потеряннного города, в который он вошёл несколько дней назад. Павел закрыл глаза, тело сразу наполнилось лёгкостью, впустило в себя посвежевшие звуки, в желудок ударил запах кипящей похлёбки. Он спросил:

– Куда ты ведёшь меня?

– Братья собираются на трапезу, – ответил невидимый Варнава. – Они знают о тебе и хотят услышать тебя.

– Это наши братья варят курятину? – спросил голодный Павел.

– Нет, бетонщики, – засмеялся Варнава. – В Дамаске празднуют неделю холостых петушков.

– Поклоняются цыплятам? – удивился Павел и открыл глаза.

– Что ты, ничего подобного. Тут, как и везде, поклоняются умершим предкам.

– При чём тут предки? – Павел начал думать, что над ним смеются. – Языческие боги...

– Языческие боги, – подхватил Варнава, – обожествлённые предки. Кого ни спроси, тот ведёт свой род или от Геракла, или от Аполлона, или от самого Зевса. Многие мёртвые стали богами так давно, что весь народ у него в потомках. Народ чтит бога как отца, а тот – прошедший рубеж смерти, рубеж более высокого, чем земное, знания, – хранит своих детей. Прибавь сюда древнюю способность договариваться с духами растений, животных, скал и прочего – вот тебе и языческие верования.

– Язычники поклоняются истуканам, это всем известно.

– Путаешь, – Варнава мотнул головой. – Язычникам нравится лепить, резать из камня, рисовать тех, кого они любят. Они любят богов, красивых женщин и мальчиков, воинов, героев – они их и лепят, богов, женщин, героев. Всё божественно в мире, они радуются всему и стремятся запечатлеть свою радость – разве это плохо?

Павлу стало грустно. Ему понравился было этот встреченный Варнава, а он оказался провокатором и предателем. Одобрять идолов? Считать всё божественным? Особенно женщину – мерзость и пакость? Пусть Варнава не думает, что его, Павла, можно поймать, как мальчишку. Это здесь, в Дамаске, евреи забывают святыя заветы, а он-то прибыл из Иерусалима, его не проведёшь.

– Бог должен быть один, – печально произнёс Павел. – И это – невидимый, непознаваемый, вездесущий бог иудеев.

– Бог должен быть один, – обрадовался Варнава. – И царь должен быть один. И народ должен быть один. Сейчас много народов, у каждого – свой царь и бог, отсюда – войны. Много народов – у каждого свой язык, отсюда – непонимание. Но конец этих времён близок. Народы объединяются великим Римом, уже один император правит на громадной территории, один язык понятен почти везде. Дальше будет лучше. Теперь дело за единой верой. Империя сплотит тело народов, единая вера – их дух. Не будет войн, будет время и силы на созидание и радость.

«Не провокатор – безумец», – понял Павел. Безумец, путаник, трепло. И, конечно, порченный еврей. Горе, горе великому Израилю, если дети его сами отворачиваются от него. Дружат, едят с язычниками, смешивают семя – так приходит конец народу. Славит Рим! Симпатичный белозубый улыбчивый человек, а вот ведь – опасный мечтатель, и долг Павла – убить этого слепца.

Павел задумался, как поступить с Варнавой. Или тот всё-таки просто доносчик, смущающий людей разговорами, а потом отдающий собеседника властям? Вряд ли. Если доносчик, то не римлян. Синедриона? Те говорят по-другому. На патриота совсем не похож. Доложить о нём в Иерусалим?

– Сначала было Слово, – продолжал между тем Варнава, внимательно ступая по мощёной улице. – Что человек назовёт, то и выделяет для себя из хаоса, то и существует для него. Вера создаёт для человека мир, в котором ему удобно жить. К примеру, греки верят во многие небеса, что вращаются вокруг Земли и двигают планеты. Верят в небо неподвижных звёзд и богов, живущих на земле, на горе. Это их мир.

– Дяденька, – притворно запищал невесть откуда выскочивший мальчишка. – Дяденька, дай монетку! – Мальчишка схватил Варнаву за край одежды, задерживая. Попрошайка видел, что тот сейчас во власти

великих идей. А под шумок великих идей всегда хорошо клянчить по мелочи.

Павел хотел было дать нахалёнку по шее, но Варнава удержал его.

– Скажи мне, кто гасит звёзды? – спросил он мальчика.

Сорванец насупился: что этот чудак не знает таких простых вещей? Издевается?

– Понятное дело, птицы, – неохотно проворчал он.

– Что, птицы, по-твоему, могут долетать до звёзд? – не удержался от насмешки Павел.

«Вот дерёвня! – ещё более насмешливо подумал мальчик, но свой сарказм оставил при себе. – Приезжий. Неудивительно, что битый. Может, и вправду не знает, кто гасит звёзды».

– Долететь, конечно, не могут, – снисходительно пояснил ребёнок. – Но им и не надо. Ведь что такое звёзды? – Посмотрел на Павла. «И этого не знает. Точно – дерёвня!» – Звёзды – это души цветов, улетающие в небо, пока цветы спят. Утром, когда цветам пора просыпаться, птицы зовут звёзды обратно. Те слышат и возвращаются.

– Молодец, – Варнава дал мальчику монетку. Повернулся к Павлу. – Птицы действительно очень громко кричат по утрам, и звёзды действительно после этого гаснут. Попробуй докажи, что ребёнок неправ. Он знал это с младенчества, его родители и деда, и прадеды знали это – откуда ты знаешь, что это не так? – Павел молчал. Шёл за Варнавой, думал. – В мире всему можно дать объяснение, с любой точки зрения. И любая точка зрения будет истинной.

Поблизости громко закукарекали мужские дурашливые голоса – бетонщики праздновали. Ели, выпивали, смеялись. Отдыхали.

– Кстати, – вспомнил Павел, – ты мне так и не рассказал, что это за праздник холостых петушков.

– Очень целесообразный, как большинство религиозных праздников. Сейчас самая пора резать молодых петушков. Цыплята подросли: курочки скоро будут нестись, а петушков оставляют только на развод. Остальных – под нож. И в это же время поспевают многие овощи. Много овощей, много забитых петушат, вот и варят огромные котлы похлёбки, отъедаются люди, пируют, отдыхают. Посвящают цыплят своим богам-покровителям, каждая ремесленная община – своему.

Бетонщики зашумели вдруг возмущённо, вскочили с разложенных у котлов подстилок, бросились к своим песчаным кучам. За одной из куч, там, где стояли деревянные лотки с готовой смесью, орудовал чужак. Да ещё какой! Громадный негр, почти голый, торопливо нёс к ограде какой-то залепленный серой массой предмет. У ограды его поджидал большущий кувшин. Поднялась крышка, маленькие ручки высунулись на миг из кувшина, подхватили залепленный предмет, спрятались. Великан, закрыв кувшин, подхватил его на руки и побежал прочь. Тут же, как из-под земли, появились два страшных воина чудного вида и бросились в погоню за негром.

Бетонщики удивились, но, решив не портить себе праздник, вернулись к трапезе. Оно славно бы побегать, помахать кулаками, да только вид голого негра с кувшином и вид двух его преследователей не располагал к честной драке.

Павел с Варнавой, видевшие всё это, пошли дальше.

– Так вот, к вопросу о вере... – вернулся к разговору Варнава, и Павел вспомнил, что болтуна нужно убить.

Глава третья

– Почему мы так далеко ушли от своих? – спросил некстати Павел. Еврейский квартал кончился давным-давно, и вокруг брэнчал повозками, цокал копытами, свистел бичом и горланил в сотни плоток совсем чужой Дамаск.

Роскошный, неряшливый, суетливый Дамаск. Воздух противно гудит вездесущими мухами. Визг, толкотня, ругань. Даже ослики здесь не трогательно-степенные, как в Иерусалиме, а крикливые, злобные, так и норовят укусить. Их хозяева вопят друг на друга громче своих скотов, хватают друг друга за пёстрые тряпки, плюются в длинные бороды – никто не хочет уступать дорогу. Улочки узкие, чтобы не втиснулось солнце, тенистые, но душные от запаха многих тел, от запаха фруктовых, овощных и рыбных куч, сваленных вдоль домов прямо на грязные камни.

– Здесь, в Дамаске, мы не живём с евреями, – пояснил Варнава.

– Как же так? – удивился Павел

Его спутник рассмеялся.

– Или они не живут с нами.

– Что вы – не еврей? – Павел расстроился. – Все одного семени и одного бога?

– Все мы Адамова семени, разных народов чада – братья между собой, – возразил Варнава. – Сын божий вырос и живёт своим домом, почему бы и нет?

Крики вокруг стали громче; сначала – возмущённые, потом – льстивые. По улице промчались несколько всадников, хлопая плётками, сердитыми приказами расчищая дорогу. Брызнули из-под копыт фрукты, хлынули, прижимаясь к стенам, торговцы.

Вся эта суета поднялась из-за двух человек, степенно возвращающихся к себе домой верхом на своих лошадях. Эти двое были довольно молоды. Один – очень нарядный, ухоженный, с множеством драгоценных украшений везде, где только можно их нацепить. Он ехал на толстой белой кобыле, красивой, такой же разряженной, как её хозяин. Расшитый золотом плащ закутывал фигуру шеголя, скрывая даже кисти рук. Так носили плащи греческие учёные мужи, чтобы показать, что они не занимаются физическим трудом. Человек этот был светловолос и с гладко выбритым лицом, по римской моде.

Второй – тоже без усов и бороды, но почти во всех остальных местах волосатый чрезвычайно. Смуглый, чернявый, темноглазый, одетый только в простую ослепительно белую тунику. Из украшений – лишь тонкий золотой обруч на голове, почти не заметный в густых лоснящихся кудрях. И лошадь под ним – скаковая.

Юношей сопровождали вооружённые воины.

Варнава отступил с дороги, а Павел не успел.

– Что раззявился, олух! – стражник, толкнув его конём, проскакал мимо, даже не озабочась проверить, отошёл зевака или нет.

Павла с утра уже достаточно толкали и унижали. И сейчас таким ничтожеством он был в глазах этих всадников, что оставалось одно – опять упасть в пыль и расплакаться.

– Не видишь, едет божественный Арета, величайший из великих! – наехал на него другой воин.

Упасть в пыль и расплакаться. Но Павел, выпрямившись во весь свой небольшой рост, крикнул злобно:

– Кто такой этот ваш Арета?

Стало очень тихо, только мухи продолжали гудеть.

– Я – царь, – пояснил юноша в белой тунике, останавливая лошадь.

Его спутники остановились тоже.

– Ну и что? – спросил Павел.

– Ты должен уступить мне дорогу, – спокойно ответил Арета.

– С какой это стати? – усмехнулся рассерженный Павел. – Все мы Адамова семени. Чем ты лучше меня?

– Хотя бы тем, – царь и бровью не повёл, – что у меня – деньги и власть, а ты нищ и бесправен.

– Над чем твоя власть? – неестественно взвизгнул Павел. – Над любовью, над рождением, над смертью? Как бы не так! А деньги!.. Деньги оказывают тебе плохую услугу. – Павел хихикнул. – Они создают тебе иллюзию всемогущества, а ты так же гол и беспомощен перед ликом Господним, как я.

Арета недоумённо пожал плечами.

– Любовь? Рождение? Смерть? Любую женщину я могу заставить полюбить себя. Да и так красивейшие женщины – мои. Они рожают мне малышей. – Он улыбнулся. – А у тебя есть женщина и малыш?

Павел промолчал.

– Что тогда ты понимаешь в рождении и любви? – Царь удивлённо поднял чёрные толстые брови. – А что касается смерти... Я могу велеть убить тебя, а ты меня – нет.

Арета чуть шевельнул пальцем, и тут же два воина, спрыгнув с коней, жёстко схватили Павла за локти.

– Всё равно в смерти я сильнее тебя! – крикнул Павел. – Я бессмертен, а тебя съедят черви!

– Безумец, – усмехнулся Арета. – Всех съедят черви. Когда мы будем трупами, между нами не будет разницы, но я богаче тебя на жизнь, болтун! Убейте его.

«Господи, Иисусе! – взмолился несчастный Павел. – Господи, спаси и помоги. Не оставь меня в беде, Иисус, галилеянин! Не для того же ты заговорил со мной, чтобы позволить смерти забрать меня сейчас. Сейчас, когда я ещё ничего не успел сделать...»

Царь с усмешкой заглянул в настойчивые глаза наглого оборвыша, осмелившегося спорить с ним. Никто не верит, что смерть случится именно с ним. Всегда кажется: «Уж я-то останусь жить». Навсегда.

«...Господи, Иисусе!»

И уж давно никто не верит, что смерть случится прямо сейчас, что время высыпает последние свои секунды.

Разряженный красавчик на белой кобыле весело рассмеялся.

– Нет, я его помилую, – сказал царь.

«Спасибо, Иисусе!»

– Но опасно поощрять дерзких, – добавил Арета. И кивнул воинам: – Выколите ему глаза!

Павел метнулся в ужасе, стражники крепче стиснули его локти. Он продолжал метаться, биться в живых железных тисках. Стражники держали. Красавчик смеялся. Арета удивлённо спросил:

– Чего же ты боишься, умник? Ты же бессмертен. Глаза по сравнению с бессмертием – такая мелочь, пустяк, два комочка слизи – не больше.

«Господи, не оставь меня!»

Один воин, продолжая держать Павла, достал кинжал и нацелился пленнику в левый глаз.

Павел отчаянно замотал головой.

Второй воин толкнул Павла, вывернул ему руку за спину, запрокинул ему голову, цепко схватив за волосы.

«Господи, Иисусе!»

– Стойте! – приказал Арета. – Не здесь. Ведите его во дворец. Этот случай надо использовать в назидание кое-кому из тех, кто тоже любит разевать рот и трепаться о равенстве.

– Прости, что вмешиваюсь, о повелитель, – обратился к царю начальник охраны. – Но этот человек – иудей. Если приговор немедленно не привести в исполнение, набегит толпа занудных старцев, будет ныть, канючить, просить за своего соплеменника...

– Принесут золото! – подхватил со смехом разряженный красавчик.

– Именно, – кивнул царь. – Пусть приносят, пусть канючат. Мы поторгуемся, у нас есть что взять взамен.

– Ты опять наделал долгов, противный? – кокетливо улыбнулся Арету юноша на белой кобыле.

– Да, – скривился царь. – Ты мне недёшево обходишься. Ведите преступника, – сказал он охране.

Павел брезгливо сплюнул, когда бречащая золотом кобыла пронесла мимо него своего разряженного седока. Держащие Павла воины сделали вид, что не заметили этого плевка. Тот, что постарше, перехватил поудобнее Павлов локоть, второй подвёл поближе своего коня.

Как только божественный Арета, величайший из великих, вместе со своим эскортом скрылся за поворотом, простые смертные подняли страшный гвалт.

Лица людей светятся ещё восторженным любопытством, ликованием – такое событие, такой счастливый случай! Им, мелким суетным людишкам, удалось подсмотреть несколько минут из жизни великих мира сего. Будет о чём поболтать и сегодня, и завтра, и через неделю. Да и спустя годы нет-нет да упомянешь в разговоре: «Ну, когда царь сидел совсем рядом со мной, буквально на расстоянии вытянутой руки...» Или: «Я помню Арету совсем юношей. Он тогда одевался по римской моде и очень скромно: простая белая туника, вроде моей, простые кожаные сандалии...»

Люди светятся ещё восторженным любопытством, но уже и обсуждают своего царя с особой фамильярностью, на которую обречены все знаменитости. Ворчат на него, как на последнего раба, собирая рассыпанные фрукты, складывая обратно рыбу. Да никакого раба не поносят так, не чихвостят жадно, как тех, кто у всех на слуху. И чем популярнее особа, тем приятнее обдать её презрением.

– «Красивейшие женщины...» – передразнивает рыбак. – «Красивейшие женщины мои», а сам-то... С этим...

– Во-во! Только красоток на него переводить!

Маленький старичок чуть не плачет, горячится:

– Как он сказал о детях! Как сказал о детях! Тепло, будто человек... А кто велел Лидии вытравить плод? А? Кто, скажите, граждане? Не Арета? Голубке, беляночке Лидии! И продал её потом римскому центуриону, как яловую ослицу продал, граждане...

– Да! – встрял визгливый голос. – А у Долмации отнял младенца и бросил псам!

– Не псам, а свиньям, – возразили ему.

– А я говорю – псам!

– Свиньям!

– Ты ничего не знаешь, так не разевай свою вонючую пасть!

– Ах, у меня вонючая пасть?! Да ты...

Воины, арестовавшие Павла, с отъездом хозяина тоже утратили профессиональную безмолвность. Расслабились, с удовольствием долго молчавших людей принялись перемывать косточки и Арете, и его свите.

Тот, что помоложе, перехватил Павла, подвёл к коню. Поскользнувшись на перезрелом апельсине, выругался грубо.

Павел дёрнулся изо всех сил, неожиданно для себя вырвался вдруг, побежал отчаянно, спиной ожидая удара и неминуемой боли.

Бежал, боялся, долго, ничего не видя вокруг, не слыша ничего, кроме своего захлёбывающегося дыхания. Потом остановился, упал на спину, не видя ничего над собой, катался в пыли, царапая рвущуюся изнутри грудь, выл беззвучно сквозь зубы, растягивая горькие от пота губы.

Потом встал и побрёл медленно. Шёл, шатаясь, стискивая пальцами вздрагивающие виски.

Полдня петлял Павел по душным кривым дамасским улочкам, искал переулок Прямой. Спрашивал, замирал, заслышав бряцанье оружия и чёткий шаг римских легионеров. Те проходили по городу человек по восемь, спокойно, не подозревая о существовании Павла, не подозревая о его страхе.

Наконец, обессиленный и голодный, Павел добрался до дома Иуды.

– Мир тебе, – прошептал обрадованно. – Мир тебе, добрый Иуда!

– Мир тебе, – поцеловал Павла хозяин.

Отвёл глаза, начал теревить пальцы:

– Мир тебе, Павел, тарсянин. Доброго вечера. Только... – Иуда затосковал. – Прости, но старейшины велели, как придёшь, связать тебя и выдать Арете. Ты, мол, смутьян отчаянный, дерзишь, можешь навлечь на общину гнев властей. Закон и справедливость требуют твоей выдачи.

– Закон и справедливость? – горько переспросил Павел.

– Ну, в большей-то степени – начальник синагоги, – доверительно прошептал добряк Иуда. – С ним никто не спорит. Ему уже сто восемь лет, он потерял способность слушать. Короче... – он решительно схватил Павла за руку.

Тот умоляюще накрыл его руку своей:

– Иуда! – сказал жалобно.

– У меня дети. И жена на сносях. Они не отвечают за твой глупый язык, – проворчал Иуда, бледнея. – Это – твоя беда.

– Нет! – вскрикнул Павел. – Нет чужой беды! Мы – одно тело. Ударишь одного, больно всему миру. Спрячь меня, брат Иуда!

Дверь распахнулась от резкого удара снаружи. В дом вошли два воина дамасской стражи.

– Этот? – кивнули на Павла.

Тот так отпрянул испуганно, что толкнул Иуду. Испугался ещё больше и заметался по комнате.

Плоское тупое лицо одного стражника заиграло весельем, он захохотал нарочито громко и бросился ловить Павла. Он гонял свою жертву из угла в угол, подгоняя тычками, улюлюканьем, опрокидывал стулья и сметал со стола посуду. Останавливался на секунду, захлёбываясь самозабвенным смехом идиота, подпрыгивал, вскрикивал, пугая; по широкому раскрасневшемуся лицу потекли мутные слёзы.

Иуда тоже плакал, бормотал что-то, забившись в угол.

Второй стражник спокойно стоял в дверях: другого выхода из комнаты не было. Стоял, смотрел бесстрастно, как резвится его товарищ, молчал.

Первый не уставал смеяться, но вспотел, стал нетерпеливее и злее. Уже не в шутку лупил Павла древком копья, если бедолага не успевал увернуться. Наконец, враз посерьёзнев, прыгнул неожиданно ловко и почти схватил преступника. Цыкнул, развернулся, прыгнул снова.

Загнанный Павел, зажмурившись, ринулся в дверной проём, готовый погибнуть немедленно, только бы его не коснулись омерзительно потные ладони зловещего весельчака.

Второй стражник спокойно стоял в дверях. Повернулся неспешно, когда Павел пробежал мимо. Стоял, смотрел бесстрастно, как его товарищ с воплями погнался за беглецом по улице. Потом, пожав плечами, лениво зашагал следом.

Евреи затаились в своих домах, смотрели настороженно, как убегает из их спокойного квартала безумный тарсянин, агент синадрона, фарисей, обратившийся вдруг в христианство.

Они уже не увидели, как невеста откуда взявшийся негр, поставив на мостовую кувшин, который нёс на плече, сграбастал приткого стражника, стукнул головой о стену. Отбросил брезгливо и зашагал прочь со своим кувшином, ведя за руку вконец ошалевшего Павла.

Второй стражник нашёл своего товарища, взвалил на спину и поволок в казармы.

Негр вёл Павла по уже знакомым тому местам. «Здесь, в Дамаске, мы не живём с евреями», – сказал когда-то приятный с виду человек по имени Варнава. Тогда Павел так и не дошёл до назорейской общины. Как хорошо, что она так далеко от еврейского квартала!

Павел невольно всхлипнул. Надо скорее убираться из Дамаска: евреи, раз уж решили, обязательно выдадут его властям.

– Теперь тебе надо скорее убираться из Дамаска, – пробасил негр. – Евреи обязательно выдадут тебя властям. Да и у нас с карликом пятки горят, за нами тоже погоня. Только вот какое дело: тебе придётся на время спрятать нашу чашу, у тебя её искать никто не будет.

– Куда спрятать? – растерянно спросил Павел.

– Это уж как тебе удобнее, – негр поставил на землю свой кувшин, постучал согнутым пальцем в крышку.

– Чего тебе? – проворчал из кувшина тоненький голосок.

– Чашу давай.

Павел принял чашу, бессмысленно разглядывая надпись на стене, нацарапанную по-гречески: «Это – Митра».

– Брехня, – усмехнулся негр и осколком кирпича подписал снизу: «Сам ты – Митра».

Так чаша осталась у Павла с единственным условием: не оставлять её на одном месте более недели.

Не было ни благочестивых бесед, ни степенной трапезы. Наспех зажёванный кусок хлеба с водой – и дрожащий от усталости Павел почти в полной темноте бредёт за Варнавой, который говорит что-то о родственнике Анании, служащем в когорте сирийских лучников. И сам Анания, короткошеий, коренастый, пытит рядом, вздрагивая от малейшего шороха.

Темень, факелы, доброжелательный голос объясняет:

– Нет, братцы, ворота мы вам, конечно, не откроем. Но тут недалеко строящийся участок стены, переберётесь.

Темень, бесконечная шаткая лестница, узкая, деревянная. Усердный Варнава подталкивает снизу, подбадривает. Толстый Анания молча ползёт следом. Тот же доброжелательный голос, уже сверху, торопит:

– Давайте, давайте, пока не подошли клуши.

– «Клушами» сирийские лучники называют дамасских стражников, – успевает пояснять неунывающий Варнава, запыхавшийся от долгого подъёма. – Те украшают доспехи золочёнными крыльями и носят перья в шлемах, не по уставу.

– Клушами мы называем тех, кого топчут римские орлы! – гаркнул кто-то рядом.

– Эй, потише там насчёт римских орлов, – крикнул в ответ родственник Анании.

– Хотите разговаривать потише, подходите поближе, – рассмеялись в ответ.

Несколько белых перьев покачивались в нескольких локтях от встревоженных спутников Павла: отряд дамасской стражи проходил по внешней стене.

Родственник Анании и двое его товарищей по оружию с глумливым кудахтаньем прыгнули на стену.

Никто не верит в собственную смерть, она всегда случается с кем-то рядом.

Глава четвёртая

Это хуже смерти. Небытие. Огромные кровавые волны замерли под белым небом.

Под неподвижным небом ничтожные песчинки толкаются в недвижных песчаных волнах, отчего над пустыней неспешной песней тянется стон.

Небытие. Павел не был ещё этим калёным кровавым песком. Не был он и шакалом, подпевающим пустыне за дюной. Но и правоверным иудеем он уже тоже, конечно, не был. Закон остался далеко за песками. Там, где время делилось на дни, где люди могли праздновать субботу, ликовать на Пасху. Здесь же, в проклятом месте, нет времени, нет законов – ни человеческих, ни божьих. Только поющий красный песок и безмолвное белое небо.

Только кочевники-верблюжатники живут тут – где Павлу хуже смерти. Он не кочевник. Для них он – раб, скребущий верблюжью шкуру. Но Павел знал про себя, что он и не раб. Он – никто, потому что его Бог отвернулся от него. Он уже не человек, а животным быть не рождён.

Обида на Господа, возведшего было в пастухи и даровавшего паству, а потом сразу кинувшего в оупение рабства, обида – это немногое, что осталось в Павле от человека. И ещё – один сон, один-единственный.

...Плавно качаются носилки. Римский сановник с удовольствием смотрит на Павла. Приятно найти умного образованного собеседника, который делает дорогу нескучной. Плавно качается беседа – от одного к другому.

Павел пустился в дорогу на неудобной спине тряского мула в окружении простых солдат. Песчаные холмы вокруг, злое солнце в глазах, пыль в горле и жара повсюду – так скверно начинался путь. Но не

прошло и часа, как повеселевший мул бежал уже без седока, а маленький настороженный иудей плавно качался в носилках римского легата – избранный Богом всегда избираем и прочими.

Удобные носилки, сделанные на совесть из отличного дерева и практичных тканей, – квадратик великой империи на песчаном пейзаже. Кусочек цивилизации в этом диком крае. За ним – строгие улицы каменных многоэтажек, широкие площади и прекрасные храмы. Прямые мощёные дороги, извилины водопроводов, комфортабельные лактрины и бани.

– Сортир, он и есть сортир, – осмелев, разговорился Павел. – Если Господь повелел людям справлять нужду, так и будет. А происходит сие в кустах у дороги, за дощатой загородкой или в роскошной каменной комнате – нет в том никакой разницы. Все эти полы с подогревом, смывание водой – лишь суета, человека недостойная.

– Не соглашусь с вами, любезный, – отвечал легат. – Все удобства, все инженерные чудеса, созданные человеком, возвышают его достоинство. Освобождают время для полезных измышлений и новых изобретений.

– Человек наполняет свою жизнь заботой о своём теле, забывая о Боге, заключённом в нём. Жизнь кажется полной чашей, и человек пьёт её день за днём, не чувствуя жажды. Но на самом деле не человек пьёт жизнь, а жизнь пьёт человека. И когда выпивает до конца, о теле уже заботятся черви. Суетой заглушаем жажду, но она остаётся в нас и сжигает душу, рождённую для бессмертия.

Плавно качается беседа – от одного к другому. Но приятный сон всегда заканчивается одинаково – свист огромных крыльев и страшный удар клювом в голову, в плечи. Павел успевает заметить круглый безучастный орлиный глаз, после чего всегда просыпается. Лицом на вонючей верблюжьей шкуре или прямо на песке. И надо успеть подняться, пока араб-дрессировщик не стукнул его палкой снова.

Если бы Павел был человеком, он посмеялся бы над собой сейчас. Ему, сыну палаточника, ремесло отца казалось трудным – с детских лет руки не знали ничего тяжелее палочки для письма. И вот он усердно скребёт грубую шкуру плоско сколотым камнем, как дикарь. Нет, дикари брезгуют этой работой, как и всякой прочей – для работы есть рабы и верблюды. Он, римский гражданин, ползает тут на коленях, а где же его прекрасная империя? Прохладные мраморные виллы, строгие улицы каменных многоэтажек, широкие площади и прекрасные храмы – просто мираж среди проклятых красных песков.

Да и была ли она, империя? Нет, это просто сон, просто рассказ стареющего римского легата.

– Империя – это величайшее изобретение человечества, – говорил он. – Идеальная среда обитания. Империя впитывает в себя всё лучшее от своих народов и распространяет на всех. Она – как единый организм. Заболит один орган, силы всего организма направлены на выздоровление. А может ли жить отдельно печень или лёгкие? Нет. И счастливейшая эра человечества наступит тогда, когда все народы объединятся в один. Прекратятся войны, закончатся разногласия. Все будут слаженно трудиться на общее процветание.

– Люди могут быть едины и счастливы только в едином Боге, – не соглашается Павел. – Не может быть одного народа при разнuzданном римском многобожии. И потом, вы, римляне, так кичитесь перед прочими...

Они не спорили – два мудреца, старый и молодой. Оба были обучены разговору, потому через равные промежутки времени просто давали друг другу высказать умную мысль.

Плавно качается беседа – от одного к другому. Качаются носилки.

Снаружи – песчаные холмы, злое солнце, жара и пыль на штандарте с имперской птицей.

Легат заговорил о своём поместье, о какой-то дивной инженерной работе.

Павел хочет уточнить, но ему мешает огромный орёл. Круглый безучастный глаз совсем близко. Можно попытаться спрятаться, упав лицом в песок, но твёрдый клюв уже разбивает голову. Араб-дрессировщик не даёт дремать...

Если бы Павел был человеком, он посмеялся бы над собой. Но он скребёт сухую верблюжью шкуру и смотрит на живого верблюда, который со звериной серьёзностью валит кучу чуть не под нос Павлу.

Человек может смеяться, животное – нет. Единственное ли это отличие? Отличие ли это вообще? Гиена смеётся тоже. Чем человек отличается от животного, думает Павел, глядя на верблюда. И тот и другой ест, и тот и другой совершает обратный процесс и заботится о продолжении рода. Но человек закапывает свой помёт, а верблюд – нет. Но верблюжий помёт полезен – им поддерживают огонь, а человеческий непригоден в дело. И кошки, любимицы египтян, закапывают помёт, как люди. Нет, это не показатель...

Павел не успел вроде ни слова сказать легату, а орёл уже тут как тут – и боль в голове такая, что не слышно собственного крика.

Араб-дрессировщик верблюдов тоже думает: чем человек отличается от животного? И быстро находит ответ: верблюд понимает палку, а человек – нет. Верблюд умён и прекрасен, а ему, Лухкаду, приходится возиться с этим полудохлым рабом. Его бьёшь, он орёт, падает в песок, катается, скребёт себя руками, но делает по-своему. Делает плохо и засыпает, сколько его ни бей.

Его не нужно было везти в пустыню. Но командир боевого отряда решил, что этот плюгавец – важная персона, выгодный пленник. Его обнаружили уже после стычки, когда все римские солдаты были перебиты и добыча свалена в кучу. Перевернули носилки, и коротышка вывалился из них сомлевшей жабой. Ничтожная мразь! Хуже любого животного и не человек. Для такого даже жалко палки.

Палка – отличный учитель. Она выучила Лухкада главному, чем он в себе гордился, – справедливости. Каждый должен получать по заслугам – это закон, на который опирается жизнь. И главный закон смерти.

Обида на господина не давала Павлу совсем умереть. Его, отмеченного учением и разумностью, его, говорящего языками человеческими и ангельскими, – в скотский бессмысленный труд? В подчинение бездумному дикарю?

Бездумному дикарю противно и палку пачкать об этого кишечного червя. Ему, сыну гордого народа, валандаться с нечистым? Нечистый всё равно сдохнет. Все они подышают тут – где живут только избранные. Велик человек-земля, много паразитов ползают по нему, но только гордый народ Бани Адам может жить в горле человека-земли. Горло – священное место, тут рождается Слово, тут рождается песня.

Лухкад не всегда жил среди этих красных холмов. Но он – сын племени Бани Адам. Сколько он себя помнит, его тянуло сюда, ведь в нём звучит песня. Такая же неспешная и тоскливая, как песнь этих непод-

вижных песков. В нём клокочет такой же неистовый ветер, как тот, что бушует в горле Адама-земли, когда Адам-земля говорит. И какой счастливый страх сотрясает Лухкада, когда человеку-земле приходится кашлянуть и страшные вихри сметают всё живое и неживое. Конечно, он – сын гордого племени, люди которого поклоняются только звёздам и о помощи просят только предков. Остальных заставляют работать на себя палкой и плетью.

Станный араб. Павел не мог думать о нём, не мог видеть своего мучителя за спиной, но Павел знал – араб странный. В его серо-голубых глазах ветер всё время гоняет тучи. Как непонятны эти тучи под чистым белым небом!

Белое небо чуть качнулось в такт носилкам, безучастный круглый орлиный глаз, крепкий клюв – совсем близко! Араб только замахнулся, а Павел уже успел открыть глаза. Дрессировщик опустил палку – неужели червяк не безнадёжен?

Но, очнувшись на пару скребков по шкуре, пленник повалился в беспомощности. Он всё равно сдохнет, на него не стоит тратить еду и воду. И то и другое – ценность.

«Раб – тоже ценность, – сказал старейшина. – Если выживет, пусть служит богу».

Так бывший иудей Павел начал служить богу.

Люди племени Бани Адам поклонялись только звёздам и о помощи просили только предков, но и с богами ссориться не желали. Многие боги были страшны и могли причинить вред, но особенно опасен и зlobен Хембешай – похититель младенцев. Чем задобрить такого бога? Что предложить ему вместо младенцев, ему – не признающему иной пищи? В незапамятные времена мудрецы племени Бани Адам нашли выход. Трудно ублажить Ужасного и Незримого, а его человеческое воплощение – вполне по силам. Для воплощения выбирался прекрасный из юношей – чтобы Великому Хембешаю было необидно и приятно в человеческом теле. Избранный в течение года ни в чём не знал отказа. А через год полюбившееся тело отдавали Хембешаю насовсем, чтобы тот всё-таки мог напиться крови. Ведь боги тоже любят кровь, почти как люди. Правда, людям достаточно сделать надрез на ноге верблюда, чтобы кровью наполнить чашу. И человек напьётся, и верблюду на пользу. А богу не хватит малости, он выпивает жертву до дна. Павла...

.....

Павел отслужил богу, так подумали люди племени Бани Адам, – проклятая лихорадка совсем свалила его, и он, обессиленный, повалился лицом в песок.

Лухкад хотел поднять его.

– Оставь раба, лекарь, – сказали соплеменники. – Оставь, его оплатят и похоронят добрые шакалы.

Глава пятая

Но добрые шакалы не приходили. Павел остался совсем один.

Люди, животные – все оставили его вслед за Богом.

И жизнь оставила его. А смерть никак не приходила – Павел остался совсем один.

Он был счастлив. Потому, что жизнь оставила его вместе с болью, а есть ли на свете большее счастье, чем отступление боли?

Павел был счастлив, в нем не осталось ни боли, ни голода, ни страха. Он просто лежал и смотрел вверх.

Сначала вверху ничего не было. Даже луны. Потом появилась одна звезда. Потом высыпало сразу очень много звезд, и это было красиво.

Когда небо наполнилось кровью, звезды смыло красным. Потом кровь впиталась в высь, ослепительно белую, и это тоже было красиво.

Все происходило безо всякого участия Павла: ночь сменяла день, и день сменял ночь, начала расти луна, а Павел просто лежал на песке. И был счастлив. Потому что, когда ушли боль, голод и страх, стало свободно любви. Она не теснилась больше на дне сердца, она жила в Павле, и значит, Господь не оставил его. Господь был занят сменой дня и ночи, но помнил о Павле и любил его.

Потом Павел почувствовал холод. Очень сильным холодом жгло щеку, но Павел не мог увидеть, что это, так как на небе снова была ночь.

На рассвете Павел чуть повернул голову и увидел безучастную бетонную рожу – залепленную чашу. Когда кочевники отправились в путь, они оставили ее умирающему Павлу, думая, что это – его бог.

Когда Павел увидел чашу, покой оставил его. Он вспомнил Лухкада и свою жалость к нему. Добрый Лухкад: он не боится ни голода, ни боли. Но тот, кто суров к себе, не знает жалости к другим. В нем нет страха, но любви в нем нет тоже, потому что он справедлив. Справедливость не терпит милосердия и любви, а без любви нет Бога.

Дивный народ Лухкада: спокойные несуетные люди, неприхотливые в пище и одежде. Они довольны обыденным и соблюдают порядок в своей жизни. Добрые люди, называющие и себя, и животных – детьми человеческими. Мудрые люди, понимающие свое место в мире и соблюдающие общий порядок. Они не хотят лишнего, но их рабы заботой о насущном заполняют все время между утренней зарей и вечерней, а сами они лишь переходят из небытия ночи к небытию дня. Потому, что нет в их жизни любви, а без любви нет Бога.

Жалость нестерпимо жгла Павла, лишив его покоя и счастья. Он понял, что не может больше лежать тут, что он должен найти кочевников и помочь им.

Павел попробовал встать хотя бы на четвереньки, и это ему удалось. Ему было странно чувствовать свои руки и ноги, ощущать песок под ладонями, но он мог ползти и пополз. Тяжелую чашу он толкал перед собой, и она отвлекала его от смены ночи дня и ночи.

Он полз на четвереньках, потом понял, что идти гораздо легче, встал и пошёл. Шёл и не думал, откуда взялись силы? Что вело его? Каменная чаша давила на плечо, с каждым шагом становясь всё тяжелей.

Покой и счастье вернулись к Павлу, ведь Господь вёл его.

Он шёл много ночей и дней. Спал на тёплом песке, а когда песок остывал под ним, вставал и шёл дальше. Он уже забыл, как это: хотеть пить и есть, и от этого тоже был счастлив.

Павел уже не хотел выбросить чашу. Он понимал, что этот предмет непонятным образом поддерживает в нём силы. Прохладная в любой зной, пустая чаша кормила и поила Павла, и он шёл всё дальше и дальше по невидимым следам племени Бани Адам.

Небо над ним жило своей жизнью, песок под его ногами – своей, а Павел всё шёл и шёл. И не думал ни о чём. Он не думал больше ни о Боге, ни о себе, не заботился о дороге. Дороги и не было – только пес-

чинки, недовольно шуршащие, когда на них наступали. Они то лежали спокойно, то вдруг спохватывались и кучками спешили в другое место. Другое, хотя и ничем не отличное от первого. Песчинки торопливо затирали следы Павла, стараясь восстановить им одним ведомый порядок. А Павел шёл, слушал и удивлялся.

Удивительным образом он стал вдруг понимать языки всех предметов и тварей вокруг себя, отчего пустыня для него сразу наполнилась жизнью. В этих языках не было слов, но была соразмерность. Мысли и слова перестали ограничивать Павла, и он слышал каждую песчинку, каждую чахлую травинку, каждую букашку под камнем. Небо вдруг перестало жить своей жизнью, а песок – своей. Всё сущее жило одной жизнью, и Павел шёл в ней, спокойный, как младенец. То Луна, то Солнце бережно сопровождали его, а он улыбался им в ответ.

Потом появился ещё один попутчик. В пересохшем оазисе Павел выковырял из песка полудохлую безумную ящерку и понёс вместе с бесформенной чашей. Через сутки они смогли беседовать, и ящерка рассказала ему, как погибал оазис. Иссияк источник, и вместо воды по жилам растений растёкся жар. Те животные, что никогда не трогали себе подобных, наедались горячей травы и мучились меньше, чем те, что поедали их торопливо, стараясь скорее выпить быстро чернеющую кровь. Те, кровожадные, потом ещё жили несколько дней, судорожно клацая зубами по пустым вонючим костям и глотая холодный песок в пересохшем русле. Потом успокаивались и они, лежали, растворялись в белом солнце и буром песке. От когда-то размеренного уютного мира не осталось ничего. И Павлу было грустно слушать о том, что животные ничем не лучше людей, что они тоже бросаются пожирать друг друга, помогая пришедшей Смерти. Он оставил чуть окрепшую ящерку в одном подходящем месте. Когда уходил, бедняжка потрясённо рассматривала колючие травинки. Ей было странно, что когда вся её трава погибла, где-то ещё, оказывается, росла совершенно такая же.

А Павел шёл всё дальше, и вот на его пути вместо песка всё чаще стали попадаться камни.

Как-то ещё одна ночь накрыла Павла. Он послушно лёг на камни, но лежать было неудобно, поэтому он сел и проспал до восхода сидя.

А на восходе пыльные шатры племени Бани Адам встали перед его проснувшимся взором. Из крайнего шатра вышел Лухкад, увидел Павла, сжимавшему в руках чашу, и закричал.

– Мой Бог вывел меня, – спокойно объяснил Павел кричащему от ужаса Лухкаду. Впервые за последние дни он вспомнил про Бога, и ему стало приятно.

– Его Бог привёл его, – объяснил Лухкад вышедшим на крик соплеменникам и показал на серую каменную чашу в руках Павла. Восхищённые кочевники тут же поклонились могущественному Богу чужестранца.

– Будь и к нам милостив, о Великий, – попросили они каменную чашу.

– Он ко всем милостив, – радостно сказал Павел. Бог снова возвысил и приблизил его. Снова из рабов в пастухи попал Павел и взирал на свою паству любящим взором.

.....

(Он прожил в племени три года.)

Глава шестая

После пустыни мир вокруг казался действительно чудом. Павел удивлялся, как это можно было ходить по траве, не восторгаясь её нежной лаской. Он встал на колени и принялся гладить жестковатые травинки. Чудо: каждая травинка остра – порезаться можно, а в пучке – мягкость, доверие. Казалось бы, трава она и есть трава: но сейчас тёплая, податливая под рукой, а склонится солнце, выпадет роса – обстегает холодом, так пронзительно, что слёзы шевельнуться где-то между бровями! Трава – из-под земли выходящая, солнцем и дождём кормящаяся – чудо?

И пчела, ворчливо собирающая мёд, – чудо. И лепесток яблоневый, опадающий медленно, весь ещё полный света и сладкого запаха, – чудо. Все деревья и травы, звери и птицы – чудо. И солнце, такое ласковое здесь, среди оливковых рощ и густогопряного неба – чудо.

Павел заплакал неудержимо, впервые после стольких месяцев жестокой пытки, заплакал счастливо, всхлипывая, как ребёнок. Как велик должен быть Господь, создавший всё это одной лишь силой творящего слова! Какой чудесной силой выплетались из хаоса и эти тончайшие лепестки, и эти грубые камни, не отесанные ещё дождями и ветром?

Что-то сухое и жёсткое резко ударило Павла в мокрую щёку, отскочило, оставив чувство саднящего неудобства. Хохот, улюлюканье, свист – камешки, куски земли и помёта посыпались со всех сторон. Вся окраина селенья, к которому вышел Павел, давно уже наблюдала за ним. Люди занимались своими делами, но то и дело бросали настороженные взгляды на больного оборванца, рыдающего, стоя на четвереньках, подобно псу. Косматый измождённый чужак был явно болен, и не будет никакого добра, кроме худа, если он подохнет сейчас на дороге, в виду всей деревни.

Взрослые не давали прямого указания мальчишкам отогнать пришельца, но и не мешали затевающейся забаве.

Камешки, куски земли и помёта не могли причинить Павлу серьёзного вреда, но в ход пошли уже палки, бульжники и глиняные черепки. Охотничий азарт подгонял мальчишечью свору, и маленькие мучители досадовали не на шутку, что жертва ведёт себя столь безучастно. Лохматое чучело, свалившееся у дороги, могло бы взвыть, закрутившись, как подбитая шавка. Могло бы заскулить, закрыв голову руками. А лучше – бросилось бы бежать, спотыкаясь и подскакивая от очередного меткого камня.

Но Павел просто лёг щекой на траву и лежал, молча смаргивая уставшими после слёз глазами.

Самый шустрый ребёнок выбежал вперёд всех и весело пнул оборванца в бок. Резкий крик со стороны деревни предостерег шалуна: мало ли какое зло таилось в этой подыхающей твари.

«По образу и подобию своему... По образу и подобию своему создал Ты человека». Таков ли Твой образ: бессмысленные сопливые рожи, изуродованные ишачим смехом? Реденькие гнилые зубки в воняющих пищевых ртах? Или в тех, у деревни, различимо подобие Твоё? Может быть, в той толстомясой бабе, что с тупой важностью мочится за сараем, раскорячившись по-коровьи? Жёсткая струя выбивает грязные брызги ей на босые ноги, а слепни пристраиваются уже к белому, как незрелый сыр, оголённому заду.

Где ты, Господи? Как без Твоей любви пережить мне это отвращение к подобию Твоему, обгаженному веками? Видно, вправду близок конец

времен – ливень, смывающий неудачу Творца. Огонь, что испепелит уродливые тела, не сохранившие искру божью.

Потемнела природа. Остыл воздух. Теплее стала земля. Людские детёныши разбежались, заскучав.

Беспривязные псы заинтересованно засновали рядом с Павлом, чужая поживу.

Кал пёсий. Пёсий кал у дороги – вот что я. Иудейский бог, Великий Господь отвернулся от меня, нерадивого, запоганенного в пустыне.

.....

Павел пробыл в Иерусалиме пятнадцать дней.

В один из вечеров к нему пришёл Пётр.

– Мир тебе, Павел, – сказал он слишком дружелюбно. Сел напротив.

– И тебе, – нехотя ответил Павел. Он не хотел сейчас видеть говорливого Кифу. Он вообще никого не хотел видеть.

– Эллинисты узнали, что ты вернулся в Иерусалим, – без предисловий выпалил Пётр.

– Ну и что?

– Они договорились убить тебя за то, что ты сделал тут три года назад.

– Пусть убивают, – пожал плечами Павел. – Это всё, что ты хотел мне сказать?

– Разве ты не боишься? – удивился Пётр.

– Чего?

Пётр смутился.

– Ну... Допустим, смерти...

– Нет.

– Боли?

Павел подумал.

– Нет.

– Ты что, обиделся на нас? – Пётр с любопытством заглянул Павлу в глаза.

– Нет.

– А всё-таки тебе лучше уехать, – решительно сказал Пётр. – Сам понимаешь, начнутся беспорядки, волнения. Римляне устроят расследование. А это значит – новые казни. Уезжай пока к себе в Тарс.

В Тарс? Нет, только не туда! Лучше чистить нужники в Иерусалиме, чем вернуться в богом забытый Тарс. Как обрадуется, как позлорадствует родимый городишко! Как будет кричать отец: долго, скучно. О загубленных надеждах, о выброшенных на ветер деньгах... Будет противно и неловко слушать его, смотреть в растерянные сердитые глаза, на трясущуюся потешно бородку. Мать отвернётся презрительно, молча... Хотя, что это он: мама, конечно, не отвернётся. Кто это сказал недавно, что матушка скончалась полгода назад? Бог знает...

Павел удивился сам себе: неужели я испугался? Сплетен, крика, презрения?! Пустого сотрясения воздуха, досужего чесания языков? Бред. Куда же ещё податься, как не в Тарс? Там тихо, спокойно, уютно. По большому счёту никому не до кого нет дела. Никто не визжит в синагоге, не спорит до драки из-за одного слова, не меряется бесконечно благочестием и мудростью. Люди беседуют мирно после трудового дня. Там каждый занимается своим делом. И он, Павел, будет неспешно кроить палатки – ремесло полезное, доброе.

– Хорошо, я уеду.

Действительно ли Павла собрались убить или это апостолы выдумали, чтобы прогнать его из Иерусалима – Бог знает... Надо уезжать. Нет смысла больше сидеть здесь. Всё суета и мерзость. Люди не хотят слышать о Боге. Они любят говорить о Боге, но никто не хочет слушать о нём. Ведь тогда придётся прислушаться к себе. И услышать, что вся жизнь твоя – пустой звон. Суета и мерзость.

Все хотят сладкого, а потом – остренького, а потом – проблеваться, и опять – сладкого.

Многие получают сладость от удовольствий, остальные – от чувства, что они лучше других.

Все хотят власти, даже ничтожные; получают её, над более ничтожными, но хотят больше, потом ещё больше, не понимая, что высшая власть – у Бога.

Павел устало закрыл глаза: как хорошо было бы никогда больше не видеть людей, нет ничего в мире более мерзкого, чем люди.

В дверь постучали.

Павел открыл глаза, не отозвался.

В дом зашёл Картафил, сапожник.

– Мир тебе, Савл, – сказал он.

Павел промолчал.

– Говорят, ты проповедуешь Иисуса Назарянина распятого...

Павел продолжал молчать.

– Расскажи мне о нём, – попросил сапожник.

– Мне нечего тебе сказать, – ответил Павел. – Иди к назореем, иди спроси у Симона-Кифы, у Иакова, брата Господня. Они расскажут тебе, они видели его, говорили с ним, они всё знают.

Сапожник замялся:

– Они не будут говорить со мной, они гонят меня.

– Почему?

– Ну, понимаешь... Три года назад это было, на Пасху. – Картафил заторопился объяснить, пока Павел слушал его. – Человек этот... преступник обычный, шваль, каких полно, убийца или насильник. Его вели на казнь мимо моего дома. Я нарядился ради праздника, вышел... А тут он – вонючий, избитый, весь в крови... Морда страшная, исцарапанная вся – ему колючки на голову нацепили... Волочит он свой позорный крест, и вдруг прямо ко мне...

– Зачем? – спросил Павел.

Сапожник смутился.

– Я не понял. Наверное, он просил пить... или нет... Он говорил слишком тихо, я не понял... Я, конечно, прогнал его. А как иначе? Он ведь бандит, смертник, помой человеческие – его ведь вели казнить, надо думать, за дело... Конечно, я прогнал его! А потом я услышал о нем на базаре... И еще слышал, часто. Говорят, будто он пророк, чудотворец, чуть ли не мессия... А я ведь его даже не ударил, толкнул только... Понимаешь, я его просто оттолкнул, оттолкнул, а не ударил, как говорят эти...

– Кто?

– Ну, назореи. Они зовут меня Бутадеус – «ударивший бога». Они говорят, что этот человек – Бог.

– Ну а ты что думаешь? – спросил Павел.

– Не знаю, – занервничал сапожник. – С виду, конечно, никак не скажешь... Но иногда мне кажется, что он не совсем обычный человек.

– Почему тебе так кажется?

– Тоскую я, – тихо признался Картафил. – С тех самых пор и тоскую, как оттолкнул его. В грудях что-то взяло... – сапожник сгреб пятерней рубаху на груди, – и крутит, и крутит... – сапожник показал как у него крутит в груди. – Я тоскую.

Павел ничего не ответил, и сапожник добавил неуверенно:

– Ещё... Ещё иногда я думаю, что... Это, наверное, глупо... Я сильный, красивый мужчина, хороший мастер, у меня много клиентов, я отдаю хорошую пошлину в храм – Господь щедр ко мне. А тот – нищий преступник, он шёл на смерть... Но иногда я думаю, что Господь любит больше его, чем меня.

Павел кивнул.

– Ты понимаешь, что так оно и есть?

– Да, но не понимаю, почему.

Павел не ответил сразу. Помолчав, тихо сказал:

– Нет, он не бог.

– Да? – обрадовался сапожник.

– Он – бессмертный.

Картафил непонимающе улыбнулся.

– Он казнён, умер, но победил смерть, – объяснил Павел. – Он теперь будет жить вечно. Не веришь, что это возможно? – сапожник не верил. – Избранные могут так, некоторые. Некоторые бессмертны, веришь? Они не цепляются за жизнь, не жалеют, не собирают как скряги каждый день, каждый лишний час жизни. Они умеют жертвовать жизнью, ради других. И за это получают бессмертие. Это высшая награда, высшее благословение для человека – заслужить бессмертие за дела свои. Понимаешь?

Его собеседник недоумённо пожал плечами.

Павел неожиданно встал.

– Хорошо, я крещу тебя, Картафил. – Взял сапожника за руку, приложил его руку к его же груди. – Чувствуешь здесь?

– Да.

– Что?

– Болит.

– Это болит твоя душа, жаждущая бессмертия. Это она привела тебя сюда. Тебе повезло, Картафил, что ты встретил тогда Его. Теперь и ты сможешь победить смерть.

– Зачем? – испугался Картафил. – Я не хочу.

– Уходя от смерти, ты приходишь к любви, – терпеливо объяснил Павел. – Ты же сам тоскуешь, что Господь не любит тебя.

Сапожник кивнул.

– Смотри, – Павел провёл рукой по груди Картафила горизонтальную черту. – Это – твоя земная, телесная природа. А теперь, смотри, – он, обмакнув пальцы в чашу с водой, прочертил невидимую линию ото лба сапожника к поясу. – Это твоя духовная природа, идущая сверху, от Бога. Она перечёркивает земную. – Апостол быстро обозначил перечёркнутую земную природу на груди своего крестника. – Понял? Вот знак креста – вертикальная линия зачёркивает горизонтальную. Дух торжествует над плотью. Смерть побеждается любовью. Понял? А вода очищает тебя для новой жизни, смывает грязь, накопленную прежней. Та жизнь кончилась. Теперь у тебя всё другое. Ты сам другой. И имя твоё отныне не Картафил, а... – Павел запнулся. – Какое ты хочешь имя?

Сапожник задумался. Робко предложил:

– Иосиф?

– Хорошо, встань, Иосиф. Теперь ты умер для смерти и воскрес для любви.

Они помолчали, глядя друг на друга.

– Тебе стало легче? – спросил Павел.

– Пока не знаю.

Иосиф похлопал глазами, прислушиваясь к себе. Вздохнул тяжело, вышел на улицу.

Павел встревоженно двинулся следом.

Сапожник отошёл от дома на несколько шагов, остановился. Стоял, грустно глядя на закат.

– Прости, но я всё равно тоскую, – признался он через несколько минут. Оглянулся, виновато посмотрел на Павла.

– Почему? Ты не чувствуешь любви? – Павел удивился. Сам он сейчас отчаянно любил этого растерянного человека, искренне желая помочь ему.

– Нет, любовь я чувствую, но... – Вздохнув, Иосиф медленно двинулся к дороге.

– Ты будешь жить вечно! – ободряюще крикнул ему в спину Павел.

Иосиф не обернулся. Проворчал только недовольно:

– Зачем мне жить вечно? Я же не избранный. Я ничего не сделал такого... я только оттолкнул его, всего лишь оттолкнул... Зачем?..

– Вот ведь, – усмехнулся про себя Павел, – вот он, еврей – вечно недовольный, вечно ноющий. Вечный и неизменный со времён Авраамовых. Вечный жид – ни себе не даёт покоя, ни другим.

Сапожник Иосиф, бывший Картафил, человек, ударивший Бога, брёл по дороге прочь от заходящего солнца.

А палаточник Савл, он же Павел, человек, увидевший воскресшего Бога, ушёл пешком в Тарс. И оставался там четырнадцать лет, шил палатки и беседовал с людьми. Люди приходили к нему, когда им было плохо или тревожно, и он помогал разговором, часто ссылаясь на слова Иешуа-бен-Пандеры, Христа, распятого в Иерусалиме, которого Павел встретил потом по дороге в Дамаск.

Он любил людей и лечил их словом любви. А когда они, желая польстить, восхваляли его учёность, он отвечал обычно так:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий».

Люди не понимали смысла этих слов, но им было приятно, и они улыбались.

Кирилл ЛОДЫГИН

Родился в 1973 году в Горьком. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Публиковался в периодических изданиях, на интернет-ресурсах. работает программистом. Живет в Нижнем Новгороде.

ДВЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ КАСТРЮЛЬКИ И ЧАЙНИК ДЛЯ ЭКСТРЕМИСТОВ

Телефон зазвонил около шести утра. В трубке щелкало и свистело: связь в Дзержинске из рук вон плохая, да и телефон у меня был тот еще. «Кирилл, – сквозь шумы и хрипы голос Елькина был малоузнаваем, – мы вселились. Адрес запиши. На Чапаева... Не знаю, где это. Трамвай тут ходит. Нам бумага туалетная нужна, скотч, мыло... Принеси, а? Сейчас сможешь?» За окном – февральская сырая темень, вязкий туман оттепели. «Да, да, конечно!» – я схватил ручку и лихорадочно принялся записывать: бумага, мыло, зубные щетки (блин, вот уж щетки-то могли бы привезти с собой!).

«Это Елькин был, – сказал я жене, лихорадочно натягивая джинсы. – У нас мыло лишнее есть?» Глупый вопрос на самом деле. Откуда бы ему взяться, лишнему мылу? Светка снисходительно наблюдала, как я скачу, запутавшись в штанинах. «Ты когда вернешься?» – «Я скоренько. Туда-обратно. Слушай, а Чапаева – это где?» Жена отлично представляла улицу Чапаева и к заверениям о скором возвращении отнеслась скептически: «Дверь тихо открывай, когда придешь. Сашка спать будет».

Выскочив из подъезда, я зачавкал по оттаявшему в кашу снегу к ближайшему магазину. Возбуждение не давало идти – несся вприпрыжку. Эти выборы были для меня как подарок.

Иллюзий у меня не было никаких. Мы должны были проиграть с треском. И дело даже не в наших жалких возможностях. Просто для таких, как мы, победа не предусмотрена в принципе. Не в этой жизни. В этой мы обречены проигрывать. Но...

Депрессивный город Дзержинск. «И как же тебя занесло сюда?» – «Да так вот уж как-то получилось...» Жена, дочь, которая улыбается и умильно лопочет что-то на своем младенческом языке. Перспективы туманные. Попросту говоря, никаких перспектив. Жизнь на нервах. Постоянные поиски твердого заработка, приработка, хоть каких-нибудь денег. Безднадега и сосущая тоска. Мертвое время в умирающем городе.

И тут вдруг эти выборы. Черт побери, в мире что-то происходит! Какое-то движение, новые люди. Все мгновенно оживилось. И даже в сером дзержинском небе проглянула синева. Предчувствие неизбежного поражения я постарался задвинуть подальше. Не хотелось портить праздник.

Разумеется, не думать об этом вовсе не получалось. Пару раз я даже заводил какие-то такие разговоры с Елькиным. Явно неуместные разговоры. Он заставлял себя верить в победу, загонял себя в состояние драматического фанатизма: «Ставки слишком высоки! Мы проиграть не можем!» Дима боролся за освобождение из тюрьмы вождя.

Нырнув в семейную жизнь, связь с нацболами я практически утратил. И потому эпопея со вторжением в Казахстан прошла мимо меня.

Как-то на вокзале в толпе меня узнал мужичонка, торгующий маргинальными оппозиционными газетками. Жалкий, потрепанный персонаж, он подобрался ко мне и, опасливо кося глазами по сторонам, забормотал: «Молодой человек, поймите, от Эдуарда нужно сейчас держаться подальше. Он решил поиграть в Мисиму. Явно нарывається на пулю. И вас за собой потащит». Я даже не понял, о чем это он.

Политическая тусовка бурлила: «Лимонов готовит партизанскую войну». Националисты радостно анонсировали предстоящую экспедицию в своих газетах. По студенческим общагам шла вербовка добровольцев. Похоже, только я один был не в курсе.

Я бегал в поисках работы. Электричка, автобус. Дзержинск – Нижний Новгород, Нижний – Дзержинск. И так до бесконечности. Все без толку. Неудачи преследовали меня одна за другой. «Пора уже научиться устраиваться в жизни». Да, пора. Но я так и не смог научиться.

В летнем душном нижегородском автобусе я встретил Елькина. Мы перебросились парой фраз.

– Какое-то говно сплошное, Дима.

– Вот поверь мне, скоро все изменится.

– Вот уж не знаю.

– Я не могу ничего говорить, но поверь. Скоро. Обещаю.

Я не поверил. Перемен к лучшему не бывает – я это давно усвоил.

Я умудрился прозевать все: и покупку автоматов у подставных людей из конторы, и начавшиеся посадки. Даже об аресте Лимонова узнал с опозданием месяца на два.

По одному из центральных каналов показали оперативную съемку задержания где-то в Алтайских горах лимоновской группы, она же национал-большевистская армия. Здоровенные мужичищи в камуфляже и с автоматами картинно крались между сугробов к маленькой избушке, врывались, вышвыривали в снег пяток перепуганных пацанов и следом выволакивали самого Лимонова. Невысокий на самом деле, метр с кепкой, на фоне своего тщедушного воинства Лимонов смотрелся настоящим медведем. Его толкнули в общую группу. Он затравленно заозирался и совершенно по-мальчишески втянул голову в плечи в ожидании очередной затрещины. Был он комичен и жалок.

Рядом с ним, широко расставив ноги, стоял – как и все, руки за голову – парень в сиреневых кальсонах и нательной фуфайке. Все прочие были какие-то серые и блеклые, а он выделялся ярким пятном. Вот он выглядел достойно. Единственный из всех стоял прямо. Его принуждали согнуться, лупили в спину прикладами. Он качался под ударами, но стоял. Остальные были всего лишь мальчишками, по глупости угодившими в скверную историю. И только он один был похож на солдата,

попавшего в плен. На меня это произвело сильное впечатление. Я специально потом узнавал его имя. Парня звали Алексей Голубович.

Лимонов приземлился в Лефортове и тут же принялся писать. Книжки, статьи, послания президенту. Все в невообразимых просто количествах. О себе он писал (не без гордости, надо полагать): «Я революционер, захваченный в плен». Но выглядеть при этом стремился невинной жертвой системы. Два эти образа совмещались плохо, но его это нисколько не смущало.

Общественность не знала, как реагировать. План завоевания Казахстана выглядел дичайшим абсурдом. Поверить, что все это затевалось всерьез, было просто невозможно. По телевизору намекали, что в лимоновской аванюре планировалось участие знаменитого французского солдата удачи Боба Денара. Но это только добавляло абсурда.

Был затеян сбор подписей в защиту известного писателя, пострадавшего от произвола спецслужб. Подписи, впрочем, собирались как-то вяло.

Кто-то, кажется, скульптор Шемякин, осмелился поговорить о судьбе Лимонова с самим Путиным. Путин отвечал в духе: следствие разберется.

Следствие шло. Лимонов сидел. И срок ему светил огромный.

И тут как раз в Дзержинске случились досрочные выборы в Думу. План был прост и безумен. Кандидатура Лимонова выдвигается на выборы. Нацболы выборы выигрывают. Лимонов получает депутатскую неприкосновенность. Двери тюрьмы распахиваются. Свобода встречает радостно у входа.

Все. Цели определены, задачи поставлены. За работу, товарищи!

Не знаю, где и как Елькин добыл мой номер. Его ночной звонок был полной неожиданностью.

– Кирилл, встретить нас завтра на вокзале в одиннадцать. Ты нам нужен.

– На вокзале в Дзержинске? – Я был удивлен. Что могло понадобиться нацболам в нашей дыре?

– Ну да, да.

– А что такое?

Так я узнал, что мы участвуем в выборах.

На следующий день я влетел в здание вокзала ровно в одиннадцать. Ни на минуту не опоздал против обыкновения. Зато опоздали нацболы.

Обычно полупустой, а то и вовсе пустой дзержинский вокзал был битком набит. Какие-то солдаты с коробками, рыдающие тетки, пьяные мужики. Надо было бы пристроиться у стенки где-нибудь в уголке и стоять себе покойненько. Но я успокоился, что Елькин меня не найдет, и принялся бродить в толпе, высматривая знакомые лица.

У нас если люди собираются в толпу, сразу начинается какая-то непонятная борьба. Вот вроде они просто стоят и чего-то ждут, не надо никуда лезть, не надо проталкиваться вперед. Но они все равно пихаются, стараются достать локтем каждого, кто оказался рядом, переругиваются. Без всякой цели, из одного угрюмого удовольствия. Постоянно приходится уворачиваться и отдергивать ноги, чтобы совсем не оттоптали.

Разумеется, Елькина я проглядел. Минут, наверное, пятнадцать мы кружили по залу, пока не столкнулись нос к носу. Елькин и с ним стайка каких-то мальчиков и девочек, московские товарищи.

«Где тут у вас Сбербанк?» Да откуда ж мне знать, где тут у них Сбербанк! «Ты ж здесь живешь». Ну, живу, но в банк-то не хожу. Зачем мне?

Чтобы зарегистрировать кандидата, нужно собрать подписи или внести залог. Но на сбор подписей времени уже не остается: сегодня последний день регистрации. В общем, все как всегда.

У Елькина выписан на бумажку адрес. Банк, оказывается, от вокзала в двух шагах.

«Сейчас Тишин деньги привезет». Стоим, ждем, когда Тишин привезет деньги. С неба падает снежок. Нацболы веселятся. Какие-то они карнавалы. Мальчики в огромных клоунских ботинках, девчонка с малиновыми волосами. Оживленно жестикулируют, смеются, на революционеров совсем не похожи. Дети.

И только у Елькина суровая физиономия. Он мерзнет в своих дражных армейских ботинках и тошей куртейке.

– Ну, и где же ваш Тишин?

– Два часа назад выехал из Москвы. На машине.

Суббота – у банка сокращенный рабочий день. «Толя звонит. Они только что Владимир проехали». Снег начинает валить крупными хлопьями.

Ухожу домой греться и пить чай. Нацболов с собой не зову, чтобы не напрягать жену.

Едва я успеваю снять ботинки, звонит телефон. Елькин срочно зовет обратно. Деньги приехали. Ковыляю к банку.

Тишин, нервно подергиваясь, раздает указания по заполнению платежей. Почему-то он кажется очень знакомым, хотя абсолютно точно раньше я с ним не встречался. Борода, проплешины, морщины. Первое взрослое лицо, увиденное мной среди нацболов. Но чем-то Тишин похож на этих мальчиков и девочек, какое-то клеймо стоит, которое сразу его выдает. Смотрю на него и вдруг понимаю: у него абсолютно безумный взгляд. Чистое, незамутненное, лихорадочное какое-то безумие.

В банке, как всегда, полно народу, душно и нервно. Заполняю бланк. Ручка отказывается писать, царапает бумагу. Тоже, впрочем, как всегда.

Обнаруживается новая неприятность. Каждый желающий внести залог за кандидата может заплатить только строго ограниченную сумму. Деньги есть, а вот людей не хватает. «Что ж ты так мало народу привез, Дима?»

Час до закрытия банка. «Найди нам кого-нибудь, Кирилл!» Кого я найду в этом чужом городе? Меня впервые посещает мысль, что выборы нам не выиграть. Ни за что.

На машине, которая привезла Тишина и деньги, еду домой. Врываюсь в квартиру. Мгновенно определив по жестам и интонации первых слов, что я собираюсь ее о чем-то просить, жена напрягается и говорит: «Нет». Но потом все-таки дает себя уговорить, добрая душа.

Светка отбывает в банк сделать вклад в нашу победу, а я остаюсь с ребенком. Бегаю из угла в угол, из комнаты в комнату, на кухню, в туалет, наворачиваю круги, грызу ногти. Сашка сидит на ковре и смотрит с явным осуждением.

Часом позже тетка из избирательной комиссии просматривает принесенные нами документы. Ей явно не по себе от того, что в комнату набилось столько странных молодых людей. Тишин сидит напротив, боком втиснувшись в кресло и по-прежнему нервно дергая ногой. Тетка ведет себя на редкость доброжелательно и вежливо.

– А вот ваш кандидат, он правда в тюрьме?

– Суд еще не состоялся, и вина не доказана.

– Ну и как же вы тут без него?

Тишин усмехается:

– Когда меня в Москве на выборах выдвигали, я вообще сидел в тюрьме на Украине.

И я вспоминаю. Точно! Тишин был среди тех, которые забаррикадировались в какой-то башне в Севастополе и вывесили нацбольский флаг. Крупный тогда получился скандал. И о выборах я тоже читал в «Лимонке». Они там еще для тишинской кампании замечательный лозунг изобрели: «Анатолий Тишин – работник морга. Подумай о будущем!»

Тетка умудряется не сбиться с доброжелательного тона: «Ну, что же. Документы в порядке. Поздравляю вас. Приходите на вручение удостоверений кандидатов».

Выходим на улицу, топчемся на крыльце городской администрации. Бестолковая маета дня доконала всех. «Толя, – говорит Елькин, – скажи что-нибудь людям». И Тишин начинает ораторствовать о партийном единстве и большой семье НБП. Прямо здесь же, на крыльце. Мастерски делает, надо признать. Питерские нацболы, смоленские нацболы, хрен знает какие еще нацболы... Сгрудившиеся вокруг него мальчишки оживляются.

И тут я понимаю, что мне неинтересно. Я тут, кажется, единственный, кто еще не слышал этих речей. Но мне и не хочется. Ни про отделения партии с правым уклоном не хочется, ни про отделения с левым. Хочется жрать, хочется домой. И вообще я устал как собака.

Осознав это, огорчаюсь. В очередной раз оказался я не холоден и не горяч. Ну и черт с ним!

День вручения удостоверений. Большой зал, заполненный мужиками в костюмах и при галстуках. Мужики в основном безобразные, раздувшиеся, брюхатые и красномордые. Костюмы и галстуки по большей части дорогие. Хотя, впрочем, я в этом не разбираюсь.

К мужикам жмутся немногочисленные тетки. Все как одна в возрасте, не позволяющем уже рассматривать их в качестве сексуального объекта. И все как одна зачем-то с цветами. Такое впечатление, что они собрались их возлагать на чью-то могилу.

Из нацболов – один Елькин. Когда объявляют, что представитель кандидата Лимонова может получить удостоверение, Елькин поднимается и, шаркая стоптанными армейскими ботинками, движется к комиссии. Сгорбленная фигура в потертых джинсах и линялой футболке.

В зале воцаряется мертвая тишина. Слышно, как зады некрасивых теток и безобразных мужиков ерзают на стульях. Одна из теток громким шепотом на весь зал вопрошает: «Кто это?» В голосе – изумление и брезгливость. Потом вдруг кто-то спохватывается и для соблюдения приличия начинает хлопать. Предыдущим кандидатам хлопали. Когда Елькину вручают удостоверение и председатель комиссии пожимает ему руку, хлопают уже все.

«Молодой человек, вы с *этим*?» – склоняется ко мне один из обладателей пиджака и галстука. Ну, догадаться было нетрудно. «А вот скажите: чего вы хотите?» И какого ответа ты ждешь, урод? «Хотим выиграть выборы». Смотрит на меня, как на идиота.

Чего мы хотим? Чего я хочу? Хочу, чтобы мы все-таки победили. Чтобы вы, мерзкие жирные твари, передохли в один прекрасный день все, а нам бы удалось вас пережить. И Лимонов тут вовсе ни при чем.

Подходит Елькин: «Вот нацболы... блин... могли бы и подыхать». Я его понимаю. Всегда хочется как можно больше доброжелательных глаз. А тут – один я, как верный Иоанн.

Потом мы долго гуляем по улице. Говорим о партии. О чем еще можно разговаривать? «Мы – последняя надежда страны. Никто тут ничего не сможет, только мы. И потому партия – это все. Иначе никак. Вот знаешь, если партия, например, запретит нам общаться, придется с тобой не разговаривать».

Пинаю ледышку. Господи, Дима, сколько ж усилий тебе приходится прикладывать, чтобы быть таким фанатичным. Ведь неглупый же человек...

Две с лишним недели безуспешных попыток найти квартиру для людей, которые приедут работать на выборах. Представить не мог, что это будет так непросто. Город вымирает – парочка пустующих квартир есть почти в любом подъезде. Но на все уже наложили лапу агентства недвижимости, цены заломили запредельные. С хозяином квартиры можно попытаться договориться, с агентством – бесполезно. Елькин считает, что тут не обошлось без вмешательства Конторы (нацболы, как я заметил, вообще склонны поминать Контору при каждом пролете). Но, по-моему, это он зря. Конторе нет нужды вмешиваться, когда есть жадные риелторы.

Но вот, наконец, квартира снята.

Закупившись по списку в магазине, отправляюсь на поиски улицы Чапаева. Пересекаю освещенную редкими фонарями площадь Ленина и углубляюсь в неосвещенные вовсе дворы. Дворники в городе уже, кажется, лет пять как перевелись вовсе. Лед не скалывается даже на улицах, не то что во дворах. Скольжу, падаю, вновь скольжу, рискуя свалиться в очередную рытвину. Наступив в глубокую лужу, матерюсь. Но об осторожности не забываю – матерюсь шепотом. Мало ли кто может выйти из темноты на мой голос. Сапог хлопает.

Трехэтажный барак, даже в темноте видно, какой он обшарпанный. Кажется, это и есть тот самый дом, хотя намалеванный на стене номер распознается с трудом.

Квартира на третьем этаже. Исцарапанная дверь без обивки, звонка нет. Руки заняты пакетами – пинаю дверь ногой. Мгновенно распахивается дверь напротив, у меня за спиной. Поставленный голос профессиональной скандалистки заводит: «Нельзя ли потише! Люди уже спят, между прочим!» Неопрятная бабища неопределенного возраста. Спишь ты, сука? Под дверью сидела, караулила. «Извините», – говорю ей, но она только сильнее распаляется. Упускать представившийся шанс поскандалить она не намерена – продолжает громко вопить и браниться даже после того, как меня впускают в квартиру. Потом от избытка чувств подсакивает к закрывшейся за мной двери и тоже ее пинает. Дверь сотрясается от ударов.

«Слон», – представляется парнишка, который запустил меня в квартиру. Маленький, худенький, чернявый, виски выбриты.

Оглядываюсь. Классический клоповник, причем, скорее всего, в самом буквальном смысле. Жутко представить, какая колония кровососов может обитать в этих фанерных стенах. Узкий коридор, две комнатки с низкими потолками. По улице громыкает трамвай. Оконные стекла мелко и очень противно дребезжат.

Даже десятку человек здесь будет очень тесно. А Елькин говорит, что народу приедет гораздо больше. Но пока их всего трое. Кроме Слона и Елькина еще один здоровый мордатый детина со смешной фамилией Коноплев. Он громко и радостно строит планы трахнуть какую-то особу. «Давненько. Давненько я ее», – говорит он. Елькин в ответ криво усмехается.

Пожав мне руку, Коноплев тут же надевает маску крутого специалиста по выборным технологиям: «Ты ведь здесь живешь? Ну, какие тут настроения в городе? Вообще что можешь рассказать?» Не знаю на самом деле, что он хочет от меня услышать.

Про кошмарную геометрическую выверенность дзержинских улиц? Про мусор, который везде: в каждом дворе, на каждом бульваре, вдоль каждого шоссе? Про деревья, прорастающие сквозь крыши заброшенных корпусов в промзоне? Про трубы в той же промзоне рядом с линией железной дороги? Раньше из них валил густой зеленоватый дым. Теперь не валит. И непонятно на самом деле, что хуже.

За окном громыхает очередной трамвай. Потом еще один и еще один почти без перерыва. На редкость интенсивное движение. Ехали по улице трамваи... Стекла дребезжат, не переставая.

Вот, кстати. Мне ведь здесь, в Дзержинске, довелось увидеть лобовое столкновение трамваев. Честное слово. Если пытаться как-то рассказать, что тут вообще творится, это будет самое лучшее описание. Лобовое столкновение трамваев. Впрочем, по всей стране примерно то же самое...

Люди. Разочек прокатиться с ними на утренней рабочей электричке, потолкаться в тамбуре, увидеть их глаза – все станет понятно. Это даже не те пустые и выпуклые глаза, о которых писал блаженный Веничка. Это куда более выразительные глаза. Они не выражают ничего. Полная пустота. Полнейшая. И космический холод.

Чего хотят люди с таким взглядом? Что их заботит? Уж точно не странное желание каких-то мальчишек во что бы то ни стало вытащить из тюряги сбрендившего писателя.

Разговор сам собой переключается на вождя. В «Лимонке» как раз начали публиковать серию его тюремных статей. Из какого-то непонятного снобизма это называется «серия лекций». Обычный набор скучнейших банальностей, выдаваемых за гениальные озарения: упраздним семью, разрушим школу, придумаем себе Нового Бога.

Почему-то мы относимся к этой писанине крайне серьезно. И дело даже не в том, что нам предстоит убеждать избирателей, что человек, написавший вот это, – серьезный и достойный кандидат.

Я горячусь:

– А я вот не хочу жить никакой кочевой коммуной. И вообще, вот чего это? «Будем окружать деревни, прыгать с вертолета и жарить мясо на углях». Это политическая программа такая?

– Да нормально все, Кирилл, – Елькину хочется защитить вождя, но он не может найти нужных слов. – А таким, как ты, мы подарим Касталию. Хочешь Касталию?

Добрый Дима, ничего ему не жалко...

Отправляюсь отлить. Туалет приводит меня в замешательство. Узкий закуток – протиснуться можно только боком, скособочившись над унитазом. А ведь я еще худощав. Каково будет вон Коноплеву тому же с его широченными плечами! В ванную я даже не рискнул заглянуть. Руки мыть пошел на кухню.

На кухне нацболы собираются попить чайку. Коноплев ставит на плиту маленькую кастрюльку. Я в такой варю по утрам яйца, если они есть. «Вот, блин, без чайника хрень какая». «Да вообще ни одной кастрюли нет нормальной», – подхватывает Елькин.

«Есть! Есть у меня лишние кастрюли! – неожиданно вспоминаю я. – И чайник, кажется, был». На прошлый день рождения мать сделала мне

странный подарок: набор основательных кастрюль и чайник. «Для семьи». Хотя моя семья недостатка в кастрюлях не испытывала.

Я, пока пер тяжеленные матушкины кастрюли в электричке, порвал два пакета. Проклял все, приехав, свалил их в кладовку. И вот вдруг оказалось, что они могут пригодиться.

«Слон, сходишь?» – спрашивает Елькин. Слон покорно идет одеваться.

Выскакиваем с ним на улицу. Около подъезда стоит машина, из открытого окна доносятся голоса. Слон толкает меня локтем: «Контро! Пишет!» Я бы и не сообразил, и не заметил. Но точно: голос Коноплева – он вновь озабочен тем, сколько раз успеет трахнуть свою барышню, что-то ему отвечает Елькин. Действительно, прослушка. И ведь даже не скрываются.

Бредем со Слоном по темным дворам: «Ну, вот у нас в общежитии. Вот приходишь, еще с лестницы слышно. Вот сидит человек, пьет и орет. Ну, вот так живем. Бухло, бабы. Ну, скучно. Ну, и я “Лимонку” почитал, в бункер пришел. Тут партия...»

Сколько таких разговоров у меня еще было потом. Абсолютно однотипных и абсолютно ничего не объясняющих. Я бы понял, если бы они были неудачниками или хотели всеобщей справедливости (что, в общем, одно и то же). Если бы ими двигала обида. Или злоба. Или ненависть. Но ведь они это делают со скуки. Было скучно жить – вступил в партию.

Светка оказалась права. Сашка давно спит, да и сама Светка прикорнула на диване. Стараясь ее не разбудить, лезу в кладовку, щелкаю выключателем. Лампочка вспыхивает и перегорает.

Стою в потемках, слышу, как топчется и сопит в прихожей Слон. Поворачиваюсь, чтобы открыть дверь и впустить хоть немного света из комнаты, и задеваю ногой какой-то пакет. Раздается лязганье и грохот – это те самые злополучные кастрюли. Выволакиваю лязгающий пакет, попутно обрушив что-то еще.

Проснувшаяся Светка недовольно бормочет. Слон, стянув с головы шапчонку с нашивкой Fuck off, смущенно раскланивается, обнаружив манеры мальчика из хорошей семьи. Я копаюсь в груди вещей, пытаюсь на ощупь найти под ней чайник.

Наконец чайник извлечен. Перекладываем самые большие кастрюли Слону в рюкзак, для остальных находится сумка. Слон, еще раз пробормотав извинения, выскакивает из квартиры.

Донести все кастрюли до Чапаева он не смог. На него напали где-то у площади Ленина. «Хоть бы закурить попросили, – рассказывал он потом. – Нет же, подскочили сразу – и по голове...» Говорил он это с таким возмущением, как будто именно несоблюдение ритуала его больше всего и обидело. С него сорвали рюкзак, сбили с ног и начали запинывать. Слон вывернулся, вскочил и убежал в темноту, унося с собой старую сумку, в которой звякали две кастрюльки и чайник без крышки.

МЕХАНИЗМЫ

Последние летние каникулы. Еще примерно месяца полтора. А потом сжать зубы, как-то перетерпеть еще девять месяцев, и все, прощай, школа.

Павлик школе свое «прощай» уже сказал, поменял ее на какую-то шарагу. Я так и не спросил, на кого он будет там учиться. Да он и сам, кажется, не имел об этом понятия.

Мы валяли дурака. Дни были жаркие и пустые.

Единственная забота – отоварить продуктовые талоны на семью.

Великая страна доживает последние годы. В столицах толпы бушуют на митингах и демонстрациях. На окраинах тлеет война. А кое-где уже польхает.

Но Горький – тихий провинциальный город, даром что местные пыжаты, называют его «третьей столицей». Никаких демонстраций, никаких шествий, никаких многолюдных митингов. Редкие застенчивые выступления пугливой демократической общественности, и подросток, запустивший бутылкой с бензином в окно обкома партии – вот и вся местная политика.

Едва ли не единственным заметным признаком надвигающейся катастрофы стали продуктовые талоны. Уже года два как ввели талоны на сахар. Потом, кажется, на масло. Теперь ежемесячно выдают целую простыню с десятком ярлычков на разные продукты. Отдельно нужно получать талоны на водку и мыло.

Как-то мы с Павликом нашли на улице за сараями замызганную хозяйственную сумку с паспортом. В паспорт было вложено два комплекта талонов. Мы долго спорили: вернуть ли только паспорт или талоны тоже. В конце концов вырезали талончики на конфеты, честно их поделили, а остальное отнесли по адресу проставленной в паспорте прописки.

В магазинах постоянно очереди. Люди стоят тесно прижавшись друг к другу, выставив локти, чтобы никто не пролез со стороны. Все нервные и злые. Ближе к прилавку очередь почти всегда превращается в давку.

«Ох, ребята, – причитала какая-то старушка, когда мы с ней вместе давились за куриными желудками в гастрономе на Гагарина, – что ж это творится-то! А что дальше-то будет? Как вас-то жалко, ребята!» «Да чего? – беззаботно ответил я. – Хуже-то уже не будет». Умудренная жизнью старушка вздохнула и покачала головой.

Уже дня через два я узнал, что может быть гораздо хуже. И даже наверняка будет.

Павлика остановил на улице милицейский патруль. Годы и годы милиции на улицах почти не было видно. А тут вдруг даже по дворам стали шастать патрули.

Менты что-то у Павлика спросили. Он им что-то ответил. Может быть, грубо, а может, им просто так показалось. И его начали бить. Дубинками! У них были дубинки!

Согнувшись под ударами, Павлик увидел под ногами обломок кирпича, подхватил его и врезал одному из ментов по морде. Остальные оторопели, а Павлик швырнул в них кирпичом и убежал.

Так, по крайней мере, рассказывал он сам. Может, и врал, но я ему поверил. Был Павлик худ и невысок и, в общем, выглядел безобидно. Но я видел его в драке и знал, что внешность обманчива. Засветить кирпичом в физиономию он вполне мог.

Уж скорее неправдоподобными мне могли показаться менты, вот так запросто избивающие подростка. Тем более дубинками. Мента с дубинкой я еще в жизни не видел. На карикатурах в «Крокодиле» или какой-нибудь «Социалистической индустрии» капиталистические полицейские непременно были с дубинками – тыкали ими в грудь изможденного негра или белого бедолагу-безработного в потертом пальто. В руках советского милиционера представить дубинку было невозможно. Но и в дубинки я почему-то поверил безоговорочно и подумал еще: «Вот ведь как детство-то заканчивается!»

У Павлика были длинные вьющиеся волосы. Очень может быть, что за волосы менты его и выбрали: приняли за хиппи. Когда я пару лет спустя отрастил патлы, у нас на Караваихе какой-нибудь ханыга то и дело порывался схватить меня за рукав, тыкал пальцем и хрипел: «А ты че? Хипа?»

Я, конечно же, никаким хиппи не был. И Павлик не был тоже. И вообще хиппи были давно не в моде.

Как-то на асфальтовой дорожке в парке мы прочитали накарябанный мелом лозунг: «Ударим острым мечом рока по тупым головам нововолнистов!» Павлик от надписи пришел в восторг. Он у меня уже как-то спрашивал, за кого я: за волнистов или за металлистов. Вопрос для меня смысла не имел. Ни о волнистах, ни о металлистах я не знал ничего.

Теперь же Павлик заставил меня послушать хэви-металл. У него была пара пластинок настоящего хэви-метала. Он, явно смакуя словечко, называл их «пластами». В запасе у него было полно словечек, которые будоражили мое воображение.

Пласты покупались на «куче», она же «толчок». Звучит несколько двусмысленно, но почему-то никто не обращает на это внимание. Как-то Павлик показал мне кучу с паркового откоса. Картина показалась грандиозной. Далеко внизу на маленьком пятачке колыхалась огромная толпа. От нее исходил даже наверху слышный гул. Кажется, там было очень весело.

В школе на классных часах нас вот уже несколько лет предостерегали от походов на кучу. Павлик тоже рассказывал о покупке и обмене пластов как об опасном приключении. Во-первых, на куче время от времени проходили облавы. Ментовские, разумеется. Зачем? Мне этого было не понять. И Павлик тоже объяснить не смог.

Во-вторых, по куче бродили шакалы. «Кто, кто?» – удивленно переспросил я. «Ну, шакалы, – Павлик тоже был удивлен, что я не понимаю, – пласты приходят отжать просто так или денег отобрать». Поэтому на кучу одному лучше не ходить. А если ты не один, шакалам можно ввалить. «Такой махач был в прошлый раз! – Павлик рассказывал вдохновенно, как Гомер о битве троянцев с ахейцами. – Арматурой мочили!» – «Как это арматурой?» – я был мальчик даже слишком домашний и все

никак не мог привыкнуть, что жизнь, она вот такая. – «Ну а чего?» У Павлика есть тяжелая цепь – он мне ее показывал – специально чтобы мудохать шакалов.

Хэви-металл оказался музыкой грохочущей и скучной. Нет, я точно был не за металлистов.

Волну я тоже послушал. Решил, что за этих я не буду тоже, и окончательно уверился в собственной исключительности.

В районе вдруг наоткрывали видеосалонов. С десяток, не меньше. На каждом углу выставлены фанерные щиты с расписанием сеансов. Схема стандартная: с утра – фильмы про карате и кунг-фу, днем – американские боевики со Сталлоне и Шварценеггером (Павлик фамильярно зовет его Шварцем), ближе к вечеру – все тот же Шварц или ужастики, а потом – эротика. Возможны варианты: Шварца могут начать крутить с самого утра. Абсолютно везде показывают «Эммануэль». При этом на щитах обязательно пишут: «До 21-го года». Видимо, для рекламы.

Я был в видеосалоне пару раз, и мне не понравилось. Душный подвал с низким потолком, жесткие лавки, с которых подростки тянут шеи к телевизору, гнусавый голос переводчика, запись невысокого качества, и по экрану постоянно бегут помехи.

Павлик фанатеет от зомби, мутантов и прочих кровососов. Мы с ним посмотрели «Капитан Крокус против вампиров». У меня как-то не покатило. От всего фильма я только название и запомнил.

Все-таки настоящий кинотеатр с просторным залом и большим экраном гораздо лучше. В «Электроне» какой-то кино клуб «Время» уже больше года крутит старые фильмы. Изредка показывают всякую заумь: Феллини и Антониони, но чаще что-нибудь более кассовое: «Тарзана» с Вайсмюллером, «Фантомаса» или французские костюмные фильмы с Жаном Маре.

Когда на щите около кинотеатра появилось название «Великолепная семерка», даже мой обычно угрюмо-спокойный отец пришел в возбуждение. Это был последний раз, когда мы ходили в кино вместе с отцом. И первый раз, когда я увидел настоящий вестерн. Это было гораздо лучше всех гэдээровских фильмов про индейцев, которые я видел до того. Это было начало большой любви. Но в видеосалонах вестерны не крутят.

Хочется приключений, хоть каких-нибудь. Мы обдумываем план ограбления тетки, которая торгует пирожками на остановке «Райсовет». План кажется нам безупречным.

Один подходит, берет у нее со стола пирожок и убегает, не расплатившись. Если тетка за ним погонится (а она погонится почти наверняка), второй сможет забрать еще пирожков или даже запустить руку в ее кассу.

Мы обсудили план во всех деталях, но так и не смогли решить, кто подойдет первым, а кто будет потрошить брошенный товар. Идея осталась нереализованной.

Не помню, кто первым из нас произнес слово «поработать». Очень может быть, что я. Еще пару лет назад, гостя летом у бабки в Лыскове, я высказал желание устроиться на местный пивзавод. Но бабка Нюра решительно воспротивилась. Я так и не смог объяснить, зачем мне это понадобилось. «Денег заработаю?» – «Да зачем тебе деньги?» А действительно, зачем?

С родителями проще: хочешь – иди, работай.

Об устройстве на работу представления мы имеем весьма приличные, ну, кроме того, что право на труд в советской стране

гарантировано каждому. Вроде бы нужно посетить какое-то бюро по трудоустройству.

Как оказалось, бюро – небольшая комнатенка, где за обшарпанным столом восседает бегемотиха в толстенных очках. Бегемотиха пьет чай и очень раздражена нашим появлением: «И чего вам не гуляется?» – «Ну вот... Денег хотим...» Неприязненно хмыкнув, бегемотиха, сопя, лезет в один из ящиков и швыряет перед нами пачку бумажек: «Вот, выбирайте!»

Выбирать на самом деле особо не из чего. Варианты разнообразием не балуют: разнорабочий, грузчик, снова грузчик, опять разнорабочий. Ну, мы, в общем, на иное не рассчитывали.

Павлик оказывается неожиданно практичным: «А где тут платят больше?» Тетка вновь неприязненно хмыкает: «Да нигде!» Переглядываемся. Вытаскиваю первую попавшуюся бумажку: «На мясокомбинат пойдём?» Павлик пожимает плечами.

Едем на мясокомбинат. Краина города. Автобус выворачивает между какими-то садовыми товариществами. За неопрятными дощатыми заборами торчат крыши облезлых фанерных домишек. Сады перемежаются автобазами и какими-то заводиками, серые дощатые заборы – выкрашенными в бледно-желтый цвет бетонными. От обилия заборов становится тоскливо.

Оформляют нас на удивление быстро. Пельменный цех, работа по-сменная: день – в первую смену, день – во вторую. Приступить к работе можно прямо сегодня: вторая смена начнется примерно через час.

Узнав, что это наша первая работа, тетка, принимавшая заявления об устройстве, как-то странно радуется. Из конторы мы выходим, держа каждый по куску плотного тисненого картона, обильно изукрашенного кумачовыми знаменами, золотыми шестеренками, молотами и прочей соответствующей атрибутикой. «Дорогой друг! Сегодня ты вливаешься в нашу рабочую семью. Теперь ты тоже несешь гордое звание рабочего человека. Поздравляем...» У тетки в конторе целый шкаф забит такими грамотами.

Павлик свою незамедлительно выбрасывает, а мне почему-то жалко. Но деть ее некуда, а таскать в руках у всех на виду как-то неловко. Ощущаю себя полным идиотом.

Как только мы оказываемся на территории комбината, я начинаю жалеть о нашей затее. Все тот же летний день, чистое голубое небо, солнце жарит. Но все вдруг становится как-то уж совсем уныло...

Павлик наоборот оживает. Мы как раз сворачиваем в указанном нам направлении. «Гляди!» По дощатому настилу вниз в открытые ворота приземистого мрачного здания спускаются коровы. «На убой пошли», – поясняет Павлик на случай, если я вдруг не понял.

Мы проходим мимо этих распахнутых ворот. В десятке, наверное, книжек читал про запах смерти и всегда был уверен, что это так, для красного словца. Но нет, вот он, я его чувствую. Кошмарный и почему-то невероятно едкий. У меня слезятся глаза, и я почти бегу, размахивая нелепым куском красного картона.

Пришли. Высокое, серое, какое-то все обшарпанное и тоже мрачное здание. Как приговор. У стены висится груда рогов, копыт, каких-то костей.

Пельменный цех – на шестом этаже. Под ним, на пятом – колбасный. Это я запомнил из объяснений в конторе. Нижние этажи на первый взгляд производят впечатление заброшенных.

Поднимаемся по узкой лестнице. Бетон ступенек раскрошился. Ни одного окна. Мертвый бледный свет грязных неоновых ламп. Лифт мы не нашли, но он явно есть: за стеной очень характерно гудит и лязгает. Ощущение, что мы не вверх поднимаемся, а спускаемся в какой-то бункер. Воздух как в подземелье, холодный и сырой. И еще запах. Не такой, как на улице, и не такой сильный, но тоже тошнотворный.

Шестой этаж, коридорчик, что-то вроде предбанника, и наконец наш цех. Запах становится резче. Замираю, чтобы справиться со спазмом в желудке.

Мутный свет из наполовину замалеванных голубовато-серой краской окошек. Кому и зачем понадобилось закрасивать окна на шестом этаже? Непонятно. Гудящие лампы под потолком, забранные решеткой.

Такая же голубовато-серая кафельная плитка на стенах. Сырые цементные проплешины там, где плитка осыпалась. Проплешин много.

И ни одной живой души.

Какой-то агрегат с натужным чавканьем то ли перемалывает, то ли перемешивает в огромном чане сизую массу.

– Это че? – спрашивает Павлик

– Тесто? – отвечаю неуверенно.

– Да не... Фарш.

Очередной приступ тошноты.

– Гляди! – Павлик возбужденно дергает меня за руку. По краю чана скачет здоровенная серая крыса, килограммовая, наверное, не меньше. В глазах Павлика загорается охотничий азарт. Он озирается, чем бы в нее швырнуть. Но крыса уже пропала. Юркнула куда-то между лязгающих частей механизма. А может быть, свалилась в чан.

– Офигеть! – Павлику тут явно нравится.

– Где мастера-то искать?

– Не знаю. Вон там, наверное, – Павлик тычет куда-то за агрегат.

Действительно, там обнаруживается проход. Оттуда доносятся голоса. Две тетки, одна в сером халате, другая – в ватнике, в темном закутке перебирают бумажные мешки и визгливо ругаются. «А где тут мастер?» Недружелюбно зыркнув, одна из теток машет рукой: «Туда! Туда!»

Весь пельменный цех – лабиринт из таких вот полутемных закутков и залов с частично обвалившимся кафелем. В некоторых из них громыкает и лязгает очередной агрегат. В других над мешками и коробками копошатся тетки. Лиц не видно, а фигуры у всех одинаково мешковатые. Время от времени, гудя, проезжает электрокар.

В одном из закутков – нечто вроде будки, закрытой поцарапанным оргстеклом. В будке горит свет. Заглядываем. За столом под лампой сидит мужик в робе и, старательно водя пальцем по строчкам, читает книжку.

– Здравствуйте, – обращаюсь к нему с порога. – Вы мастер?

Мужик поднимает на нас бесцветные, абсолютно прозрачные глаза, оглаживает неопрятные усы и не произносит ни звука, сидит, смотрит на нас, покачивается и молчит. И тут до меня доходит, что он пьян вдугаря.

– Э... – смотрю на Павлика. Он пожимает плечами.

– Я мастер, – раздается у нас за спиной. Оборачиваемся. Очередная тетка в синем на этот раз халате, с какой-то действительно начальственной осанкой. Взгляд тяжелый – возникает желание вытянуться по стойке смирно. У Павлика, кажется, тоже. «На работу?» Мы поспешно киваем. «Ну, пошли! Смена скоро».

Минут через двадцать у нас есть персональные шкафчики для переодевания, персональные халаты (у меня – синий, у Павлика – серый) и персональные большие, тяжелые, обитые жестью совки. Мы стоим в одном из закутков, согнувшись над фанерным ящиком с пельменями, и совками перегружаем их в бумажные мешки. В мешок нужно насыпать двадцать килограммов, запаковать его и уложить на платформу электрокара.

Вместе с нами орудуют совками еще двое пацанов, которые трудятся в цехе уже неделю. Мы познакомились, конечно, но имена я забыл мгновенно. Мы обсудили с ними расценки: больше трех рублей в день заработать вряд ли получится, да и три-то рубля с трудом. В результате интерес к работе у меня потерян полностью. Но деваться некуда – ковыряюсь.

Павлик между делом обсуждает перспективу посещения забойного цеха. «Можно как-нибудь в обед забежать. Мужики стакан крови выпить нальют. Они сами пьют ее постоянно». Павлик воодушевляется – у меня который уже за день приступ тошноты.

Один из пацанов вслух методично подсчитывает свой дневной заработок. «Еще десять копеек, – бормочет он, водружая очередной мешок на весы. – Еще двадцать». Хочется, когда он вновь нагнется над ящиком, долбануть его совком по затылку и зарыть в пельменях.

Мы нагрузили полный кар. Мешки нужно везти в холодильник. Вообще-то нам на каре ездить не полагается, но за ним никто не приходит, и один из нас становится за рычаги. Остальные, забросив надоевшие уже порядком совки, увязываются следом.

Двери холодильника – две огромные створки, как крепостные ворота. Из-за дверей несет холодом и сыростью. Заглядываю внутрь. В белой морозной мгле шевелятся фигуры в ватниках. Мне представляется, как я делаю еще несколько шагов, и ворота холодильника захлопываются у меня за спиной. Накатывает волна панической жути.

«У Данте в самом центре ада царит дикий холод», – сообщаю я коллегам по дороге обратно. Данте я не читал, конечно же, но читал о нем. «Че?» – брезгливо переспрашивает пацан с электрокара. Павлик качает головой, осуждая мою неуместную попытку блеснуть эрудицией.

На следующее утро мать будит меня в дикую рань. У меня первая смена. Вообще-то я всегда просыпался рано – так, по крайней мере, мне казалось – часов около восьми. Но в восемь смена уже начинается. Так что мать поднимает меня около шести, да еще подгоняет, пока я, продирая глаза, натыкаюсь на кухне на табуретки: «Торопись! Ты уже опаздываешь!» Дернул же меня черт придумать себе эту проклятую работу! Спал бы себе сейчас и спал...

Выползаю из подъезда. День обещает быть прекрасным. Солнце еще только показалось из-за крыш, но уже жаркое, добела раскаленное. Небо невероятно голубое, без единого облачка. Зелень листьев яркая и какая-то праздничная. И все это великолепие я променял на пельменный цех, на его мрачную сырость и кошмарные запахи. Приговоренный к смерти, наверное, примерно такими глазами смотрит на утро своего последнего дня.

Пока болтаюсь, ухватившись за поручень в переполненном автобусе, у меня случается озарение. А ведь будущая моя жизнь, значительный ее кусок, будет вот такой. Не мясокомбинат, конечно, что-нибудь другое, но, по сути, то же самое: ранние подъемы, ватная голова и восемь часов какого-нибудь неприятного занятия. Открывшаяся истина настолько чудовищна, что я готов разрыдаться. Сдерживаюсь с трудом.

Часы над стеклянными дверями проходной показывают без пяти восемь. От проходной до цеха идти минут десять. А там еще переодеться. Явно опоздал.

В проходной толстая рыжая баба, мельком бросив взгляд на мой пропуск, вдруг заявляет: «Он у тебя без фотографии. Паспорт давай!» Застываю, опешив. В пропуске места под фотографию не предусмотрено. Зато там написано: «Действителен без предъявления документов». Бабе, разумеется, это отлично известно. Паспорта у меня с собой нет. У меня его вообще еще нет.

– Так не нужен же паспорт...

– А откуда я знаю, что это ты! – баба глядит с ленивым любопытством. Ей скучно, а я – нежданно подвернувшееся развлечение.

Возникает радостная мысль развернуться и уйти, и покончить с нелепой идеей поработать. Ласковый день манит...

«Пропустите! Я на работу опаздываю!» – как всегда, столкнувшись с явной несправедливостью, я начинаю чрезмерно нервничать и суетиться. Бабища забавляется, ждет, что я буду делать дальше.

Пытаюсь пройти за турникет. «А ну, стой!» – она вскакивает и хватается за кобуру. Ёлки! У бабищи на поясе кобура – только сейчас заметил. «Может ведь и застрелить», – проскакивает мысль. Но я чувствую такую обиду, что испугаться не успеваю. «К начальнику охраны пойдём!» – говорит она грозно.

Идти, впрочем, никуда не нужно – комнатка охраны здесь же, при проходной. Бабища заталкивает меня внутрь, а сама встает в дверях, грозно положив руку на кобуру.

В комнате в это время двое мужиков обыскивают третьего, извлекая у него из каких-то невообразимых мест гирлянды сарделек. Обыскиваемый покорно поднимает руки, задирает рубашку, поворачивается. Появившихся ниоткуда сарделек становится все больше и больше. Выглядит это как скверно отрежессированный номер фокусника-любителя и продолжается долго, очень долго. Я стою и вяло размышляю, откуда взялся этот нелепый несун в восемь часов утра, когда смена еще только началась.

Наконец с обыском покончено, мужика уводят куда-то, и внимание обращается на меня. «Этот чего?» Вопрос обращен не ко мне, но удержаться невозможно: «Вот. На работу хочу попасть». Баба криво усмехается и молчит.

Разбирательство занимает минуты две. «Дура! – орет начальник охраны на рыжую бабу. – Опять ты, тварь, за свое!» Та косится на меня и довольнo жмурится. Прижучила сопляка!

Опаздываю я минут на сорок. Мастер оправданий моих даже не выслушала. Она все так же сурова и немногословна. «Вот, – кивает на стоящую рядом бабку в пуховом платке и валенках, – с ней пойдешь сейчас. В колбасном помочь надо. После обеда вернешься».

Тащусь вслед за бабкой на пятый этаж. В колбасном цехе пахнет тоже противно, но хотя бы не так резко. Зато сырость промозглая просто невероятная. Пробираемся между рядами развешанных колбас. Трясусь от холода и бешено завидую бабке, ее пуховому платку и валенкам. Валенки бабке сильно велики, едва не сваливаются, но все-таки это лучше моих драных клеенчатых кроссовок. «А на улице сейчас солнышко, тепло», – думаю со злостью.

За рядами колбасы обнаруживаются сбившиеся в кучу металлические тележки на роликовых колесах. Бабка с лязгом выдирает одну из них и брезгливо толкает мне: «Давай, поехали».

Толкаю громыхающую тележку какими-то полутемными коридорами. Роликовые колеса цепляются за неровности пола. Тележку постоянно ведет то вправо, то влево. К тому же бабка эта еще... Вцепилась в край, но толкать не помогает, а скорее мешает, висит, болтается, ежеминутно теряя валенки.

За всем этим я не сразу понимаю, что мы спускаемся вниз и уже оказались на этажах, которые казались мне необитаемыми. Оказывается, сюда можно съехать минуя лестницы. Здесь, кажется, ничего нет, кроме холодильников – по обе стороны коридора сплошняком огромные, покрытые инеем двери. От холода у меня зуб на зуб не попадает. А сырость такая, что тележку мы толкаем сквозь густые клочья тумана.

«Сюда», – командует бабка. Распахиваются двери, белая клубящаяся мгла вырывается в коридор, волна мороза едва не валит с ног. Чувствую, что просто не смогу себя заставить зайти. Бабка зыркает на меня и милостиво разрешает: «Ладно, внутрь не ходи, жди». Заталкиваю тележку в двери и поспешно отскакиваю в сторону...

Не знаю, чего нам там нагрузили, но нагрузили от души. Приходится упираться, чтобы сдвинуть тележку с места, и она стала совершенно неуправляемой. Нас бросает от одной стенки коридора к другой.

– Поворачивай к лифту!

– Куда?

– К лифту. Вон, налево.

Створки лифта почти не отличаются от дверей холодильника: такие же огромные, серые и покрытые инеем. Бабка пытается их отжать и голосит в образовавшуюся щель: «Виктор! Виктор!» Ничего не происходит. «Виктор! – вновь кричит бабка, а потом, оборачивается и говорит ворчливо: – Трахаются опять!» Вот те раз! Пока мы толкали тележку, бабка бухтела, ворчала и ругалась не переставая, но не материлась. О чем это она? «Людка, чай поди, опять к нему пришла! Остановили лифт где-то между этажами и трахаются! – бабка вновь вцепляется в створки. – Виктор! Виктор!» Наконец раздается гуденье и лязганье приближающегося лифта.

Створки разъезжаются, из проема, оправляя халат, выходит тетка. «О! Смотрите, пошла!» – начинает голосить бабка, но та молча отодвигает ее плечом и с гордо поднятой головой удаляется в туман коридора. Я даже не успеваю разглядеть, какая она была. Молодая? Красивая или нет? Бабка, поперхнувшись, обиженно сопит.

«Ну, давайте! Завозите!» – командует она. Толкаю тележку в лифт. С другой стороны в нее вцепляется Виктор. Какой-то он мелкий, с неопрятной щетиной, и табачная вонища перебивает даже все прочие запахи. «Что? Опять трахаетесь? – визгливо вопрошает бабка. – А? Прямо на работе!» «А чего?» – отвечает Виктор радостно-дебильным голосом. Незаметно, чтобы он был особо смущен. «Давай на пятый!» Лифт дергается и с гудением ползет вверх.

Бабка продолжает визгливо браниться, Виктор что-то неразборчиво бухтит ей в ответ. А я стою, зажатый в угол тележкой, разглядываю металлический пол, по которому размазаны какие-то мясные ошметки, и думаю, что вот буквально только что, вот прямо здесь...

«Вон и практикант тоже... Смотри, какой молодой», – слышу я и понимаю, что бабка пытается пристыдить Виктора моей персоной. Лифт останавливается, двери разъезжаются.

– Давай, практикант, толкай, – бабка вцепляется в тележку.

– Я не практикант, – говорю зачем-то.

– Как не практикант? Ты не из техникума?

– Я на лето устроился поработать.

– А... – в голосе бабки мгновенно появляется враждебность. – Ну давай, толкай!

Сама она тележку отпускает и больше к ней не притрагивается. Что, впрочем, и к лучшему: одному с ней управляться удобнее.

Мы проделываем еще два рейса. Бабка помыкает мной со все нарастающей злобой. Поначалу я не знаю, как к этому относиться, но вдруг понимаю, что сам виноват. Никто меня за язык не тянул. Я был для нее свой, мальчик из техникума. У нас была общая судьба. И вдруг оказалось, что я – из другого мира, а здесь – по собственной какой-то непонятной прихоти. Натешусь и уйду, а она так и будет до самого конца толкать тележку по сырým и холодным коридорам.

В обеденный перерыв нахожу в столовой Павлика и своих вчерашних знакомых. «Ты че сегодня? Где был?» Хочется рассказать им про Виктора и чем он занимается в лифте. Но как-то неловко. И я рассказываю про мужика, которого обыскивали на проходной, про груды сосисок.

«Это чего, – откликается тот, который вчера считал заработанные копейки. – Знаешь еще как делают? Берут язык говяжий, в женский чулок вот сюда себе...» – он показывает на гульфик. «Только в охране знакомые должны быть, – перебивает его второй. – Иначе хрен вынесешь». «Если знакомые в охране, то на хрена в штаны-то это дело совать?» – спрашиваю. От моего вопроса отмахиваются как от глупого и начинают увлеченно обсуждать разные способы прятать мясо и колбасу, чтобы пронести через проходную.

Пока обед не кончился, успеваю выскочить на улицу. Лучше бы я этого не делал – только душу травить. В такую погоду хорошо сидеть на берегу у речки или книжку на балконе читать, а не ковыряться в ящике смерзшихся пельменей. Хоть бы ливень завернул или, еще лучше, град пошел. Было бы легче, наверное. Но нет же! Кажется, никогда еще не видел такого пронзительно-голубого неба...

В цехе пацаны увлеченно гоняют крысу. Павлик наконец-то нашел, чем в нее кидать. Сок оказался снарядом очень удобным, только в крысу попасть все равно сложно. Она мечется, резкими бросками перескакивает с одного лязгающего агрегата на другой. Павлик раз за разом промахивается. Сок врезается в стену, кафель ломается и с грохотом падает на пол. Я думаю уже, что им с животным не совладать. Но тут крыса делает неудачный рывок, соскальзывает с кромки чана и, пискнув, исчезает в размешиваемой сизой массе.

Меня ставят работать с женщинами. Две коренастые мужиковатые тетки и девчонка. Все работницы пельменного цеха кажутся мне старыми, хотя на самом деле теткам и тридцати нет, наверное. А девчонка совсем молодая, не старше меня. Ее тоже явно не радует, что она сейчас находится вот здесь в компании нас и ящика пельменей. Она угрюмо зыркает из-под насупленных бровей и молчит. А тетки тряндят без умолку.

«Я, когда молодая была, только устроилась, мне комнату в общежитии дали, – разглагольствует одна из них, запаковывая очередной насыпанный нами мешок. – Мы утром с соседкой просыпаемся... Ранища, на работу не хочется. Она мне говорит: давай не пойдем. И не идем». Как я ее понимаю... «И так два дня гуляем. А потом мастер к нам прямо в комнату приходит. Ругается и по жопе нас прямо: чтоб завтра, суки, на работе были! Вот... А с парнями-то лучше...» И вдруг она ставит

мешок на пол, оглядывает нас с девчонкой: «А вы ведь молодые! Вы же могли бы...» Мы в панике переглядываемся.

– Вот тебе сколько лет?

– Шестнадцать почти.

Шестнадцать мне будет на самом деле еще только в ноябре. О сексе я думаю постоянно. Женские ноги, любые, даже не самые стройные, даже вовсе колесом, сводят меня с ума. Юбка немного выше колена – и я моментально прихожу в возбуждение. На лицо даже не смотрю. Красивая, страшенькая – это все неважно. Но вновь вспомнился Виктор, мясные клочья на полу лифта... Это гасит любые желания... Нет, не надо...

– А тебе сколько? – поворачивается тетка к девчонке. Идея сострять из нас рабочую династию, кажется, увлекает ее всерьез.

– Семнадцать.

– Да? Ну вот видите!

Девчонка краснеет. «Не... Молодой слишком», – бормочет она и поспешно зарывается в пельмени. Тетка довольна, радостно смеется.

На следующий день я работаю один. Маленькая комнатуха, над головой нависает огромная воронка. В воронку откуда-то из стены на ленте транспортера выплывают и сыплются пельмени. Снизу к воронке тянется лента целлофана. Надувается прозрачный пузырь, в него вываливаются пельмени. Пузырь с чавканьем отрывается от воронки. Я подхватываю упаковку и укладываю в коробку. Целлофан гладкий и плотный, на ощупь очень приятный, гораздо приятнее ручки совка. И пельменного теста на руках не остается. И вообще одному работать лучше.

Лениво думаю обо всем этом, пересчитываю пакеты, вижу сны наяву и спохватываюсь только, когда пельмени начинают сыпаться мне на голову. Целлофановую ленту заело, а верхний транспортер работает исправно. Пельмени переполнили воронку и сыплются через край. Не успеваю опомниться, как уже стою зарытый в ледяные пельмени по пояс.

На мой испуганный крик прибегает мужик, тот самый, который в наш первый рабочий день пьяный сидел в кабинке мастера и читал книгу. Он и сейчас пьяный. Кажется, он пьяный всегда. Но в этот раз он не молчит, орет всюю, нечленораздельно, но очень громко: «Выключатель, блин! Вырубай на хрен!» Но где этот выключатель, мне не показали.

А пельмени продолжают сыпаться. Уже вываливаются за порог моей клетушки. Накатывает паника. Живо представляю, как я сейчас буду погребен под этими белыми мерзлыми комками теста. Мужик бессильно подпрыгивает по ту сторону проема, в отчаянии выкрикивая: «Сука! Сука!» Волна пельменей подкатывает к его раздолбанным ботинкам.

И тут я обнаруживаю на стене черную коробку с большой щербатой красной кнопкой, странно даже, что не заметил ее раньше. Несколько раз молочу по ней кулаком. Агрегат останавливается, потом запускается вновь, потом умирает уже насовсем. Лавина пельменей прекращается. Мужик выдыхает с облегчением. «Щас, блин, лопату тебе принесу. Будешь на хрен разгребать...»

Лопата огромная фанерная. Выкапываться ею в тесной комнатухе жутко неудобно. Стою по грудь в пельменях с лопатой над головой и пытаюсь черенком проковырять себе путь к свободе. Пельмени меж тем начинают оттаивать. Привычное уже ощущение холода и сырости. Те, что были в самом низу, превратились в серую слизь. Противно чавкает, ноги скользят.

Вырываюсь наконец из плена и начинаю сгребать все это в бумажные мешки. Лопата с отвратительным звуком скребет по бетонному полу...

В обед в столовой говорю Павлику: «Вот любил же я пельмени. Самая любимая с детства еда была. А теперь смотреть на них уже не могу. Вот еще чуть-чуть...» «Ну так надо наесться напоследок хорошенько, – усмехается Павлик. – Давай сегодня возьмем по пачке».

Перспектива кажется заманчивой. Пельмени противны мне уже до тошноты, но кража возбуждает. Вот только воспоминание о шмоне на проходной смущает...

Но у Павлика уже все продумано. Он ведет меня на улицу. За нашим корпусом – какие-то руины. Перелезаем через груды битого кирпича и оказываемся у огромных намертво закрытых ржавых ворот. Под ворота можно тушу коровы просунуть, не то что два маленьких пакета «Эти ворота за углом от проходной. Понял?» Не знаю, когда Павлик успел все это разведать.

После работы притаскиваю в раздевалку пельмени. Внутри колотится радостное предвкушение пусть и маленького, но все-таки приключения. Выходим на улицу, вокруг никого. У нас, малолеток, рабочий день на час короче – народ домой еще не повалил. Вновь перелезаем через груды кирпича, суем пакеты под ворота и в полной уверенности, что нас никто не видел, направляемся к проходной. Махнув перед охраной пропусками, радостно смеясь, выскакиваем на улицу и заворачиваем за угол...

То ли мы ошиблись и кто-то все-таки видел, как мы засовывали пельмени под ворота, то ли в охране мясокомбината работают предельно проницательные люди, то ли... В общем, я не знаю, как так получилось, но в тот момент, когда мы извлекаем пакеты из-под ворот, за спиной раздается окрик: «Стоять!» Три человека, двое из них в форме, а у одного даже, кажется, кобура, прижали нас к воротам. Я завертел головой, заозирался. Слева – заборы каких-то очередных садов, между заборами – узкий проход. Где-то там дальше должна быть железнодорожная ветка. Справа – широкая асфальтированная дорога. Бежать, по идее, надо налево. В садах можно затеряться, а на дороге уж точно не спрячешься. Впрочем, рассчитывать что-то бессмысленно. Все равно эти трое перекрыли все пути.

Пока я вот так стою и раздумываю, Павлик делает рывок и, проскочив у мужиков прямо под руками, скрывается в проходе между заборами. Двое бросаются за ним. Дольше тянуть нельзя. Кидаюсь вправо. Я не самый резвый бегун, но стартовал хорошо. Мой преследователь немолод и тучен, но упорен. И хотя он остался далеко позади, не сдается. Слышу сопение и топот его ног. Бежим.

Долго бежать непривычно. В боку уже закололо. Пакет пельменей очень мешает. С удивлением понимаю, что он по-прежнему зажат у меня в руке. Разворачиваюсь и швыряю пельмени в преследователя, целью в голову. Мужик, отпрыгивает, спотыкается и летит в канаву. А я разворачиваюсь и бегу дальше, увязая ногами в раскаленном солнцем асфальте.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Летом девяносто восьмого меня на улице окликнул по имени низкорослый тщедушный мужичонка. Лицо его мне было определенно знакомо: я отлично помнил и поросшие волосом уши-лопухи, и залысины над морщинистым лбом, и впалые щеки, и сталинские усы, не помнил только обстоятельств нашего знакомства. Имя его тоже не вспомнилось, сколько я ни напрягал память. Но он, казалось, был искренне рад меня видеть, и это несколько удивляло.

Первые слова, которые он произнес после приветствия: «Работа нужна?» Я неопределенно пожал плечами. Какие-то деньги последний раз я получал полгода назад.

В России летом девяносто восьмого не платили почти никому. Озлобленные шахтеры в Москве стучали касками о мостовую у Дома правительства. По всей стране люди наладились останавливать поезда, садясь на рельсы, и перекрывать автомобильные трассы. Где-то в провинции офицер местного гарнизона, доведенный безденежьем до ручки, приехал к зданию администрации на танке. Дефолт еще не случился, но атмосфера обреченности царила. Политически озабоченная публика, собирающаяся по средам около Дома труда, чтобы продавать друг другу оппозиционные газетки, с лихорадочным блеском в глазах обсуждала, когда следует ожидать революции. Так бабки у подъезда обсуждают погоду на завтра.

Мужичонка осмотрел мой мятый парусиновый пиджак, драные, но отнюдь не ставшие от этого стильными джинсы, патлы. «Охранником пойдешь», – заявил он даже без намека на вопросительную интонацию. Благодетель был явно нетрезв и потому категоричен. «Пойду», – согласился я, не очень, впрочем, веря в серьезность предложения. «Так, – он посмотрел на часы, – сейчас поздно уже. Завтра в десять на Горького приходи. Пойдем устраиваться».

Наступило завтра. Я опоздал ненамного, минут на десять. Впрочем, этого хватило, чтобы получить долгую выволочку за свою непунктуальность. Ну, ситуация привычная. Главное молчать, иметь покаянный вид и на все упреки согласно кивать головой.

«Ну чего... Мест у меня сейчас нет», – он уже явно жалел о своем вчерашнем приступе благодушия и готов был дать задний ход. Я его очень даже понимал и не обиделся бы ничуть. Но ему было передо мной неудобно, он мялся. Это моментально стало напрягать. Сказать бы «ну что ж, спасибо, до свидания» да и уйти. Но почему-то так вот сразу не получается никогда.

Стоим, молчим, сопим. До смешного напоминает ковбойскую дуэль – кто первым не выдержит. Не выдержал он: «Ладно. Отведу тебя в одно место. Здесь недалеко. Им люди всегда нужны». Я вновь киваю.

От площади Горького – минут десять. Идем какими-то дворами. Короткое путешествие по изнанке городской жизни. Кругом – кучи строительного мусора, притом что строек никаких не наблюдается. Хрустит битое стекло. Повсюду кучки фекалий, какие-то пакеты, мятые газетные листы. И это центр города, всего-то несколько шагов в сторону от главных магистралей.

Благодетель мой продолжает упрекать за несобранность, а в промежутках бормочет указания, как себя держать и что говорить. Он явно нервничает. Похоже, уже начал меня тихо ненавидеть, но ведет. Киваю, не слушая. Я и так уже сделал все что мог: надел не сильно затертые джинсы без дыр и пиджак поменял на менее мятый. Туфли вот, правда, почистить не успел. Но что уж теперь...

Да и все равно это ничего не меняет. Даже в начищенных до блеска туфлях я вряд ли стану похож на бравого сотрудника охранный агентства.

Пришли. Тесная комнатуха, но зато с отдельным входом прямо с улицы. Традиционные офисные обои, виниловые, светленькие, порядком обшарпанные. Пара офисных столов. Невообразимо много стульев, так что постоянно о них запинаешься. Белый грязный пластиковый чайник. Отчаянно гудящий компьютер.

Хозяина целых два. Как и полагается, один – лысый и какой-то мелкий, другой – мужичище с мешковатой фигурой, на фоне своего компаньона просто огромный. Готовый комический дуэт, Пат и Паташон, Тарапунька и Штепсель, хоть прямо сейчас на сцену исполнять куплеты.

Обычный разговор: сколько лет, где работал, чего заканчивал? При слове «гуманитарий» благодетель сникает, а мужики, наоборот, оживляются. Словечко их веселит.

– В армии служил? – спрашивает лысый.

– Военную кафедру посещал.

– А! Пиджак! – в голосе явное ликование.

В недоумении оглядываю свой пиджак. Ну неглаженный, да.

Благодетель мой нервничает все сильнее: «Да все он может, крепкий парень-то!» Зря он встрял. Нет смысла беспокоиться: видно уже, что я мужикам понравился.

Есть у меня такая странная особенность: частенько вызываю симпатию у так называемых «настоящих мужиков». На военной кафедре был у нас такой полковник Гофман. Маленький жесткий немец с боевым орденом на груди. Наша неспособность правильно, по уставу, зайти в преподавательскую отдать рапорт или, например, скомандовать «взвод смирно!» вызывала у него брезгливое недоумение. Но для меня он делал исключение. И даже пару раз пускался в какие-то неформальные разговоры. Сокурсники мне завидовали.

«Ну что же, – говорит мешковатый, – у нас всякие работают. Коммерсант прогоревший был недавно. Куда его поставим?» Напарники переглядываются, еще раз осматривают меня, мои очки. «А давай на школу», – отвечает лысый. Мешковатый кивает. «Сейчас за формой пойдешь тебе», – говорит он мне. Мой благодетель тихо ликует.

И вот в погожий августовский денек в сопровождении своих новых начальников я вновь вступил под школьные своды. Не без робости, если честно.

«Гуманитарий, а если тебе учителем здесь предложат поработать?» – испытующе смотрит на меня мешковатый. Гримаса отвращения возникает сама собой.

Весь последний год за школьной партой я дни высчитывал, сколько еще осталось. На выпускном искренне и радостно вопил: «От звонка до звонка я свой срок отсидел...» Был уверен, что имена большинства одноклассников забуду быстро и прочно, и не ошибся, в общем-то.

Никогда больше я не должен был переступить школьный порог. Сам не пойму, как такое случилось. Год преподавания русского языка в классе коррекции был худшим годом моей жизни. По другую сторону баррикады оказалось еще более кошмарно. Я получал выволочку на каждом педсовете за шум в классе и отвратительные показатели. Я превратился в привычного мальчика для битья: завучи, коллеги, родители моих мучителей – все вытирали о меня ноги. Что ж, я действительно был отвратительным педагогом.

Я продержался сколько смог. И я дал себе слово, что теперь уж точно никогда...

И вот я нарушил слово – я снова в школе. «Бог триицу любит», – бормочу про себя традиционную пошлость. Утешения она не приносит. Но уж лучше так, чем снова в преподаватели.

Вполне удовлетворившись моим видом, мешковатый хмыкает.

Знакомство с коллегами-сменщиками и администрацией школы. Все привычно: директриса, рыхлая, расплывающаяся и барственная, завучиха, поджарая, энергичная и, с первого взгляда видно, стержовная. Обе, узнав о моем дипломе, начинают меня презирать.

Ритуальный обход территории, во время работы я должен буду повторять его каждый час. Спортивный зал, столовая, туалеты для мальчиков, туалеты для девочек. «Вот здесь мы с вами первого сентября будем встречать наших детей», – цедит сквозь зубы завучиха. Я криво усмехаюсь. «Наши дети» – скопление шкодливых дебилов и отвязных подонков, которые превратят вашу жизнь в ад легко и радостно. «И еще вам надо обязательно подстричься», – добавляет завучиха неприязненно.

Первое сентября. Новая жизнь на новом посту.

Когда-то я работал и вахтером, и сторожем. Вполне уважаемая работа для студента, тихая, спокойная. Мощно мифологизированная. «Покорение дворников и сторожей», а как же.

Охранником работать не в пример хуже. Во-первых, эта шутовская форма. Хорошо хоть не камуфляж. Но зато дурацкий берет нужно носить не снимая. И дубинка еще. Применять ее нельзя, ну, это понятно. Но даже показывать ее детишкам строжайше запретили, специально это оговорили. И при этом она всегда должна быть при тебе, чтобы не потерялась. Носить, но не показывать. Бред.

Во-вторых, когда сторожишь что-нибудь, пришел на работу, расписался, ключи собрал и в ящик запер, двери закрыл и сиди себе, чай гоняй. Или не чай. Или спать ложись со спокойной совестью. А тут все не так. Тут не присядешь. Каждый час – обход территории. Завучиха бдит. Влачусь, неловко пряча за бедро дубинку. Абсолютно бесполезный обход.

Какая-то мамаша выговаривала мне с возмущением: «Мне мой ребенок рассказывает: “Захожу в туалет, а там старшие девочки прививки себе делают”. Я ее спрашиваю: “Как прививки? В попу?” А она мне: “Нет, в руку”. Это безобразие!» Ну безобразие. Но я-то что должен делать? Засады в женском туалете устраивать? Врываться туда неожиданно? Что?

Каждое дежурство появляются мои начальники. Без них бы было совсем хреново – завучиха бы меня сожрала совсем.

Начальники теперь парой не ездят, появляются по одному, но без всякой системы, могут и оба в один день заглянуть. Подозреваю, что приезжают они вовсе не для того, чтобы проверить, как идут дела. Понятно, как они идут. Им просто нравится поболтать с чудилкой-гуманитарием. Развлекаются они так.

У каждого есть свой излюбленный набор тем. Лысый любит разговоры о политике. При этом предпочитает детективные сюжеты: «А вот Старовойтову кто застрелил, как ты думаешь?» Старовойтова – такая баба из жадной стаи демократов-реформаторов. Ее действительно недавно грохнули в петербургском подъезде.

Отвечаю что-то в духе: помер Максим, да и хрен с ним. Грохнули и грохнули. Кажется, у нее при себе была кошелка с парой миллионов. Так что неудивительно. А может, недостаточно зубаста была, поэтому.

Лысый смотрит на меня проницательно: «Не любишь, значит, демократию?» Пожимаю в ответ плечами. Ну что... Демократия – это хорошо, а вот демократы российские...

Второй приезжает, чтобы выдать очередную историю из своей прошлой жизни. Я для него – что-то вроде исповедника. Не самая приятная роль. Но деваться некуда.

«Знаешь, какие деньги вокруг меня совсем недавно крутились? Лет пять назад была такая контора... ну... пирамида финансовая, как МММ. Я у них там начальником охраны был. Люди глупые свои деньги каждый день несли. Там каждый вечер просто мешки денег в комнате стояли. Ну, эти, конторщики, каждый вечер, не считая, просто брали из мешков. И мне говорили: давай, бери, сейчас в казино махнем. Но я не брал. Ну как же так! Бабульки всякие свои последние деньги принесли. Ну глупые, конечно, сами принесли, отдали. Но я не брал. Я их, ну, этих, охранял. Все честно, по договору. Но денег не брал».

Ему было важно убедить прежде всего себя самого, что он не замазлся. И, кажется, не очень-то это у него получалось.

Посторонних в школу пускать запрещено. Но они лезут постоянно. Какие-то армянские юноши, охочие до глупых русских девок. Лезут тупо и настырно. Когда же наконец выгоняешь эту толпу из вестибюля, вдруг оказывается, что один из них, самый наглый и говнистый, все-таки учится в этой школе и выгонять его ты права не имел. Правда, сказать об этом он не мог, поскольку по-русски говорит очень плохо.

Папаша его держит на рынке несколько мясных лотков и подкармливает мясом всю школьную администрацию. «Что вы себе позволяете? Ведь это же дети! Вежливее надо!» Дети... Сами ж терпеть не можете этого ублюдка... Ладно, молчу, киваю.

Приезжает начальник, тот, который мешковатый. Долго стоим с ним на крыльце. «Знаешь, – говорит он, – я вот совсем не националист. Но вот еду тут в автобусе. А со мной рядом двое этих...» Он неловко замолкает, пытаюсь подобрать слово. У него не получается: «Ну черные, короче. И че-то там по-своему балакают. Я им говорю: давайте-ка вы по-русски. Не, я не против, все нормально. Говорите как хотите. Но вот так вот в транспорте. Вот я с ними рядом еду. Я откуда знаю, чего они там говорят? Может, они как раз про меня чего-нибудь нехорошее... Ну и вообще. И они, знаешь, они меня послушались. И вышли на следующей остановке. Короче, я чего... Мягче надо быть. Ладно?»

Постоянно вспоминаю одного своего приятеля. Он работал вышибалой в кабаке – постоянно имел дело как раз с такими клиентами. Отзывался о них примерно так: «Месишь его, и никаких чувств. Вообще.

Как в дерево. Не жалко, вообще не жалко». У меня бы так не получилось, конечно, но я даже попробовать не могу. Строжайше запрещено. Так что куда уж мягче?

Перед самым Новым годом еще скандал. Я пришел утром на смену, а меня – в кабинет к директрисе. А там разложена на столе газетка. «Что это такое?» Что, что? «Лимонка», конечно. В прошлое дежурство на столе забыл. Газета как газета – в киосках свободно продается.

На первой странице – огромный портрет Пол Пота и подпись: «Вот кто нужен России сегодня!» «Как вы могли принести такое в школу?» А что вы прикажете мне читать при такой работе? «Мурзилку»? Так ее не издают уже. И потом, детишки ваши наркоту вон с собой таскают. И ничего.

Срочно примчалось мое начальство. Уже через день я охранял новый объект. «Рассматривай это как повышение», – сказали мне.

Я охранял строительную фирму в Сормове. Одно дежурство в офисе, одно – на стройплощадке. Платят больше, чем за школу. Не так чтобы очень, но все-таки больше. Но елки-палки...

Сормово – не ближний свет, чужой пролетарский район, в котором я отродясь не бывал. До объектов из дома добираться часа полтора. И если б дело было только в этом.

У хозяев офиса жесткие требования: читать на рабочем месте нельзя, музыку слушать нельзя, даже радио нельзя. С обходом ходить некуда – на верхние этажи подниматься запрещено. Вестибюльчик, в котором стоит твой стол, крохотный. Сидишь целый день, тарачишься в стену, как Бодхидхарма в пещере. Только просветления не случается. И даже разговором развлечься не получается: начальники с обходом приезжают в самом конце дня.

Расслабиться можно только вечером, когда директор фирмы и его многочисленные замы отбудут домой. Но они каждый вечер сидят в офисе допоздна – бухают. Каждый вечер! А утром являются ни свет ни заря, бодрые, активные, все из себя деловые. Уму непостижимо.

На стройке лучше. Там большая площадка, обнесенная забором, будка с обогревателем. Можно забиться в нее и читать целый день. Время от времени только нужно выходить открывать ворота подъезжающим машинам.

Все бы хорошо, если бы только не мужики-строители за окном. Смотреть на то, как другие вкалывают, не сильно приятно. Не скажу, что зрелище неэстетичное. Совсем нет. Вкалывают так, что любо-дорого. Хоть сейчас плакат с них пиши. Но...

Совість, что ли, мучает? Не знаю. Они там работают, а ты сидишь в тепле, штаны протираешь. Им наплевать, конечно. Но стыдно, стыдно.

Нет, я, разумеется, не рвался к ним на улицу таскать кирпичи на ветру и под снежной крупой. Я сидел у себя в будке и страдал от собственной никчемности.

Ночью территории стройки полагалось патрулировать втроем. Подтягивались двое напарников. «Ну че, – сказал мне один в первый же вечер, – пока тут только стены кладут, можно спать спокойно. Вот когда отделочные материалы завозить будут, тогда начнется, полезут. Но это еще не скоро». Он явно хотел поразить мое воображение эпической картинкой обороны, которую нам придется выдерживать.

В орды несунув, которые хлынут через забор, чтобы растащить гвозди и пластиковые трубы, поверить было сложно. Но я честно пытался себя заставить. Можно было хоть как-то приглушить комплекс

неполноценности перед мелькавшими целый день перед глазами сварщиками и крановщиками. Типа и я здесь не просто так.

Втроем в будке разместиться можно было только сидя. Спать решительно невозможно. Ночь напролет мы резались в карты. Как-то один из напарников притащил с собой магнитола. Была она разбитая, хрипящая и принимала почему-то только одну станцию «Маяк».

Коллеги разговорного радио не одобряли, но в виде исключения разрешили мне послушать, пока бегает за водкой.

Так я узнал об атаке нацболов на Никиту Михалкова. Случилось резкое потепление. Я стоял на пороге нашей хибарки, с черного неба валили крупные хлопья снега. Из динамиков сквозь шумы и хрипы доносилось: «Группа молодых людей... закидали яйцами... выкрикивали лозунги... возмутительная выходка...» Голос у дикторши был испуганный. Я испытывал радостное возбуждение, буквально слышал, как трещит и рвется ткань этого мерзкого миропорядка. Хрупкий он оказался и уязвимый. Мне было хорошо.

Оборонять стройку от расхитителей не пришлось. Весной у моего начальства случился со строителями конфликт, даже потасовка небольшая была. Я как раз дежурил в офисе – все происходило у меня на глазах. Как всегда, были замешаны деньги. Впрочем, я не вникал. Но когда мой мелкий лысый начальник спустил с лестницы грузную тушку строительного босса, я лысого зауважал. Все посты были сняты в тот же день.

Две недели без работы. Это был хороший повод завязывать. В самом деле. Уже было пора. Но когда мне предложили вновь заступить на пост, я согласился зачем-то. Хотя тут же об этом пожалел.

На улице моего детства был небольшой рыночек в несколько жестяных лоточков. Летом мать часто посылала меня туда купить картошки. С началом рыночных реформ рыночек шумно разогнали. На его месте какие-то восточные люди поставили свои похожие на дзоты ларьки с водкой-пивом. Потом на месте ларьков возник беленький мини-маркет под стеклянной крышей. Вот его-то мне и предстояло охранять.

Мини-маркет на улице моего детства. Прямо напротив дома, в котором все еще проживала особа, которую я бешено вожделем в период подросткового буйства гормонов. На улице, где знакомые попадают на каждом шагу. И тут я у всех на виду, в дурацкой форме и с нелепой дубинкой. Господи, какое же это было унижение.

А тут еще у двоюродной сеструхи состоялась встреча одноклассников, и они зашли в мой мини-маркет отовариться. Один из них долго вглядывался в меня, потом начал улыбаться. Узнал. Я бежал в панике и прятался где-то на задворках. Это был финал. Жирная точка в карьере охранника. Увольнение на следующий день было просто неизбежно.

Редкий ручеек посетителей тек в наш мини-маркет всю ночь. Затишье наступило только часа в три. Я было прикорнул на стуле. Делать вид, что я что-то охраняю, смысла уже не было.

Хихикающая продавщица растолкала меня минут через пятнадцать. «Сейчас постоянный клиент придет, – она постучала по часам на запястье. – Время!» Я не мог понять, чему она так радуется.

Клиент появился где-то около четырех. Одноногий, со вполне себе стивенсоновской деревяшкой вместо протеза, отчетливый хронический алкоголик. Он купил бутылку «Анапы» (тем, кто не пробовал, даже из любопытства пробовать не стоит), вышел и присел на лавочку на остановке напротив мини-маркета. «Смотри, смотри. Он всегда так делает», –

возбужденно затараторила продавщица. Инвалид выпил «Анапу» практически в один глоток, немножко посидел, покачиваясь, и упал. «За-секай, – с неподдельным восторгом продолжала продавщица. – Через десять минут он встанет и уйдет». Видимо, она развлекалась этим представлением постоянно.

Действительно, минут через десять он поднялся, отряхнулся и удалился как ни в чем не бывало.

Таким мне и запомнилось мое последнее утро в качестве охранника. Только-только взошло солнце, зябко. Сквозь витрину виден валяющийся на остановке под лавкой подтекающий алкоголик. Его опирающаяся на лавочку деревянная нога торчит в небо. Напротив через дорогу – ограда бывшего парка имени Ленинского комсомола, ныне гордо называющегося «Парк “Швейцария”». На прутьях ограды, если приглядеться, обнаруживается болтающийся бледно-голубой транспарант с грубо на-малеванным знакомым профилем и текстом: «Уж двести лет как Пушкин с нами!»

МЕД АСОВ

Коллеги разработали незамысловатый ритуал: несколько раз на дню собираются с кружками в коридоре у большого окна. Прямо как мэнэ-эсы и итээры советских НИИ. Те, как известно, тоже любили погонять чай на работе. Кое-кто сегодня всерьез утверждает, что это пагубное пристрастие к чаепитиям советскую публику и сгубило.

Что ж, про нас, офисный планктон начала двадцать первого века, вскоре можно будет рассказывать то же самое. Перспективы у нас вряд ли более радужные, чем у безвременно почивших советских. А чаю мы выпиваем уж точно не меньше.

Я тип малообщительный, но когда становится уж совсем неумоги-ту пылиться в монитор, беру кружку и выползаю в коридор вместе со всеми. Выползаем. А там уже поджидает комендант нашего офис-центра. Он ведет непримиримую борьбу за чистоту пластиковых подоконников, на которых донца чашек оставляют расплывающиеся коричневые кружочки.

Коллеги коменданта побаиваются, хотя на самом деле мужик он беззлобный и безвредный. Дружелюбная перебранка с ним давно уже превратилась в необходимый элемент нашей чайной церемонии.

Стоим. За окном густо валит снег. Хлопья гигантские, сверхъестественных просто размеров, вполне соответствующих представлениям европейцев о русской зиме. «Новогодняя прямо погода», – говорит кто-то. «Да, – соглашаюсь я для поддержания разговора, – действительно».

Хотя какая к черту новогодняя! Конец марта уже. Солнца не было недели две. Пасмурно, промозгло, валит снег. И мы стоим и смотрим на него из окна. И рабочий день в самом разгаре, за половину еще даже не перевалил.

В такие моменты если начнет что-нибудь вспоминаться, то почти всегда из детства. И вовсе не потому, что сейчас все так серо и тоскливо, а тогда было радужно и прекрасно. Мое-то детство во всяком случае на один сплошной сгусток счастья вовсе не походило. Да и вспоминается необязательно что-нибудь хорошее. Школа, например. Вот уж точно никакой радости.

Но тут вдруг вспомнилось, как отец водил меня на детские утренние киносеансы. Как раз по той самой улице, на которую я смотрю сейчас из офисного окна. Одно из лучших воспоминаний, которое только могло прийти. Я очень любил воскресные утренние поездки на трамвае и неспешные прогулки за руку с отцом до кинотеатра. И кинотеатр этот мне нравился как раз потому, что не самый близкий был к дому, что до него надо было ехать, а потом идти. Я и подростком, когда ходил в кино чуть не каждый день, по старой памяти предпочитал его.

Как он назывался? «Спутник»? «Современник»? Прочно забылось.

После сеанса, если в карманах оставалась какая-нибудь мелочь, я любил зайти в книжный или в «Букинист», покопаться в стопке журналов «Техника – молодежи».

Кинотеатр уже давным-давно не кинотеатр, а кегельбан с громким названием «Победа». Мы с коллегами время от времени собираемся туда сходить, но как-то все не соберемся.

И в книжном торгуют чем угодно, только не книгами.

А «Букинист» уцелел и даже процветает. Вон он, тоже виден из нашего окна: огромная вывеска «Антикварная лавка “Нижегородская старина”», дверь по новой моде с тонированными стеклами. Книг внутри, правда, стало поменьше – антикварная рухлядь потеснила, а старых журналов не найдешь теперь вовсе.

В этом «Букинисте» я впервые украл книгу. В начале девяностых, в эпоху первоначального накопления, когда все были одержимы идеей где-нибудь что-нибудь стащить.

Приятель рассказывал про своего старшего брата, который в те времена работал где-то в нефтегазовой сфере. Начальство у всех на глазах, никого особо не стесняясь, хапало миллионами, а ему вот статус не позволял. Так он вынашивал планы умыкнуть хоть какую-нибудь неучтенную хреновину со склада, головку от бура, что ли. Она, впрочем, хоть и не миллионы стоила, но тоже порядочно.

А вот мой друг Павлик мечтал ограбить областную библиотеку. Он был уверен, что в библиотечных запасниках его ждет самая волшебная книга на свете – «Некрономикон». Павлик был большим любителем фильмов о живых мертвецах, вампирах и прочей чертовщине. В одном из них он этот «Некрономикон» и выцепил. «Настоящий должен быть из человеческой кожи сделан, – возбужденно рассказывал он. – Ну, такого у них нет. А бумажный есть! Точняк! Только его не выдают никому». «И зачем он тебе?» – спрашивал я. «Ну как! Ты че! Это ж круто!» Павлику хотелось, чтобы было интересно.

С тем, что происходит вокруг, разобраться толком мы еще не успели. Слишком были заняты драмой закончившегося вдруг детства. Судорожно цеплялись за последние привычные сказки. Сутками просиживали в видеосалонах, прятались в дешевый алкоголь и гитарное брэнчание, грезили доступными бабами и волшебными книгами. Очередная опоздавшая молодежь.

Десять школьных лет нам вдалбливали: «Любите книгу – источник знаний». Просто задолбали культом печатного слова. Нормальный человек после такого проникается отвращением к чтению раз и навсегда.

А я из той немногочисленной группы идиотов, которые поверили и пристрастились. Читали все подряд и без разбора. Но это бы ладно. В конце концов, из этого даже пользу можно научиться извлекать. Это если без фанатизма.

Но я-то я был отравлен дурацкой, путаной книжной мистикой, которую сам же тщательно изобретал. Есть просто книги, интересные и не очень, а есть книги особенные. Это не книги даже, а ключи от всех дверей мира. Прочитаешь, и для тебя станет возможным все. Примерно так мне представлялось. Но эти книги еще нужно было найти.

Павлик хотя бы знал, как называется его волшебная книга. Я же понятия не имел.

По улицам толпами шастали проповедники. РПЦ еще только начинала неуклюже ворочаться, а всевозможные сектанты уже стремились

урвать кусок на новом рынке, шустрили вовсю. Апостолы Марии Дэви Христос и агенты «Аум Синрике», баптисты, мормоны, говорящие с нарочитым акцентом, кришнаиты – карнавал похлеще чем в Рио. Книжки «про духовное» просто раздавали на улицах. Очень быстро их начнут продавать, но поначалу раздавали бесплатно. Народ жадно хватал.

На прилавки в невообразимых количествах вывалили всевозможных мережковских и карсавиных. Религиозная философия входила в моду.

Но все это было явно не то. Ни Библия, ни «Бхаватгита» какая-нибудь, ни уж тем более «Оправдание добра». Слишком назойливо все это предлагалось. Нет уж, спасибо. Не надо.

Первейшая альтернатива была очевидна. Маркс был только что низвергнут с пьедестала и дружно всеми презираем. Значит, за него и нужно было браться. «А ты “Капитал” читал вообще?» – «Ну, читал... Первый том». Я, собственно, и до конца первого тома не добрался. Ощущал себя эдаким красноармейцем-пролетарием, который в промежутках между боями извлекает увесистую потертую книжку и со старательностью начетника водит по строчкам заскорузлым пальцем: «То-вар есть преж-де все-го... преж-де все-го внеш-ний пред-мет... внеш-ний пред-мет...» – никакого чуда в этом не было. Искать надо было где-то в других местах.

И ладно б я один был такой. Нас подобралась целая компания, чтобы морочить друг друга. Обычные разговоры: «Гегеля читать надо с ручкой и тетрадкой, чтобы сразу конспектировать. Сразу же. Иначе не разобраться». Я и тогда еще был уверен, что никто за это не возьмется. Хорошо при свете лампы книжки умные читать, да.

Вокруг каждый второй мечтал если не банкиром заделаться, то по крайней мере ларек открыть. А мы самозабвенно решали, кого круче будет штудировать – Леви-Стросса или Леви-Брюля. Мы делали все, чтобы не преуспеть в этой жизни.

Ассортимент книжных магазинов мы презирали. Он был для нас слишком попов. Я, впрочем, вполне мог себе это позволить: все равно денег у меня почти никогда не было. Я даже пил частенько за чужой счет. Тем не менее по книжным магазинам шлялся, просто поглазеть. А что еще оставалось?

«Букинист» (ведь я об этом уже сказал, да?) был из числа моих любимых. В один из заходов я был поражен, просто убит на месте. Все стеллажи были заставлены академической серией «Литературные памятники». Книг было много, очень много. Они не только на полках стояли, но и на полу лежали стопками.

В стране в очередной раз настало время эмиграций. Перед отъездом люди избавлялись от всего ненужного, от книг в первую очередь. Их старались побыстрее распродать. Но покупателей находилось мало. Для большинства населения книги ценности не представляли, а те, кто все еще мог бы хотеть их купить, были по большей части нищи. Тогда их раздавали знакомым или просто выбрасывали на помойку.

Но «Литературные памятники» на помойке очутиться не могли, разумеется. Несколько дней мы ходили в «Букинист» как на работу, заворожено перебирали строгие зеленые корешки, открывали одну книгу за другой, чтобы взглянуть на цену и разочарованно цокнуть языком. Покупать что-либо особого смысла не было. Забирать надо было все, а это было невозможно.

Мы выходили из магазина и шли за портвейном. В продаже как раз появился напиток с экзотическим названием «Тарибана».

День на третий-четвертый ситуация стала непереносимой, я почувствовал это, когда снимал с полки очередную книгу. Ее непременно нужно было украсть, просто чтобы справиться с шоком. Книжица была мягкая, маленькая, карманного формата. В карман я ее и засунул, даже не посмотрев на название, и в полном ужасе от того, что делаю, на подгибающихся ногах направился к выходу. Наверняка я слишком суетился. Удивительно, что никто не обратил на меня внимания.

Только Лешка Коровашко, который пришел вместе со мной, понял, что я сделал. Он выскочил из магазина, как раз когда я прямо на крыльце извлек книжку и принялся ее разглядывать. Это оказалась «Младшая Эдда».

«Что ж ты делаешь! – прошипел Леха, подхватил меня под локоть и повлек в ближайший двор. – Убери книгу!» Я послушно переставлял ноги, ничего уже толком не соображая.

Дворами мы добежали до остановки. Трамвай как раз подъезжал. Леха втолкнул меня в вагон. Двери закрылись, трамвай звякнул и тронулся. Коровашко шумно выдохнул.

Меня больше не дергали за руку, не тянули, не пихали – я смог наконец-то раскрыть книжку. Она открылась на странице, где Один похитил мед поэзии. «Один украл мед Суттунга!» – возбужденно прокричал я в лицо Коровашко. На меня обернулись все пассажиры. Тетка с ребенком неопределенного пола поспешно отсела подальше. «Мам, он че? Пьяный?» – услышал я. Тетка что-то неразборчиво пробормотала в ответ, опасливо косясь в мою сторону.

Ладно. Повспоминали, и будет. Чай допит. Снег по-прежнему валит. А работа ждет. Надо идти.

Да! А последнюю книжную кражу я совершил не так давно. Из современного магазина с хитрой системой зеркал для наблюдения за покупателями, с камерами и электронной сигнализацией. На обложке крупно было написано: «Сопри эту книгу!» Я не смог этот совет проигнорировать.

Александр ПОНОМАРЁВ

Родился в 1969 году в Липецке. Окончил филологический факультет Липецкого государственного педагогического института (ныне ЛГПУ), Республиканский институт повышения квалификации работников МВД России по специальности «практическая психология». Служил в органах внутренних дел РФ. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе.

Член Союза писателей России, Межрегионального Союза писателей Украины, Академии российской литературы. Живет в Липецке.

ОХОТА НА ПРИЗРАКА

Колонна вышла из Моздока рано утром, когда заря только окрасила небо багряными красками. Когда остался позади последний осетинский блокпост и машины въехали на чеченскую землю, в небе возникла вертушка. Она бороздила облака, то улетая вперёд, то появляясь откуда-то сбоку. С ней было спокойнее. Но, несмотря на прикрытие сверху, бойцы, сидящие в кузовах автомобилей и на броне бэтээров, ошетинились в разные стороны стволами автоматов.

Отары овец паслись на невспаханных полях, иногда лениво поглядывая на растянувшуюся на несколько километров по дороге и пылящую почём зря гусеницу. Когда подъехали к перевалу, колонна остановилась.

Командир отряда полковник Макеев, немногословный русоволосый великан, выпрыгнул из кузова. Он внимательно осмотрел окрестности. Впереди притаилось узкое ущелье, справа от которого ниспадал небольшой водопад с пенящимся каскадом. Две горы, поросшие седыми мхами, возвышались по обеим сторонам, как старухи. Макеев кивнул взводному Карташову.

– Валер, назначь в пеший дозор семь человек, пусть прочешут вон ту высоту и ущелье, – он показал Карташову пальцем, – как только взвод перейдёт на ту сторону ущелья, доложат по рации, что путь свободен. Вертушка их сверху прикроет, если что, – и он отвернулся, с тем чтобы достать носимую радиостанцию и связаться с летунами.

Небольшое село Кара-Юрт прилепилось к горному хребту. Несколько десятков домов, две длинных улицы и бахча. Вот и всё село.

– Константин Иваныч, – командир отряда, который сменяла команда Макеева, разливал по алюминиевым кружкам горячий крепкий чай, – ничего особенно примечательного в округе нет. Я так понимаю, отряды здесь выставлены лишь для того, чтобы перекрывать горную тропу. По этой артерии караванами доставляют на Кавказ оружие, наркотики

и деньги для осуществления терактов. Жить будете в палатках, мы их вам оставляем. Пищу придётся готовить самим. Кухня походная тоже есть. Посты выставлены по периметру села, два выносных. Секреты и засады будете выставлять по мере надобности. С электричеством у нас перебоев не было.

– А как местное население? – Макеев прихлёбывал пахучий чай вприкуску с кусочком прессованного сахара.

– Местное население вроде бы ничего. С понятием, – майор улыбнулся, – взаимоотношения довольно терпимые, только если твои бойцы косячить не будут. Спиртным здесь не торгуют, да и не принято это у них. С главой администрации сами познакомитесь. Неплохой джигит. Хлеб пекут две женщины: мать и дочь. Цены не загибают. Дочь – красавица, но кадрить её не советую, ваххабитская вдова. Ну вот вроде бы и всё.

– Ну, тогда счастливого пути, майор, – Макеев крепко пожал коллеге руку.

– Да, совсем забыл, Иваныч, – и майор понизил голос, – завёлся у нас тут недавно диверсант.

– В смысле?

– Ну, гадит нам кто-то и по-мелкому, и по-крупному.

– Из местных?

– Я думаю, что да. Больше некому. Места знает хорошо. То растяжку поставит на тропе, то наши переставит. Подстрелил часового неделю назад, ранение пустяковое, но всё-таки. И везде оставляет волчьи следы, иногда клочок шерсти. А в прошлом месяце подорвал машину из комендатуры: один двухсотый, так повесил на ветку волчий зуб, заметили, конечно, не сразу – на чёрной нитке висел.

– «Чёрная кошка»?

– Да я так думаю, что он об этой кошке и слыхом не слыхивал. А, и записку нам подбросили как-то. На, гляди.

Макеев развернул смятый листок, который ему протянул майор. На тетрадном листке в клеточку было нацарапано: «Руски ухады, а то тебе месьт Кара Борз».

– Ого, и как понимать это? – Макеев смотрел на майора сверху вниз.

– Ну, место называется Кара-Юрт. Что означает «чёрная юрта».

– С этим можно поспорить: Юрт переводится с тюркского и как «пастбище», и как «место, жилище», и даже как «родина».

– Вот видишь, Иваныч, ты сам мне лекцию об этом прочитать можешь. А «кара борз» – это чёрный волк. Волк вообще у них священное животное.

– Понятно, – Макеев задумчиво поглаживал подбородок.

– Бывай, товарищ полковник. А с «волком» этим поосторожнее, береги ребят. Думаю, недельку по горам порыскаете и найдёте этого Борза. Слишком уж он и вправду оборзел, – и майор сам рассмеялся своей шутке.

Первый звончок прозвенел ровно через неделю. Старшина первого оперативного взвода рано утром подорвался на противопехотной mine. Парня сильно посекло осколками, и его сразу же отправили в госпиталь «Северный» вертушкой.

Макеев срочно собрал офицеров в штабной палатке.

– Кто стоял ночью на первом посту? – Макеев внимательно разглядывал командиров двух взводов.

– Сержант Разов, товарищ полковник, – командир первого взвода лейтенант Дроздов не поднимал глаза на командира, как будто он и был виноват в случившемся.

– Давай его сюда, Дроздов!

Лейтенант молча поднялся, и вышел из палатки, махнув брезентовой полкой.

– Какие мысли у других будут? – Командир достал из кармана пачку сигарет и, чиркнув зажигалкой, закурил.

– Старшина за водой пошёл, – на полковника поднял взгляд капитан Старков, – колодец в пятидесяти метрах от расположения отряда...

– Это нам известно, – Макеев перебил капитана, – короче, Склифосовский...

– А тропа только одна, – невозмутимо продолжал Старков, – примерно в тридцати метрах от ПВД, прямо на тропе стояла «монка», сработала на движение. Причём поставили её сегодня ночью – в этом никакого сомнения нет. Вокруг крупные волчьи следы.

– Волчьи? – вступил в разговор врач отряда Корнев. – А почему ты так думаешь? Может, собачьи?

– Волчьи, Владимир Андреевич, – продолжал Старков и поднял глаза на доктора, – я их с другими не перепутаю. Дядька у меня в лесничестве работал. Порою лес обходили с ним по несколько десятков километров. И причём как будто вожак кружил, они так дичь загоняют. Волчьи, это точно.

Разговор прервался, потому что в палатку, подталкиваемый сзади взводным, кряхтя, заходил крепкий черноволосый сержант. Он ошалело огляделся по сторонам, зайдя со света в полумрак. Затем нашёл глазами командира и встал по стойке «смирно».

– Разов, доложи-ка, мил друг, как службу ночью нёс? – Макеев пристально разглядывал сержанта.

– Да вроде бы всё как всегда, товарищ полковник, – засопел сержант.

– Ты давай не темни, – подал сзади голос взводный, успевший по дороге расспросить часового, – рассказывай, как мне говорил.

– Да под утро заморочило меня слегка, – неуверенно продолжал Разов.

– Заморочило? Это как же? Закемарил? – Макеев стряхнул пепел с сигареты.

– Может, и закемарил, командир. Но только показалось мне, что на тропе, что к колодцу ведёт, ну, на той самой, призрак появился.

– Призрак? – протянул Старков.

– Призрак, – в голосе сержанта появилась уверенность, и он перевёл взгляд на капитана, – белый силуэт, как человек вроде, призрак – кто же ещё? Мелькнул и пропал. Я совсем уж было собрался дежурному по рации доложить, да подумал – померещилось. Луна спряталась как раз – я и думаю, ветки от платанов в тень попали. И захороводили. И главное – ни звука, ни шороха. Только тени от платана на том месте. Знать бы, что так вот случится.

– Эх, Разов, Разов, – Макеев поморщился, – если бы доложил по команде, как положено, не улетел бы твой боевой товарищ в госпиталь.

– Да я и сам понимаю, товарищ полковник, – Разов сморщился и заморгал глазами. – Подумал, померещилось, да и стыдно признаться – побоялся: на смех меня ребята поднимут...

– Да какой уж тут смех, тут плакать надо. Иди, сержант, неси службу, – Макеев бросил окурок на земляной пол, придавив каблуком армейского берца.

Когда Разов вышел из палатки Макеев, быстро и в деталях передал офицерам рассказ командира предыдущего отряда про Чёрного Волка и даже записку показал. После чего в палатке повисла тяжёлая пауза.

– Может, и в правду показалось сержанту? – доктор нарушил молчание.

– А мина? – поднял на него взгляд командир второго взвода Карташов.

– Да стояла она тут, может, не одну неделю, а старшина наш только сегодня на неё наткнулся.

Старков, молча, рисовал прутиком на земле узоры, потом бросил ветку через левое плечо и повернулся к врачу.

– Исключено, Владимир Андреевич, мы с сапёрами каждую пядь вокруг просмотрели. «Монку» сегодня ночью поставили.

– Разову простительно, док, он в первый раз на Кавказ приехал, – Макеев тоже смотрел на врача, от чего тот поёжился, – а тебе, стреляному воробью, стыдно в призраков верить. Завтра у нас по горам да ущельям белые кони в кроссовках поскачут. Это, Владимир Андрееч, тот самый Чёрный Волк, который нам мстит.

– Неуловимый Джо, – осклабился Карташов и зло сплюнул под ноги.

– Так тот никому не нужен был, Валера. А этот нам нужен. Ой, как нужен. Это он только начал, вкус крови почувствовал, – продолжал Макеев. – Значится, так – командиры взводов будут у нас заниматься службой. Ты – док, своими вопросами. А к тебе, Саша, – Макеев посмотрел на Старкова, – у меня будет особое задание. Даю тебе две недели, чтобы извести этого призрака. Об этом будем знать только мы пятеро. Попрошу товарищей офицеров об этом никому ни гу-гу. А то вся операция потеряет смысл. Что и как, это мы все вместе прикинем. Докладывать о результатах будешь лично мне, каждый вечер. Понятно?

– Есть, – просто сказал Старков.

– Вот и ладно. На хитрую задницу найдётся прибор с винтом. Достанем мы этого Кара Борза.

Весь день Саня Старков ходил как потерянный. Он что-то шептал, шевеля губами, размахивал руками, чертил пальцем в воздухе знаки, а иногда, резко развернувшись, шёл в другую сторону.

К вечеру он решительно заходил в командирскую палатку.

– Я вот что думаю, Иваныч, если это кто-то из местных, то их от меня отвлечь надо. Чтоб думали, что я казачок засланный. Может быть, найти ребят, недовольных порядком сегодняшним? То да сё – поговорить с ними, что хотел бы в горы уйти, стать настоящим джигитом...

– Не получится, – Макеев снова достал из кармана пачку сигарет и принялся щелчком выбивать одну из них, – времени у нас мало. Горцы народ осторожный. Это тебе тут пару годков пожить надо.

– А что если, – вступил в разговор Корнев, – сделать из нашего Сани пьяницу горького?

И Макеев, и Старков выпучили на доктора глаза и даже не сообразили сперва, о чём это он. Первым в себя, как ему и полагается, пришёл командир.

– Вот это ты, Андрееч, выдал! Не пойму, я про что ты?

– А вот про что, – и Корнев хитро сощурился, – ты же говорил – местные не пьют, спиртного я имею в виду. Так?

– Ну так, и чего?

– А если наш офицер постоянно будет пьяным – на улице, в кафе сельском и везде, короче. Они по-любому к нему будут относиться

попервости враждебно, а потом рукой махнут. Мол, никчёмный челове-
чишко, и бдительность потеряют.

– И чего мне каждый день горькую пить? – вступил в разговор капи-
тан, – так сопьёшься раньше времени.

– Не обязательно, – повернулся к нему доктор, – ты что, пьяного
изобразить не сможешь? Не валяться на улице, конечно, а так – вести
себя не вполне адекватно.

– Так-так, понимаю, – теперь уже заулыбался Макеев, – но я же
говорил, горцы народ внимательный и очень осторожный. Могут не
поверить...

– Поверят, – хлопнул себя ладошкой по ляжке Корнев, – я тебе, Саня,
такие капли дам – зрачок будет как у совы – во весь глаз, а под губу
нижнюю ватку будешь класть, спиртом смоченную, разить от тебя си-
вухой будет за три километра. И вот в таком виде садишься ты в чай-
хану, в руках у тебя фляжка, ну – или бутылёк за пазухой, ты знай – из
неё прихлёбывай да отключайся время от времени. Через эту чайхану,
почитай, все местные мужики проходят. Может, что и услышишь, мо-
жет, чего и увидишь...

– Есть одно но, Андреич, – усмехнулся Старков, – языками не
владею...

– А вот тут ты неправ, – в свою очередь перебил его командир, –
здесь с десятков национальностей живёт. Родные языки порою не похо-
жи один на другой в корне. Язык общения для них – русский, а это нас
полностью устаивает.

– Ладно, – Старков разминал ноги от неудобной позы, в которой так
и застыл с самого начала разговора, – раз совет в Филях постановил,
значит, превращусь в никчёмного и потерянного для общества челове-
ка. Только как бы кто из своих не прибил.

– Об этом не беспокойся. По ночам будешь выходить в свободный
поиск. Обо всём будешь докладывать по окончании каждой засады,
Саша. Примечай всё, даже самые, как тебе кажется, мелочи. Одна го-
лова хорошо, а две или даже больше, – тут он одобрительно посмотрел
на Корнева, – лучше. Будешь брать с собой только самое необходимое:
фонарик, карту, рацию носимую, два боекомплекта, да чего я тебя учу –
не первый год замужем.

– Понял, командир, – Старков, скинув с себя сомнения, мучившие его
весь день, потихоньку наполняясь азартом, как собака перед охотой. –
Всё необходимое возьму. Только рация не нужна, может заскрипеть в
самый неподходящий момент, если услышите звуки боя – подскочите
меня прикрыть. Волк этот поблизости всегда, вот и я буду пасти его. По-
стараюсь быть либо на шаг впереди, либо за его спиной. И боекомплект
один. Хватит. Брать буду только калибр 5,45, несколько «эфок» и один
рожок с трассерами. Если возьмут меня в клещи, вдруг этот перец не
один работает, трассерами покажу направление при вашем подходе, –
и Старков вопросительно посмотрел на Макеева.

– Согласен. Добро, – на секунду задумавшись, сказал тот.

Солнце потихоньку пряталось за горы. Их вершины, покрытые
снежными шапками, сыпали вниз снежную крупу, которая превраща-
лась в лёгкую дымку, достигая предгорий.

Из села потянуло запахом сгоревшего кизяка. Саня тенью промельк-
нул мимо караулов, выставленных по периметру военного лагеря, и,
сторонясь дороги, свернул в частые посадки из невысоких деревьев.

«Сначала обойду кишлак, посмотрю, кто и чем дышит. А потом прочешу близлежащую местность», – сказал он себе и сразу испугался. Ему показалось, что сказал это вслух. Но вокруг царила тишина и умиротворение, природа засыпала на время прохладной южной ночи, лишь со стороны села слышались звуки, характерные для мест, где живут люди: мычание коров, кудахтанье куриц, плач ребёнка.

Эти звуки настраивали на спокойный лад – будто и нет никакой войны. Но Саша, сбросив оцепенение, сконцентрировался на задании.

Прокравшись вдоль деревьев, прилегающих к окраине Кара-Юрта, он занял удобную наблюдательную позицию. Пролежав минут двадцать, он поднялся повыше и, найдя на горе небольшую площадку, подстелив под себя коврик снайпера, достал ночник и принялся внимательно осматривать село.

Схему села нарисовал ему прапорщик Колесниченко. Серёга Колесниченко был давнишним приятелем Сани. На плечах Серёги лежали очень непростые и нужные в командировке обязанности – кормить личный состав подразделения. И справлялся с этими поручениями прапорщик мастерски. В какое бы место и в какое время года ни приехал отряд – Серёга на второй день обзаводился нужными знакомствами, так как от природы был весёлым и контактным парнем. Вот и здесь, в Кара-Юрте, через неделю все местные жители уже приветливо здоровались с ним.

За первый час ничего примечательного Саня не заметил, после двух часов ночи, когда село полностью уснуло и луна стала прятаться за перистыми облаками, подмигивая бойцу то левым, то правым глазом, он услышал, как стукнула калитка.

Из дома вышел человек, он огляделся по сторонам и уверенно зашагал по дороге в сторону зелёнки.

Саня быстренько скатал коврик, прицепил к ремню, взял автомат на ремень и, крадучись, последовал за неизвестным.

Человек нёс в руках вещмешок, шёл уверенно и даже непринуждённо, по сторонам не смотрел и наверняка знал, куда направлялся.

Саня бесшумно крался вдоль обочины дороги – то пригибаясь к земле, то передвигаясь короткими перебежками.

Дорога поюлила по перелескам и начала карабкаться в гору. Здесь пришлось поубавить темп, так быстро перемещаться уже не получалось: мешали камни, на которые время от времени натыкались армейские берцы.

Человек бодрой походкой продолжал свой путь, пока не вышел на горную поляну. Вокруг костра сидели чабаны и кипятили чай. В нос Сани сразу ударили запахи крепкого чая и табака. Кавказская овчарка, лежавшая у костра, подняла голову, принялась, лениво встала и поплыла в сторону разведчика.

Саня, чертыхаясь, встал на ноги и быстренько ретировался. Встретиться нос к носу с охранником овечьих отар не входило в его планы.

– Ну, рассказывай, военный, чего ночью видел или слышал, – Макеев расположился на кресле, сделанном из зелёных армейских ящиков из-под гранатомётных выстрелов.

– Ничего особенного, Иваныч, чабан сегодня ночью попутешествовал слегка.

– А чего-нибудь необычного не заметил в его путешествии?

– Проводил его до лугов, посмотрел на жизнь простых чабанов, потом, правда, с собачкой в прятки пришлось поиграть, но сыпнул на тропу

табаку, она интерес ко мне потеряла. Потом ещё с часок понаблюдал и до дому. Через час рассвело.

– Ну, так. Чего сказать тебе, Саня, быстро только кошки родятся. Продолжай наблюдение. С твоим разложением денька три подождём. Можешь отдыхать.

Саня вышел из штабной палатки и отправился к своему другу Серёге Колесниченко.

Пункт временной дислокации жил своей жизнью: взвод Карташова отрабатывал вводную – подъём по тревоге и выдвижение на позиции в случае нападения на ПВД или обстрела.

Дымила походная кухня, бойцы, переговариваясь, шли за водой, часовые вглядывались в окрестности, а около палаток нахально паслась местная корова.

– Здоров, Серёга, – Старков присел рядом со старшиной.

– И тебе не хворать, – тот невозмутимо чистил картошку, пряча в уголке рта беломорину.

– Ничего не слышать в нашем дворе и его окрестностях?

– Пока вроде бог милует, – Колесниченко понизил голос, – насчёт задания твоего, Саня – откровенных боевиков в селе нет. Все в горах. Приходили зимовать, да как солнышко пригрело – опять воевать отправились. Мадина, это которая нам хлеб печёт, и вправду вдова ваххабитская, но она, на мой взгляд, на такие штуки не способна, жидковата...

– Думаешь?

– Я их знаешь сколько повидал, думаю, не она это. Дальше чабаны, отары у них большие, люди в селе по горским меркам не бедные. Тут не до баловства, овцы – продукт стратегический, можно сказать единственно жизненно важный. Земля здесь никудышная, в огородах, сам видел, – айва да дыни иногда. Остаётся наш глава поселения, чайханщик и малый один – он вроде как пришибленный слегка. Во время первой войны ещё контузило его прилично, вот крышу у него и сносит время от времени.

– Это как?

– Да, говорят, находит на него: может в горы убежать – его потом с фонарями ищут, то орать начнёт – сутками напролёт. Для него родные клетку деревянную соорудили. Вот и сажают его под замок иногда – а он орёт, как потерпевший, да прутья от клетки грызёт.

– Понял, старшина. Спасибо тебе. Присмотрюсь. Может, упустил кого?

– Может, и упустил, Сань. Народу вроде в селе не так уж и много. Понаблюдаю ещё – приходят людишки: кому инструмент напрокат нужен, кто молоко на сахар меняет. Попытаю...

– А народ-то к нам как, ну, настроен вообще?

– Да по-разному: но откровенно никто власть не хаёт, осторожничают, да и открыто нас приветствовать побаиваются. Хотя в одном все сходится – при нас порядка и закона побольше. Горцы народ справедливый.

Саня Старков второй день «разлагался» в чайхане. Расположившись на циновке, он заказывал себе чай, время от времени подливая в пиалу пойло, доставая бутылку из-за пазухи. Спирта в ней было немного, в основном вода, но разило сивухой за километр.

Чайханщик Ваит вначале только морщился: в чайхану люди в первый день вообще не заходили. Косились недовольно на русского пьяницу и, перекинувшись парой фраз с хозяином, уходили.

На второй день Ваит нашёл компромисс, с русскими ссориться было не в его планах, заходили они часто и заказывали много. Чайханщик перенёс Санину циновку в дальний угол, была бы его воля – отгородил бы это место частоколом, но и этого хватило. Местные вернулись. Садились за чаепитие, разговаривали, смеялись, но потом перестали обращать на Саню внимание – только морщились от запаха спиртного.

Саня в разговоры не лез, да и разговаривать с ним никто не стал бы. Пользы от его сидения пока не было никакой. Разговоры были о погоде, о дождях, о заболевшей корове, об урожае айвы – короче полный порожняк.

– Ваит-джан, налей ещё чайку, пожалуйста, – Саня приоткрыл сначала правый, потом левый глаз.

Чайханщик уже нёс ему пузатый чайник, затем ловко убрав со стола пустой, поставил перед ним новый.

– Зачем пьёшь, Саня?

– Так жизнь такая Ваит, не мы такие. Что ж ещё тут делать, скука.

– Может, тебе манты или шашлык? А то не кушаешь совсем, только пьёшь водку свою, – Ваит поморщился. – Одна женщина спрашивала уже – что этот русский тут водку пьёт, у него дома что, не продаётся?

– Насмешила... конечно, продаётся. Нет, есть не хочу совсем.

– Ты хороший воин, Саня, хороший джигит. Зачем пьёшь только, не пойму.

– Да я и сам не знаю.

– Ты перестань, Саня. Надо домой вернуться, а пить будешь – горы этого не любят. Останешься здесь. Навсегда останешься.

– Может, ты и прав, Ваит. Буду помаленьку прекращать.

– Вот и молодец, – Ваит довольно улыбнувшись, уже отходил от него.

Старков, постучавшись о деревянную стойку, стоял на пороге командирской палатки.

– А, заходи, Саня. Похмелить?

– Хотя ты не подкальвай, командир, – Саня, откинув полог, зашёл и сел напротив Макеева.

Тот разглядывал карту, иногда, делая на ней пометки красным карандашом.

– Ну, рассказывай, – командир отодвинул карту и ловко закинул карандаш в гранёный стакан.

– От чайханы пока результатов никаких, правильно ты говорил: местные народ осторожный и внимательный. Информации больше от Колесниченко, он слово заветное знает, наверное. Ему горцы душу готовы раскрыть.

– А ночные вылазки, как?

– Прошерстил окрестности вдоль и поперёк. Результата пока ноль.

– Ну, этого и следовало ожидать. Волк этот осторожный. Он после каждой вылазки затаиться должен. Это мне и предыдущий командир говорил. Хитрый и очень осторожный противник. Ты продолжай поиск, Саня. Не останавливайся, снайпер как работает – знаешь?

– Знаю, командир. Сутками цель высиживает.

– То-то и оно, капитан. А тут цель сложная, неделями вокруг неё ходить надо, а может, и месяцами. Но ты тоже не пальцем деланный. Мне про твою службу в Таджикистане кое-что тоже поведали. Занимайся, Саня.

Ночью Саня устроил лёжку под огромным раскидистым дубом. Тот стоял на сопке и окрестности просматривались очень хорошо с трёх сторон, с четвёртой мешала зелёнка.

Пока село ещё не уснуло, Старков решил пораскинуть мозгами. Иногда это очень полезно, всем давно известно.

Он опять взял в руки прутик и уселся спиной к стволу дерева.

«Ага, так и запишем: чайханщик Ваит – фигура в селе известная, днём он всё время на виду, человек уважаемый. В чайхане ему помогают два сына-подростка и старуха. Свой дом, довольно неплохой, недалеко от рабочего места, значит. Продукты для чайханы привозит ему старик на мотоцикле с коляской, два раза в неделю привозит. А вот ночью, что делает чайханщик ночью? Хотя если весь день, как белка в колесе, крутишься – какие ночью приключения? Ночью спать надо!»

Саня отломил от прута веточку и положил на землю.

«Номер два – сумасшедший Лом-Али. А может, он только прикидывается умалишённым? Сделает дело и орать как резаный начинает? Хотя так светиться настоящий волк не стал бы... ну, так или иначе, со счетов его сбрасывать пока не будем...»

Опять обломил веточку, положил рядом с первой.

«Номер три – глава поселения. Скорее нет, чем да, – в разъездах всё время, опять же на виду. Кто-нибудь что-нибудь увидел или услышал бы. Да и предыдущая смена хороводила тут по этому призраку, если только сообщник или один из сообщников...»

Третья веточка легла на поляну, рядом с двумя предыдущими. А прут полетел через левое плечо.

Со стороны села потянуло дымом. Он вначале поднимался вверх, а затем рассеивался от дуновения прохладного ветерка и стелился по траве.

«Кизяком топят», – Саня шмыгнул носом.

Над горами взошла луна, круглая и жёлтая, как апельсин, – какие бывают только в детстве.

Капитан взялся за цевьё автомата, чтобы переложить его поудобнее, и вдруг почувствовал, как по телу побежали мурашки. В воздухе повисло напряжение, и даже звуки на секунду затихли. С той самой, неприсматриваемой, стороны зелёнки что-то уже происходило, но что – этого Саня пока не понял. Он на долю секунды замер, и тут же ему в нос ударил резкий и неприятный запах то ли слежавшейся шерсти, то ли псины. Капитан поднял глаза и оцепенел. Слева метрах в трёх в лунном свете стояли два волка, стояли и спокойно рассматривали Саню в упор. Появились они бесшумно, как будто выросли испод земли. Один – крупный лобастый вожак, чёрного окраса, и поменьше – серый, с подпалинами, матёрый.

Глаза волков светились в полумраке, как горящие угольки.

«Сколько раз по следам вашим ходил, а увидеть вот так – впервые довелось, – промелькнуло в голове, – вот он, Чёрный Волк. Да только не два их, минимум с десяток – остальные в засаде, команды ждут».

Саня, не торопясь, перевёл руку с цевья автомата на спуск, а второй рукой медленно достал из разгрузки армейский нож с костяной ручкой.

– Я для вас трудная добыча, братцы, – шёпотом произнёс он, – неровён час троих из ваших положу...

Серый волк поскулил чуть слышно ему в ответ. Но чёрный стоял, как изваяние, глядя в глаза. Саня поёжился, но взгляда не отвёл – нельзя. Видно было, что животным неприятны запахи: ружейного масла, стали,

прокопченного на кострах камуфляжа. Они переминались с лапы на лапу, видимо, думая – нападать или нет.

Волки исчезли так же мгновенно, как и появились. Сане даже вначале подумалось: а не показалось ли всё это, может, и его заморочило, как сержанта Разова. Но сколько он ни таращил глаза в разные стороны, сколько ни смотрел в ночник – волков и след простыл. И следов не отыскал – тропа каменистая.

– Вот и славно, всё правильно сделали, парни, – сказал Саня в темноту и сам удивился, насколько чужим показался ему свой голос.

Несколько часов просидел Саня, прислонившись спиной к дубу, отходя от произошедшего. И только прохладный ветер с гор да ещё рассвет привели его в чувство. Спать не хотелось совсем: ещё вечером он применил старый армейский метод – ложка растворимого кофе с глотком чистого спирта. Сон отбивает напрочь, и глаза как два фонаря, только под утро голова кружится и тошнит слегка.

Но не зря говорят на Руси, пришла беда – отворяй ворота. Хотя беды никакой не приключилось, но могла. Могла.

На рассвете Саня скатал снайперский коврик, проверил разгрузку, пару раз зевнул и осторожно двинулся в лагерь.

На тропинке, которая была уже на подходе к кишлаку, – его больно укололо в сердце. Стоп, боец. Саня присел на корточки, отсоединил от «калаша» шомпол – несколько раз ткнул в землю вокруг, чисто. Затем приподнял траву слева, справа. Входящее солнце ослепило глаза, и на долю секунды в полуметре впереди на тропе что-то ярко вспыхнуло и пропало. Саня гусиным шагом преодолел это расстояние и ножом поддел зелёную проволоку. Натянута – у самой земли, припорошена грунтом. По ниточке, по ниточке... Вот она, растяжка. На меня? А на кого же ещё? На меня. Выследил волчара, а может ему те – ночные – шепнули.

Вж-ж-ж, вж-ж-ж, чпок, чпок. Саня успел только свалиться – куда-то вправо. Над ухом прожужжала пуля. Он перекатился с места, в которое упал, схватил автомат и прицелился. Только вот куда стрелять? Саня зорко, очень внимательно огляделся. Вон там впереди, метрах в десяти, качнулась ветка. Вот ты где, Кара Борз. Обойду-ка я тебя слева. Саня аккуратно выдвинулся по-пластунски. И, рывком поднявшись, кинулся к месту засады. Такой прыти призрак от него не ожидал, на долю секунды показался. Мелькнул впереди и сразу пропал.

Саня преследовал его, пригибаясь к земле, где-то замирая, где-то прячась за деревья и пригорки.

«Невысокого роста, очень подвижный, юркий, можно сказать. В маскхалате зелёного цвета – наш армейский. Местность знает отлично, двигается уверенно, где-то семенит. Где-то перепрыгивает препятствия, как кошка. Пацан? Похоже, что подросток или девушка. Та – Мадина, которая хлеб печёт высокая, стройная. А этот – вьюн вьюном. Всё, потерял я его. Сейчас отдышусь. Прочешу лес».

Саня дышал и не мог надыхаться, как тогда в Таджикистане. Впереди послышался треск веток. Саня спрятался за кустом и навёл автомат на звук. По тропе, еле-еле передвигая ноги, тащилась старуха. На горбе у неё помещалась огромная вязанка хвороста. Бабка шла прямо на Саню. Саня оглядел её с ног до головы. Чёрный платок, чёрное платье с длинным рукавом, юбка в пол, на ногах калоши. Она опиралась на палку, крихтела и стонала. Тяжеловат груз для тебя, бабушка. Глаза полузакрыты, губы плотно сжаты, орлиный нос, бровей почти нет –

да и немудрено, лет-то, наверное, под сто. Слева под глазом небольшой, но заметный шрам. Бабка остановилась в нескольких саженях от Сани, горестно вздохнула, вытерла рукавом солёный пот, и поплелась дальше. Она прошла в паре метров от капитана, не заметив его в густом кустарнике.

«Всё, охота закончена. Всю масть ты мне перебила, мать. Светиться нельзя, хоть и старая бабка, но горянка – внимательная. Запомнить может».

Саня посидел ещё минут двадцать и выдвинулся к месту засады.

«Вот здесь я сидел на корточках. Стреляли по мне оттуда. Ага. По ниточке... “Эфка” у корней дерева, грамотно поставлена. Кабы не солнышко, вовек не заметить. На колечке гранаты клочок шерсти, даже в косичку заплетён, – не поленился диверсант, так хотелось марку поддержать».

Саня снял косичку, понюхал: слабый запах слежалой псины. Волчья.

«Теперь вернёмся назад. Пули, стало быть, полетели в ту сторону. Поищем, вдруг как повезёт?»

Саня обходил местность, внимательно разглядывая каждое дерево, каждую ветку. Есть. Вот они, девять граммов.

У одного из платанов пуля зацепила самый краешек да и застряла в коре. Саня выковырнул пулю ножом. Подержал на ладонке, разглядывая, подкинул вверх, поймал, улыбнулся и двинулся в лагерь.

– Выследил волка, молодец, капитан, – командир отряда Макеев рассматривал пулю со всех сторон.

– Нет, Константин Иванович, он меня выследил. Засаду на меня устроил.

– Ты её на зуб ещё попробуй, командир, – врач отряда Корнев тоже внимательно рассматривал пулю.

– Калибр 9 на 39. ВСК – войсковой снайперский комплекс. Наше оружие – спецназовское, – Старков доставал сигарету из пачки.

– Думаешь? – поднял на него глаза Макеев.

– Не думаю, знаю, командир. Стрелял бесшумно, с глушителем.

– Дневальный! – командир откинул полог палатки. – Ну-ка, бери журнал ориентировок и ко мне.

В палатку вбежал боец с выдавшей виды конторской книгой.

– Здесь я, товарищ полковник.

– Молодец. Ищи сводки за апрель этого года. Давай-давай, шевелись. Десятого или четырнадцатого числа. Нашёл? Читай.

Дневальный встал по стойке смирно и нараспев, как стихотворение, прочитал:

– Четырнадцатого апреля в 10.02 у села Кара-Юрт было совершено нападение на машину УАЗ военной комендатуры...

– Дальше, вон там на третьей строке, – нетерпеливо перебил его Макеев.

– Где? А-а-а, здесь. Похищены два автомата АК-47 и одна винтовка ВСК. Прокуратурой заведено уголовное дело по статье «терроризм» номер...

– Всё. Хорош. Свободен.

– Есть, – козырнул дневальный и вразвалку вышел из штабной палатки.

– Наш Чёрный Волк. ВСК у комендачей повзаимствовал...

– Я ж и говорю, – затыкнулся сигаретой Старков.

– Каков из себя?

– Маленький, юркий. Бегаёт быстро – не угнаться. Не мужчина – либо подросток, либо девчонка. Местный – это точно. В зелёном маскхалате.

– Бегаёт хорошо, стреляет плохо, – задумчиво протянул врач, вертя в руках пулю.

– Выходит так, Андреич!

– Лица не заметил? – командир поднял глаза на Старкова.

– Нет. Всё время со спины его видел. На голове капюшон.

– Да-а. Задал ты, капитан, задачку. Девчѐ-о-о-нка... Ну ладно, мы тут по-своему поищем. А ты Колесниченко ещё задачу поставь – пусть поспрашивает местных, и в поиск каждую ночь. Давай, Саня, время выходит.

– Есть, командир, – Саня затушил сигарету о каблук берца и вышел на воздух.

Серѐга Колесниченко, как всегда, занимался своим любимым делом – чистил картошку и покуривал. Это, по его словам, как-то успокаивало нервную систему.

– Ого, какие люди, салам, Саня, – старшина приветливо улыбался, – сидай рядышком.

– Здорово, братское сердце, – Старков присел, – давай сигаретку.

Колесниченко вытащил из кармана смятую пачку сигарет.

– Это – последние, Сань, – не привезли. В горах камнепад сошёл, дорогу к нам отрезало. С МЧС сказали – только через пару недель расчистят.

– Эге, и чего же делать нашему курящему брату?

– Табаку тебе отсыплю. Козью ножку умеешь крутить или научить тебя?

– Умею, а бумагой где разжиться?

– Вон смотри – рядом с полевой кухней стопка газет, местные принесли. Бери, сколько хочешь, закончатся – приходи ещё. У меня этого старья навалом.

– Спасибо, Серѐга, – Саня засовывал в карман разгрузки пакет с махоркой, – я задачку поставить тебе хотел – поспрашай местных насчёт пацанѐнка или девчонки бойкой. Видел я сегодня утром призрака этого. На чёрного волка никак не тянет, скорее волчонок. Но бегаёт по лесу – лося обгоняет.

– Хорошо. Не вопрос.

Саня поднялся, чтобы уйти, но почувствовал – недоговаривает чего-то старшина.

– Что-то случилось, Серый?

– Да я тебя, Саня, уже неделю спросить хочу, да всё недосуг как-то, – Колесниченко смотрел в сторону.

Старков снова сел рядом.

– Ну, спрашивай, коли хочешь.

– Говорят: ты за два месяца перед командировкой развѐлся...

– А, вон ты о чём. И что ещё говорят?

– Да видел я твою бывшую пару раз – ничего вроде баба...

– В том-то и дело, что ничего – пустое место, фальшивка.

– Не жалко тебе? Всё ж столько лет вместе...

– Серѐг, самый короткий путь – это путь правды. Как можно жалеть о человеке, который льѐт лживые слѐзы при расставании, пишет лживые письма, составляет лживые дневники, радуется, поѐт тебе песни под гитару – и всё это оказывается блефом? Всё нормально, ни о чём не жалею.

– Как-то невесело ты это говоришь.

– Старшина, ты о сроке давности что-нибудь слышал?

– Ну, мы же с тобой в милиции служим, юристы какие-никакие, конечно, слышал. Знаю, что это такое...

– У каждого преступления, Серый, есть срок давности. У каждого, даже у убийства. Одного только люди никогда не могут простить. Предательства. Видимо, считается, что предать человека или людей, которые тебе доверяют, – самое страшное и подлое. У предательства срока давности нет...

– Всё правильно, Саня, – старшина поморщился, – да я что, Полина Ивановна моя письмо мне прислала из дома, две недели назад ещё. Пишет: видела Санину бывшую, переживает, мол, баба, ты там поспрошай его, может, поостыл малый. А теперь вижу, всё правильно: предателей надо вычёркивать – из памяти, из сердца, из жизни – безжалостно. Всё, закрыли тему. А насчёт пацанёнка я поспрошаю. Сделаю в лучшем виде.

Этой ночью было совсем темно. Луна спряталась за чёрные тучи. Саня посмотрел на небо – тучи по ходу беременные, поутру дождичек брызнет. Хотя как в горах может «брызнуть» дождик, он знал не понаслышке.

«Ну и хорошо, что луны нет, – подумал капитан, – в ночник наблюдать удобнее». И он достал из разгрузки старый добрый «Ворон».

Правда, понаблюдать за селом и обходными тропами не пришлось. Совсем рядом, метрах в пятидесяти, он услышал сначала рык, потом волчий вой, а затем и вовсе леденящий душу крик.

Быстро собрав боеприпасы, взяв, наизготовку, оружие, тихо двинулся на звук.

Осторожно приблизившись, он посмотрел в прореху забора из старых деревянных слег. В глубине двора стояла большая деревянная клетка, усиленная стальными прутьями. В клетке метался человек. Он то приседал, то подпрыгивал, ударяя головой в потолок, то вертелся волчком. Саня посмотрел на него через ночник: человек сел на корточки, поднял голову вверх и завыл по-волчьи. И столько боли и муки было в этом вое, что у Сани пробежали мурашки по спине. А через прибор ночного видения глаза человека сверкнули, как тогда у волка, – раскалёнными угольками.

«Да, в таком состоянии не до диверсий. Вдруг в самый ненужный момент клеммы перемкнёт. И ведь он меня не видел. Спектакль играть не перед кем – зритель отсутствует. Скорее всего, и как на сообщника призраку на него положиться невозможно. Разве я бы взял такого в напарники? Никогда».

В горах откликнулось несколько голосов. Волки выли, приветствуя друг друга. В селе залаяли собаки, заскрипели, открываясь и закрываясь, двери. Пора было сворачиваться. При таком шухере засаду не сделать.

Саня сидел у буржуйки, скручивая козью ножку. Рядом лежала стопка старых пожелтевших газет. Их безжалостно кромсала и рвала уверенная омоновская рука, дровишки попались сырые да сучковатые. Благо бумаги на растопку хоть отбавляй. Со вчерашнего утра шёл мелкий морозящий дождь. Теперь может на неделю зарядить.

«Спортивный вестник Кавказа». Ну что же, прочитаем. Таблицы союзного ещё чемпионата по футболу. Ого, «Заря» (Ворошиловград) – и такая

команда тогда была. И вверху таблицы – хорошо играли, наверное. «Динамо» (Тбилиси), ереванский «Арарат». Саня перебирал стопки газет, иногда прочитывая передовицы, иногда просто бросая газеты в топку.

И вдруг тревога пробежала по его телу, пробежала и занозой засела в мозг. Как будто только что он пропустил что-то очень важное. Саня лихорадочно стал пересматривать прочитанные уже газеты, искал глазами старые таблицы и статьи.

С одной из страниц на него смотрела молодая красивая горянка. «Гордость республики – Аминат Адиева. Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, призёр молодёжного чемпионата Советского Союза». Ну и что? Саня перевернул газету – 21 мая 1971 года. Так это же было при царе Горохе, когда людей было трохи.

Нет, где-то он уже видел это лицо. Миндалевидные глаза, чёрные брови дугой, орлиный нос, плотно сжатые губы. Слева под глазом небольшой, но заметный шрам.

– Серёга, – Саня быстро зашёл в палатку взвода обеспечения.

Колесниченко резко вскочил на деревянных нарах, больно ударившись головой о деревянную слегу.

– Блин, Саня, чего стряслось-то? Пожар, что ли?

– Вспоминай: бабка старая – глаза серые, нос орлиный, рост примерно метр шестьдесят. Зовут Аминат. Знаешь такую?

– Ну, знаю. Приходила пару раз, козу искала. Живёт в крайнем доме на окраине аула, одинокая, неразговорчивая. Да ты куда?

Но Саня быстро выбежал из палатки.

– Малахольный, далась ему эта старуха, – старшина потирал рукой ушибленную голову.

Капитан Старков положил газету на стол перед командиром.

– Это она.

Полковник Макеев отложил в сторону карту и недоумённо смотрел на Старкова.

– Она – призрак.

– Понял. Быстро и по делу.

– Тогда утром в лесу я за призраком гонялся. А встретил её. Она и есть – Кара Борз. Притворилась, правда, старой и дряхлой, но с ней наперегонки побегать – ушатает вусмерть.

Макеев глазами пробежал статью.

– Дневальный! – в палатку ввалился старшина Разов. – А, это ты, боец. Командуй – в ружьё. Сейчас поквитаемся мы с твоим призраком. Только это, Разов, без шума, толкотни и суеты. Понял?

– Есть, товарищ полковник, – и сержант исчез, взмахнув палаточной полой.

Отделение омовцев взяло дом на окраине села в плотное кольцо.

– Товарищ полковник, можно, я её сам возьму? Две с половиной недели по её следам ходил, – Старков с надеждой смотрел на командира.

– Ладно, давай, Саня, как учили. На рожон не лезь, если бабка отстреливаться начнёт – сразу назад. Мы её дом гранатами закидаем. А то мороки потом – вези её в комендатуру, в прокуратуру. Да ещё в доме ничего как не найдём – доказывай потом. Вдруг она всю приبلуду в лесу прячет! Понятно, капитан?

– Понятно, Константин Иванович. Она хоть и осторожная, да только я ей как снег на голову свалюсь. Неожиданно.

– Ну, давай-давай, действуй, много текста.

К дому Саня подполз по-пластунски. Краешком глаза глянул в окно. Занавески плотно зашторены, но в глубине виден свет. Старков аккуратно продвинулся к двери, ни замка, ни засовов на ней не было.

Дверь открылась без скрипа. Саня перенёс через порог сначала одну, потом другую ногу. Посидел в сенях, отдышался, постарался успокоить колотящееся сердце. И, аккуратно открыв вторую дверь, сделал кувырок внутрь. В доме было тихо, только тикали на стене старые ходики. На столе стояла керосиновая лампа, лежала газета, на ней очки и связка волчьих зубов на нитке. Саня перевёл взгляд направо. Рядом с тахтой лежали на полу две противотанковые мины, на них пирамидкой высилась американская противопехотка «Клэймор» и подмигивала ему-то зелёным, то красным глазком.

«На движуху сработает. Не успею», – пронеслось в голове у Сани.

Последнее, что он увидел, – это что мины были старыми и ржавыми, и ещё мамины глаза. А потом сверкнула молния и тишина.

Взрыв внизу в селе ухнул неожиданно. Гордость республики Аминат Адиева – мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, повернув голову, посмотрела с горы вниз. Над селом клубились чёрные разводы дыма. Лицо её, прочерченное морщинами, не выражало ничего: ни радости, ни сожаления, ни печали. На запястье из стороны в сторону болтались чётки из волчьих клыков.

Она поправила лямки армейского рюкзака и уверенной походкой зашагала вверх по горной узкой тропе.

Анна КУЗНЕЦОВА

Родилась в Арзамасе Нижегородской (Горьковской) области. Окончила филологический факультет Горьковского государственного университета, преподавала в Горьковском театральном училище, работала зав. литературной частью нескольких московских театров, в том числе в Малом театре России.

Обозреватель «Литературной газеты», специальный корреспондент телеканала «Культура». Живет в Москве.

Из цикла «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ. Простые женские истории»

ИВАННА

Про Нину

Нина Ивановна сколько себя помнила, всегда была довольна собой. Ей нравилась ее внешность, хоть и не блещущая особой красотой, но миловидная, сразу к себе располагающая. Чистенькая, казалось, только что умытая, волосок к волоску, и ни один не торчит, не выбивается из гладкой прически, с аккуратными ушками, бровками, обычными серыми глазками, но так по-доброму взиравшими на мир, что у всех рядом с ней возникало чувство равновесия, исчезали недовольства и претензии к жизни и друг к другу. Рядом с ней другим становилось спокойнее. И она сама всегда была в ладу с собой. На детских утренниках, а потом на молодежных тусовках и престижных корпоративах Нина никогда не бывала в одиночестве, не подпирала стенки без кавалеров. Она рано поняла, что яркая красота и острый ум, индивидуальность напрягают окружающих, пугают особенно мужчин, вызывают мысли о собственном несовершенстве, а с Ниной, Ниночкой, Ниной Ивановной каждый чувствовал себя умным, нужным, полезным. И выслушать она умела и дать полезный совет, и молча посочувствовать, а главное, она умела это ценить в самой себе и себе радоваться. Редкий дар!

– Ой, как хорошо, что наконец пошел снег... – слышали от нее домочадцы поутру.

Или:

– Мороз пришел... Шубу можно надеть, хорошо!

– Дождик, значит, к теплу, к хорошей погоде.

Сварит себе геркулес поутру и не преминет сказать: «Ой, как вкусно!»

Всё будет хорошо – не думая и не затрудняясь в доказательствах, утешала она уволенного по сокращению штата сослуживца, заболевшую подругу, брошенную мужем жену... И ведь верили ей, и утешались, успокаивались. И была она всем в помощь и в радость. Нина Ивановна служила зримым и нечасто встречающимся подтверждением, что счастливым бывает лишь тот, кто умеет радоваться незамысловатому, самому простому, чьи претензии и ожидания совпадают с собственными возможностями, у кого нет разрыва между желаниями с реальными ресурсами, попросту – кто хочет не больше того, что может.

Нина и карьере делала, может, для кого-то скромную и малоэффективную, но последовательную, упорную и для себя успешную. Выпускница педагогического училища, учительница начальных классов по диплому, она застала хоть и последние советские годы, но успела побывать на комсомольской работе, а оттуда попасть – «на кадры», то есть едва ли не на самое важное по тем временам занятие. Отдел кадров в 80-е годы, где брали на работу и увольняли, был святая святых среди всех других служб, а с Ниночкиным умением располагать к себе людей, с ее способностью выслушивать, уговаривать, гасить конфликты, улыбаться, она стала специалистом-кадровиком незаменимым.

Парадокс, но, как бы поделикатней, ну, как минимум со скромной образованностью и почти при полном отсутствии специальных профессиональных знаний она вдруг на пике перестроечных перемен и новых времен оказалась сначала заместителем директора, а потом... и директором театра, являя собой очевидный знак наступившей эпохи, когда опять же понадобились не столько знающие, сколько удобные, сговорчивые, безоговорочно довольные собой и всем окружающим руководители. Нина Ивановна замечательно совпала с пришедшим временем, оказалась в нужном месте в нужный час.

Она еще была хороша тем, что не знала над собой власти страстей. Бывали у нее мужья, мужчины, но и романы, и семья, и вообще личная жизнь как-то всегда были на задворках главных событий и интересов.

Ее космос оказался в уютном театральном кабинетике, всегда пахнущем кофе, куда никогда не зарастала «народная» тропа, который был полон чужих забот, тревог, радостей и невзгод и где в полном единении с самой собой, в сознании абсолютной самодостаточности жила Иванна. Чистенькая, умытая, улыбчивая, кажется, нестареющая, только как-то незаметно-незаметно, но переставшая быть Ниночкой, Ниной, а потом даже и Ниной Ивановной, хоть официально она так называлась: директор театра Нина Ивановна Никонова, а ставшая в просторечье просто Иванной...

Чем меньше она понимала в профессии, в которой оказалась, тем легче было руководить: для нее не было талантливых и бездарных, ей все нравилось одинаково. Не попал, оказался не нужен Иван Иваныч при очередном распределении ролей в новом спектакле, пришел к ней пожаловаться – она, конечно, попросила режиссера назначить того на роль во второй состав. Постарела бывшая героиня, подкрасим ее, одежем понаряднее, и еще как сыграет. Проблем-то!

Никогда не маялась она лишними проблемами. И всегда была довольна жизнью. Счастливая! А коллектив, которым она руководила, разительно отличался от других таких же, по-творчески всегда «больных» особенными амбициями и самолюбиями, эмоциональной возбудимостью и нетерпимостью друг к другу. «Террариум единомышленников»... «сукины дети»... против кого вы сейчас дружите?..» Так

всегда острят про творческие коллективы. Нет, там, где была Иванна, хотя бы внешне все было спокойно и благополучно: Тихо, тихо, тихо, не волнуйтесь, всё сейчас порешаем, говорила она и – решала. Из её театра и жалобы не шли в вышестоящие инстанции и – боже сохрани! – коллективные письма, сор из избы не выносили. Жили спокойно, мирно.

Но вот однажды...

Театр, которым Иванна тихо, скромно и замечательно бесконфликтно руководила, поехал на гастроли в Волгоград. Это еще в 80-е, когда в местной центральной гостинице поутру появлялись «аборигены» с пол-литровыми банками черной икры и всучивали ее приезжим, по нынешним понятиям, задаром, а те потом жаловались друг другу: ничего-то у меня нет в холодильнике, кроме икры, жрать нечего! И еще были, подумать только, каменный век! – обкомы партии... Директор, как водится, выехала раньше других: обеспечить гостиницы для приезжающих, проверить помещение для выступлений, обеспечить рекламу и продажу билетов, наладить контакт с местным советским и партийным начальством – обычные административные хлопоты! И надо ж такому случиться – поднимаясь в лифте в свой гостиничный номер, всего-то семь этажей... что могло бы произойти? – Нина Ивановна вдруг остро почувствовала, что она не одна, и резко, дискомфортно ощутила присутствие рядом мужчины, его смешанные резкие запахи табака, туалетной воды... пота... Вроде бы никогда прежде не ощущаемый ею запах плоти. Её как жаром обдало. И совсем уж немыслимое, чего и в молодости-то с ней не бывало: напряглись и словно зажали отдельной от хозяйки жизнью груди, жаром запылавало где-то в паху, между ног... Почему-то вверх потянулась рука, взъерошила волосы, как бывало с ней лишь в моменты особенного волнения. Тогда подруги говорили про нее: повело!.. Но чтобы «повело» ее от одного лишь присутствия рядом мужчины, такого она про себя не помнила. Нина Ивановна в мгновение была выбита из привычной жизненной колеи и беспощадно брошена в какое-то новое неведомое ей измерение, в мир беспокойства, тревоги, страха. Она подняла вверх глаза, нависший над ней мужчина показался ей огромным, заполнившим собой всю кабинку лифта, да чего там – всю её вселенную! И еще – безумным красавцем... Может, он и не был на самом деле красавцем, но ей показался античным богом, Аполлоном... Блондин, точеный профиль, чувственные губы... Длинные ноги, и она сама рядом с ним на уровне середины его голубого батника, какой по тогдашним дефицитам был верхом элегантности.

– Вам на какой этаж? – спросил её мужской голос – труба небесная... контрабас... саксофон... не человеческий голос. Глас!

– На седьмой, – прошелестела она.

– Значит, и мне тоже на седьмой, – услышала порозовевшая и замершая от происшедших с ней перемен Ниночка.

И почему-то на седьмом этаже они вышли вместе. И двинулись в одну сторону. И вошли в один и тот же номер – ее... двое незнакомцев, не успевших узнать имена друг друга, мужчина и женщина. Тут же бросились лихорадочно сдирать с себя, друг с друга вдруг оказавшиеся ненужными вещи; по углам полетели её платье, его джинсы и голубой батник, аккуратный чинный гостиничный номер превратился в разрушенное, сданное врагу, искореженное беспорядком пространство, а на смятой кровати два сплетенных, не могущих оторваться друг от друга тела, слившихся в одно и не способных снова разделиться.

– Ты кто? – чуть придя в себя, отдышавшись от очередного сотрясения спросила Ниночка.

– Я вообще-то в филармонии работаю администратором. А сейчас приезжий театр меня нанял билеты им продавать, уполномоченным по распространению. Лёня Дегтярев я. Женат... Две дочери-близняшки... двадцать семь мне... – словно отчитываясь и преодолевая охватившее смущение, представился молодой красавец.

– Да?. А я – Иванна... Ниночка, поправились, Нина Ивановна... Директор приезжего театра.

Было поздно вспоминать о важном для любого начальника правиле – не крутить романы с подчиненными и едва ли не еще более для Ниночкиного покоя важном – не связываться с мужчинами намного моложе себя. В безрассудной страсти, охватившей двоих, было не до выяснения отношений, тем более не до заполнения анкет. Не забыть бы, как его зовут – почему-то мелькнула и тут же исчезла в ней одна только мысль. Да и зачем ей было помнить его имя?! Только одно: не уходи! Могучий первобытный инстинкт, заставлявший орать на крышах мартовских котов, запрыгивать друг на друга собак в любое время, в любом месте, совершенно равнодушных к присутствию окружающих, в мгновения подчинил себе всегда покойную и разумную Ниночку. Не уходи, иступленно повторяла она, и ничего другого, кроме восторга абсолютного подчинения, счастья слияния и неразделенности, полной нерассуждающей свободы, она не ощущала. Какие там доводы разума, мысли?.. Если бы она способна была о чем-либо думать, она бы прежде всего поразила себя самой, впервые за целую жизнь ей было всё равно, как она выглядит, не растрепались ли волосы, не пахнет ли дурно изо рта. Она не помнила себя, ее теперь словно и не было, была только неодошевленная частичка плоти его – ее, общей, единой, неразсторжимой, бездумно счастливой. И все, что было потом, меньше всего расчленилось на вопросы-ответы «надо – не надо», доводы разума и необходимости; только – где он? когда придет? И он приходил каждую ночь, а все остальное было лишь ожиданием его.

Конечно, в театре тут же заметили перемены, новости про то, кто с кем живет, распространяются в творческих коллективах мгновенно. Не успела Нина Ивановна сказать на ресепшен: на четвертый этаж, где был ее люкс, никого из работников театра не селить, кроме Дегтярева (ясно, что он должен был теперь жить не дома, а с ней рядом), как сарафанное радио от одного к другому, от рабочего сцены до заслуженного артиста сделали информацию народным достоянием. Удивительно, но внезапный роман Нины Ивановны как-то даже не вызвал сплетен и пересудов, скорей напугал всех. Сослуживцы притихли и старались друг с другом происходящее не обсуждать. Помолодевшая счастливая Иванна летала по театру, и всё-то у нее спорилось, получалось: в залах аншлаги, пресса спектакли хвалит, артисты довольны, телевидение купило у них четыре спектакля для показа... По итогам получалось, что не один, два плана по всем цифрам и по доходам они сделают. Все происходило теперь по щучьему велению, без ее директорского участия. Она в облаках летала, ей было ни до кого, кроме... Лёни Дегтярева. А уж отказа теперь тем более никто и ни в чем от Иванны не получал. Даже водители, которые привычно появлялись в ее номере по утрам с классическим требованием: клапана стучат, – это значит, они должны были по негласной таксе получить сотку на неотложный ремонт, теперь не слышали в ответ тоже неизменного Ниночкиного: «А не часто ли

они у вас стучат?» – вместо этого сразу же получали требуемое, лишь бы ушли поскорее. И вороватый замдиректора, который никак не мог получить от нее подпись на оплату счетов за рекламу, – она всё требовала от него: «Покажи мне эти щиты», а он всё увиливал, – теперь тоже безропотно получил желанную подпись и деньги. Нового счастья, переполнявшего Ивану, хватало на всех окружающих.

Иванна, превратившаяся снова в Ниночку, словно и не видела посетителей, текущих дел и забот. Она ждала Лёню Дегтярева.

А тут однажды – одиннадцать, двенадцать, час ночи... и дверь открытая, не заперта, и посетители все отхлынули, и дела вроде все решились, и седьмой этаж весь затих... а его всё нет! Телефон не отвечает. Вестей от него никаких... Иванна лежала одна, поперек, на своей огромной кровати и... отчаянно редела. Она даже позвонила, разбудила считавшуюся умной и опытной в контактах с мужчинами подругу-артистку, и та сидела теперь рядом и успокаивала: «Ну куда он денется? Не измылится, придет».

Иванне почему-то в голову не приходило, что с ним могло что-нибудь случиться... Он, конечно же, с бабой, с другой, с молодой и красивой. Жена в происходящих с ней событиях почему-то никогда не участвовала, в расчет не принималась. Вот бог ее, видно, и наказал. Она отняла, у нее отняли... Иванна рыдала по-настоящему, слезами, которые, по ее наблюдениям, давно из нее вообще не текли, а тут – откуда что взялось! И ресницы потекли по лицу, размазались. Увидела себя в зеркале, ужаснулась. Утром повесим на дверях объявление, пыталась шутить и уговорить подругу артистка, здесь плачет одинокая женщина. Найдутся желающие утешить. Откуда слез столько в Ниночке накопилось? Лились и лились. Измученная и измучив подругу, страдальца лишь к утру уснула. А поутру, конечно же, – опять вдруг! Ниночка, Нина Ивановна, Иванна проснулась тихая, спокойная и... счастливая. Беспокойство, ночное безумие, истерика вслед за ночью исчезли. Ей уже было всё равно, где Дегтярев. Как рукой сняло. Сглаз, колдовство прошли. Кризис разрядился температурой в 40 градусов, беспомощностью, но и... закончился. Как бывает с сильной простудой.

Леня Дегтярев, конечно же, пришел... Куда он денется? Явился не запыхавшись. Сказал, как ни в чем не бывало: доброе утро!

Умиротворенная, спокойная Нина Ивановна, лучезарно улыбаясь, приняла у уполномоченного по распространению билетов очередной отчет по продажам, поговорила с ним о предстоящих делах, отпустила, сказала: «Свободен». Он не сразу почувствовал перемены. Но новые нотки в голосе услышал. Посмотрел на нее с удивлением. Она явно отпустила его не до ночи. Насовсем. И, не зная, как по-новому вести себя, не посмел заговорить об их общем, ночном, личном, принял новые ее условия. Улыбнулся. Простился. Вышел.

А Ниночка снова была довольна собой. Как же хорошо, что я не разучилась плакать, что я еще способна плакать из-за мужчины, что я живу, волнуясь, страдаю. Значит, жива моя душа, думала она. И Бог помнит обо мне, грешной, и посылает мне новые переживания. И они мне по силам. Отмоюсь. Покаюсь. Какой же она была мастерицей других утешать, и на себя хватало! Болезнь прошла, Иванна снова радовалась. И была счастлива. Нет, все-таки лучше жить без счастья, если за него надо платить переживаниями и потрясениями.

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Про Татьяну

Сегодняшний день обещал быть удачным. С утра, вставляя голые ноги в старые тапочки, Татьяна вдруг увидела на покрывающем пол ковре в спальне чуть поблескивающую маленькую сережку. Нашлась! Черт поиграл-поиграл и вернул. Играл долго. Года два, наверное. Татьяна считала, что потеряла ее навсегда. Хорошо, что другую от пары сережку не выкинула. Хранила старую молнию, один от потерянной пары носок – вдруг пригодятся! И пригождались. Юбка вышла из моды, шерстяная кофта от стирки села – Татьяна их все равно в дальний угол засовывала. На всякий случай. Всегда ругала себя за это. А вот сегодня похвалила. Хороший день!

Она вообще никогда ничего не выкидывала, к вещам привязывалась. Это у нее было от бабушки, а у той – от военного детства, Татьяне досталось генетически. По исчезнувшей сережке скучала, иногда вынимала оставшуюся, рассматривала крошечные золоченые цветочки на серебре, такие умели делать только в Великом Устюге, там она их когда-то и купила. Путешествие на Вологодчину было незабываемым на всю жизнь: маленький белоснежный Кремль, полуразрушенное Ферапонтово с потемневшими ликами Дионисия, храм и двор Кирилло-Белозерского монастыря, самого большого в России наряду с Соловками и Сергиев-Посадской лаврой. На память она там купила местную достопримечательность, сережки с колечком. Нет, сегодняшний день, отмеченный возвращением любимых, обязательно будет счастливым. Ведь сколько раз убирались в спальне, пылесосили – не было тут сережки. А вот пришла.

Татьяна с каждой вещью в доме общалась, разговаривала. У них, как и у нее, бывали разные настроения, дурное и радостное, свои отношения. Людей в доме не было, кошек, собак не было, а цветы, вещи разговаривали. Однажды ни с того ни с сего на подоконнике упал один из цветочных горшков, Татьяна поняла – требует полить пощеднее, а лучше пересадить... Или кухонная полка с грохотом упала, но ничего не разбилось, значит, иди, Татьяна, к мужу на кладбище, новости его, он соскучился. В Рождество она вернулась со службы из храма, а на стене под дочкиным портретом – слеза стеариновая, хотя никаких свечей нет поблизости, они в храме были. Оказалось, это был знак, предупреждение – через месяц дочка, молодой и красивой, не стало, инфаркт...

А сегодняшний день обязательно будет хорошим. И кофе сегодня не убежало. Каждое утро, хоть Татьяна и стояла рядом, она обязательно прокарауливала его, потом приходилось плитку тереть, сегодня же все было правильно. В честь хорошего дня Татьяна решила принарядиться,

шубу новую надеть; не пропадать же добру! Недавно купила. А то она как-то заметила, если пожилой человек, значит, обязательно на нем длинная до пят норковая шуба, землю подметает. Недавно была в санатории, первый раз в качестве пенсионерки, так там все в одинаково длинных норках, и кошек кормят, теперь это была для нее картина старости! Зачем новое покупать? Старого носить-не переносить... В знак протеста купила себе Татьяна шубку, маленькую, коротенькую, как молодежь носит. Молодит! Татьяна недавно стала пенсионеркой и очень радовалась свободному времени и возможности, как она говорила, пожить для себя...

Устрою-ка я себе Татьянин день – решила она. Ничего-то у нее сейчас не болело. Две любимые сережки в ушах. Коротенькая модная шубка. Из стриженной норки, да еще волком отороченная. Никто и не подумает, что я еще совсем недавно на стройке вкалывала... Возьму и мороженое сейчас для полного счастья на улице съем! Хотя, если уж совсем быть с собой честной, то больше всего она любила ездить по Москве... на трамвае. Чем маршрут длиннее и едет трамвай медленней, тем лучше! А тут она услышала, что снова пустили от Подбельки до Белорусского вокзала 7-й маршрут. Надо проехать, посмотреть! 40 минут туда, 40 минут обратно – красота! Лучше, чем на такси...

Совсем по-новому стало на старой Тверской заставе, уютный старый писатель Максим Горький посерединке, говорят, это он революцию устраивал (никогда не подумаешь, мирный человек с усами), и вокруг – машины, трамваи, люди, ей теперь надолго хватит в глазах этой толпы. Вышла из трамвая, решила продлить удовольствие – еще на автобусе по Тверской для разнообразия проехать. Вернулась снова на трамвай, теперь уже до дома. Проехала мимо новой мечети. Какую огромную отгрохали! Соседка по сиденью сказала, что здесь лучшую в городе баранину продают. Где бы еще так хорошо поговорили, как в трамвае... Она сказала, что не будет за Грудина голосовать, он миллионер и олигарх... А продукты, сказала, дешевле всего в «Дикси» покупать... А в парк «Сокольники» по-прежнему пожилые на танцы ходят... Трамвай – источник знаний!

Татьяна сегодня целый день жила и радовалась. Еще у Белорусского объявление увидела, в Римини тур предлагают автобусный на неделю всего-то за 14 тысяч. Только надо паспорт заграничный сделать. А деньги сэкономить, накопить можно... Конечно, дни бывали всякие, и плохие тоже: поясница болела, давление до двухсот прыгало... Но сегодня-то все было хорошо! Онова живем! А вечером опять про Джигарханяна показывали. И старую жену показали и молодую. Конечно, молодая лучше, правильно, что квартиры оттяпала, плати, старик, за молодую... Хорошо прошел день. Каждый бы день так!

Евгений АЛЮТИН

Родился в городе в 1954 году в Горьком. Окончил Ленинградское высшее военно-инженерное училище связи, Московскую военно-политическую академию имени В.И. Ленина. Служил в различных офицерских должностях, в Группе советских войск в Германии, в Одесском военном округе, в Херсонской зенитно-ракетной бригаде.

Работал на Нижегородском машиностроительном заводе. Автор поэтического сборника «Это лунность, открытая слишком» и многих газетных и журнальных публикаций. Живет в деревне Жуковка Нижегородской области.

МУДРЫЙ ВОРОБЕЙ

*В день памяти преподобного чудотворца
Серафима Саровского, моей дочери посвящаю*

На улице стоят рождественские морозы. Сегодня 15 января. День короткий. Ветер колючий да шальной свещет. Сидит старый воробушек, голову склонил, на самой тоненькой веточке. Один глазок у него приоткрыт, сам напыжился, надулся, как шарик шерстяной. Холодно воробушку, хоть он и сыт. Сыт, потому что опытный, а опыт-то великое дело. Тут семечко нашёл, а здесь у голубей неповоротливых стащил.

Надо, ой как надо на ночь местечко потеплее найти. То ли дело летом! Одна баба тут по лету цыплят держит, ох, злая! Ну да, взял я из её кастрюли каши чуток, сколько в мой клюв-то входит! Так она давай меня веником гонять, да вдогон его кинула. А её глупые курята, тоже мне птицы, всю кашу влёт по земле разбрызгали. Да давай лапищами по ней, по пище-то! Нечего с них брать, жизнь их коротка, ума не наберутся. Одним словом, куры-дуры! А когда их, неразумных, в клетку вечером загнали, тут я потешился. Припомнил, как они за мной по двору гонялись, сел сверху на решётку и всё высказал! А потом туда и... О чём и жалею – возраст почтенный, а я всё шалю.

У той бабы был дедок. Цыплят он не кормил, но в клетку похаживал, всё бутылочки какие-то прятал. Так та баба его тем же веником, тем же веником, как меня, гоняла! Похоже, прихлопнула, не видно дедка. Жалко мне людей, бескрылые!.. Были бы у деда крылья, спасся бы или хоть жил в клетке вместе с цыплятами. Видал я таких особей! Всё повторяют за хозяевами, в рот им смотрят с пристрастием, и всё за кормёжку, за кормёжку! Зовут их попугаями.

А я птица вольная, в клетке не живу, хоть и живём-то мы, воробьи, всегда с людьми по соседству.

Нечему у них учиться! Дедок тот ранее в другом скворечнике жил, с другой бабкой, а у меня моя Чирика одна на всю мою жизнь воробьиною. И выводков своих желторотеньких мы не бросаем, из рогаток не стреляемся. Вон как до сих пор болит моё левое крыло, подстреленное внучком бабкиным из рогатки.

Эх, скорее бы весна! Солнце загреет, трава зазеленеет, я каждое утро буду радостно распевать своей Чирике: «Радость моя!» Берёзы, тополя и черёмухи распустят свои клейкие, пахучие листья, и мы с моей Чирикой начнём готовить гнездо для новых выводков. И всё-то нас будет устраивать в этой жизни, потому что довольны тем, что имеем. Корму хватает, а лишнего, про запас, нам не надо. Да только они, люди, не перестанут обманывать и мучить себя и друг друга, гоняться и убивать венниками, пулять из рогаток. Наверно, люди считают, что главное не эта Божья красота мира земного, данная для всех существ, красота, располагающая к согласию и любви, а главное – это то, что они сами выдумали: побольше запасов накопить в своих скворечниках, послаще поесть.

Переживём зиму-то, чай скоро весна!

Опа! Девчонка печенье уронила! Не зевай! Пошевеливайся! Бери с подлёта!

Эх, молодёжь!

Поэзия

Бахытжан КАНАПЬЯНОВ

Казахский поэт, писатель, переводчик, сценарист, кинорежиссер. Родился в 1951 году в Кокчетаве, Казахская ССР. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина, Высшие курсы сценаристов и кинорежиссёров в Москве, Высшие литературные курсы Литинститута им. М. Горького.

Автор многих книг поэзии и прозы, вышедших в издательствах Казахстана, России, Украины, США, Великобритании, Канады, Кореи и Малайзии на более чем 20 языках. Основатель и президент первого в Казахстане независимого издательства «Жибекжолы».

Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Член правления Союза писателей Казахстана, член казахского и русского ПЕН-клубов. Академик Крымской литературной академии.

Живет в Алма-Ате.

...ИЗ КНИГИ БЫТИЯ ГЛУБИННЫЙ ЛЬЕТСЯ СВЕТ

* * *

Пришли неизвестно откуда,
Уйдем неизвестно куда.
Последняя выбита ссуда
На смутные эти года.

Быть может, к последнему морю
Выводит дорога судьбы,
Где к звездному тянется рою
Блаженная пыль ворожбы.

Мне слово мое нагадали
На строчках святого шитья.
Мелькнула цыганкою в шали
Бездомная муза моя.

И, прячась строкою в дискету,
Проступит на той стороне
Тот образ, что виден поэту
В небесном предутреннем сне.

Тюльпаны

Упруги,
Быть может,
от влаги,
Но лепестками
лакмусовой
бумаги

Краснеют
В растворе
Воздуха
От ласки
Озябших
Рук.

Мертвый сезон
В доме отдыха.

Горы.
Тюльпаны.
Юг.

* * *

Я помню то оцепененье,
Когда змея в полдневный зной
Как бы на вечное мгновенье
Вопросом встала предо мной.

Не отскочить и не свернуть,
Я стыну камнем на тропе.
И чем закончится мой путь,
Я чувствую, оторопев.

Но путь змеи в каком-то метре
Прошелестел, как будто ветер.
И взгляд, остекленело жгуч,
Исчез в граните горных круч...

Среди листьев

Я не знаю,
Что за птица,
Птица
Крыльями прошелестела.

Или,
Может, это листья,
Листья
В кроне прячут ее тело.

А она
Не хочет, птица,
Птица,
В кроне лиственной гнездиться.

И крылами
В плену листьев,
Листьев
Машет, машет то и дело.

* * *

Ночная электричка,
Вне расписанья путь.
Тьму озарила спичка,
Обозначая суть.

Пройдя жилую зону,
Мне суждено сойти.
К небесному перрону
Все сходятся пути.

* * *

Даже если душа прикорнула, как спящий ребенок,
Несмотря ни на что, это тихое чувство живет.
И влечет меня вдаль по невидимой тропке спросонок,
Хоронясь где-то там, где-то там от нелепых забот.
Кто зажег его, кто заслоняет от сонма событий?
Вне политики, вне демонстраций и митингов вне
В эти смутные дни встрепенется серебряной нитью,
Одичалой листвой затрепещет в раскрытом окне.

После заката

Мне неведомо, кто разжег одинокий костер вдалеке,
Мне также неведомо, где усталое солнце садится,
Мне бы понять, что ветер-пастух к притихшей выходит реке
И что черные крылья расправляет над берегом птица.
Что тень этих крыльев небесных ложится вдали меж холмов,
Вновь настигая отару, плывущую вдоль по ущелью,
Что дышит ночная прохлада в раскрытые окна домов,
Спящую тронув листву, замирает над детской постелью.

* * *

Когда я заплакал однажды во сне,
Волшебное слово промолвили мне.
А утром я вспомнить то слово не мог,
Мне мать отвечает:
– Не знаю, сынок...

Волшебное слово для близких людей
 Мерещится рыбкою в неводе дней.
 Когда засыпаю – в ночной тишине
 Опять это слово приходит извне.
 А утром не вспомнить, найти не могу.
 Один только вздох, что не вставить в строку.
 Как будто бы ношу сын принял из рук:
 Всплакнул он во сне, заворочался вдруг.
 Заветное слово пройдет ли сквозь сон?
 А если пройдет, то запомнит ли он?

Мальчик

И как по тропинке мальчик бежал, по забытой тропинке,
 И как по арыку плыл лист пожелтевший,
 лист пожелтевший,
 И как по дороге, впрягшись в телегу,
 шла лошадь понуро,
 И как по щеке слеза пролегла, на губах горький привкус.
 Высохли слезы, сгнил лист пожелтевший,
 а мальчик остался.
 Птицы исчезли, скрылась лошадка, а мальчик в матроске
 Стоит на обочине детства, взглядом меня провожая...

* * *

Звезда молчит со мной наедине.
 Волна спешит, спешит волна к волне.
 О волны, волны, вы по звездам сверьте
 Необратимый этой жизни путь.
 Он далеко за морем где-нибудь
 Соприкоснется с горизонтом смерти.

Плывут облака

*О ветер, ветрило, чему, господине,
 веешь навстречу?*

Плач Ярославны

Выйду из поезда – степь на все стороны света.
 И – на земные края облака, облака оседают
 И до синевы приподнимают эти земные края,
 Стрелочник с сыном, клин журавлиный и молчаливый сурок,
 Связи едины, незаменимы – вместе и в каждом живут.
 О ветер, ветрило, чему, господине, веешь навстречу?
 Горькую горечь джусана вдыхая, кану я за холмом.
 И ветер развеет, как горсточку проса, мысли в пространстве,
 Многовековая странствует стая – крылатые мысли.
 – Скифы, спешите видеть того, чье слово было законом! –
 Ветер возгласы носит из небытия, пали оковы.
 Земля плачет древней травую, рельсы плач в бездну уводят.

Веселые птицы садятся на шпалы – и умирают.
По левую сторону я ухожу – и слышу стук сердца.
На правую сторону перехожу – спит балбала* с чашей.
И птичьим крылом я ладони сложу – и линию жизни
Вижу в ладони – будто с рожденья храню нить Ариадны.

* * *

Вздыхнув, смахну слезу, невидимую миру,
И сквозь людской поток я побреду туда,
Где ветерок любви озвучивает лиру,
И в сети леса в ночь моя плывет звезда.
Мне в сказочном лесу никак не заблудиться,
Я улыбнусь тому, чему названья нет.
И листья шелестят,
И шелестят страницы,
Из книги бытия глубинный льется свет.

* Каменное изваяние.

Геннадий ЁМКИН

Родился в 1961 году в Сарове Горьковской области. Окончил Лукояновское физкультурное педагогическое училище и Арзамасский педагогический институт. Воевал в Афганистане. Преподавал в школе, работал инструктором по спорту, лаборантом, техником, инженером, кочегаром, дворником, таксистом, плиточником. Был частным предпринимателем.

Автор поэтических сборников, публикаций во многих изданиях России, а также Казахстана, Болгарии, Беларуси, Германии. Лауреат премий журнала «Русское Эхо», Нижегородской писательской организации за лучшую поэтическую книгу 2014 года. Член Союза писателей России. Живёт в Сарове.

ЦВЕТЫ! Я ВАМ С РОЖДЕНЬЯ ДРУГ...

Самый-самый летний день

Почти забыл, что так бывает –
До полудня, лелея зной,
Он дух смолистый набирает
И земляничный дух лесной.
Зелёнкой мазанный на ранках,
Он среди прочих, кто подрос,
Летит с откоса на тарзанке,
Он – голенаст, вихраст и бос!

Берётся к вечеру за дело
(Когда свежей, синее чуть) –
Сгущает краски до предела,
Что можно кисти обмакнуть, –
Пройтись над лесом краской алой,
Слегка затронув облака,
Так, чтобы сонная река
Их до деталей отражала,
Необожжённые пока...
Затем уже и тёмно-алым,
А синь – до черни загустить,
До бархата...
На нём пристало
Из первых – звёзды разместить.
И что бы месяц тонкий плыл,
И что бы...
Чтоб не наглядеться!
...а мне казалось, что забыл
Тот самый-самый день из детства.

Купава

1

Цветы!
Я вам с рожденья друг,
Я не играюсь этой ролью.
И потому любой испуг
Ваш принимаю с крайней болью.
Всегда улыбки вам дарю.
Идите, лютики и кашка!
Ну что сторонишься, ромашка?
Я сроду чувства не таю.

И вы живите так всегда,
И не стесняйтесь веселиться.
Я стану приходить сюда,
Чтоб с вами радостью делиться.
Я и сейчас сказать готов,
И прежде говорил вам тоже,
Что среди прочих всех цветов,
Мне скромные всего дороже!

2

Я вот запомнил сон один:
Цветком мне выпало родиться
Неброским, скромным полевым,
Чтоб в человека превратиться.
А в мире на таких сейчас
Идёт охота, гон идёт!
Скажите, нет ли среди вас,
Кто видел сон
Наоборот...

Ну что, качая головой,
Вы проситесь ко мне в объятья?
Конечно я любому – свой!
Вы все друзья мои и братья!

Живёте выше суеты.
Да вас и сиверко не студит!
Но вот скажите мне, цветы,
А вы не слышали о чуде?
Быть может, кто когда-то вам
Напел: «Давнишнею порою
Здесь парень с девушкой одною
Смеялись, радуясь цветам!»

Шумят:
– О, сколько было их!
И все прошли, смеясь, играя...
– Не говорите о других!
Она одна была такая!

Ну что, кивая головой,
Вы снова проситесь в объятья?
Конечно я любому свой.
Но я прошу вас, вспоминайте!

3

Семнадцать лет...
Июнь в цвету...
Живая будто бы картина.
И звать единственную ту
Волшебным именем –
Марина...

Всё было много лет назад;
Сгущенье красок, тихий вечер...
Волшебно – жить и забывать,
Что кто-то есть ещё на свете...
Идти по полю до конца,
А поле длится, длится, длится...
И светлый локон у лица,
И невозможное случится
Уже вот-вот...

...она просила,
Освобождая локоток,
Ну что ты... нет...
И теребила,
Смущаясь, светлый завиток.

Закат горел что было сил.
Но сил и красок стало мало.
И тёмно-синий цвет сдавил
Его до кромки узкой алой.

И тихо...
Словно мир родился...
Но не придуманы слова...
И только локон шевелился,
Дыханьем движимый едва...

4

Я рад, что с вами здесь стою,
Душица, мята и цикорий!
От вас ни капли не таю,
А вспоминаю про такое.

Об этом с кем и говорить...
На люди это не выносят.
За это нынче станут бить!
И потому все маски носят.

И только вам
Скажу сейчас,
Что в этом мире я на грани...
А в самый рост и в самый раз
Мне с вами, лютики, герани.

А там –
Неладное вокруг,
Любой себе – оракул, лидер!
Мои цветы! А всё же, вдруг,
Вот ту, из чуда, кто-то видел?

.....

И увели цветы меня
На луговину у дубравы.
Где долго любовался я
На скромные цветы купавы.

Гармонь

Заиграй, гармонь, попробуй
Так всё дело повернуть,
Чтоб свободой, чтоб тревогой
Обожгло сегодня грудь.

Пусть вразбродочку по кнопкам
Бросит пальцы гармонист,
Словно щупает молодку,
Снизу вверх и сверху вниз!

Чтоб ему не удержаться -
Пиджачок кургузый – прочь!
Чтобы соколом держаться,
Чтобы – гоголем всю ночь!

Чтобы – свадьба пролетает,
Кони – ветер рвут сильней,
Ветер с пеной отлетает
И со ржаньем бошь саней!

Чтоб Катюша и Наталка
Переплакивали всех,
Мол, княжну в шальварах жалко,
А рябину жальче всех!

Чтобы с выходом, с заходом,
Каждый парень – молодцом!
Перед милой и народом
Не ударил в грязь лицом!

Чтоб, когда вздохнув устало,
Скинет лямки гармонист,
Ты ещё ярей играла
И под топот, и под свист!

Чтоб, когда на небе чистом
Звёзд рассыплется обоз,
То девчата гармониста
Не смогли делить без слёз!

Пусть, где надо, понимают –
На Руси во всю живут!
Девки все как есть – рыдают!
Парни, все, как есть – поют!

Плясовая

Ох! Ох! Ох! Ох!
Расходился пляс по избе у нас,
Расходился, расплясался, распоясался!
Выгнут пол дугой! Каблуки долой!
Даже плохонька старушка топает ногой!

Ох! Ох! Ох! Ох!
Девки так идут, словно бисер шьют,
Раскраснелися, ресницами захлопали.
А ребята вслед, ой – рубахи в цвет,
Выступает каждый голубем да гоголем.

Ох! Ох! Ох! Ох!
Ты лети, мой чуб, да улыбка с губ,
Чтобы вдовушке, вон той, не загрустилося!
Чтобы, чуть дыша, тоже павой шла,
Да от слова озорного в пляс пустилася!

Ох! Ох! Ох! Ох!
Даже старый дед, за сто с лихом лет,
У которого одна нога не хаживат,
На печи сидит, на гульбу глядит,
А другу-то живую-то – налаживат!

Ох! Ох! Ох! Ох!
Расходился пляс по избе у нас,
Хоть дубова дверь, кажись, и той не выдержать.
Расходился вон, что – во двор гармонь!
Да и там не задержался, вынес изгородь!

Ох! Ох! Ох! Ох!
Пол повыгнут весь. Каблуков – не счесть!
Только старый со старой, по окнам щурятся,
Пляс туда ушёл, где фонарь нашёл,
И к утру, гляди дугой-то выгнет улицу!

Софья АЛЕКСАНДРОВА

Родилась в 1997 году в Воркуте. С 2004 года живет в Нижнем Новгороде. Сервис-инженер в компьютерной фирме.

Публиковалась в журнале «Светлояр русской словесности», альманахах «Слово», ««Полдень. XXI век»», журналах «Нижний Новгород», «Дружба народов». Дипломант III и IV слётов молодых литераторов России в Большом Болдине (2016, 2017).

МНЕ НЕ СКРЫТЬСЯ ОТ БЕШЕНЫХ ЗВЁЗД...

* * *

Мы срубили не дерево – нейросеть,
 Алгоритм стремления к небесам.
 Наломали веток. Смогли посметь.
 Развели костёр. Понимаешь сам.
 До беды я ютилась в твоём ребре,
 Но уже наполняют слова Грааль.
 Иглы русой хвои горят в костре,
 Изгибаясь в огненную спираль.
 Говори: слова прогоняют ночь,
 Увлекают в сторону, как лыжня.
 Иглы хвои (и я не могу помочь)
 Догорают. Поэтому ты меня
 Не боишься; не смотришь в сырой туман;
 Не полюбишь, не дашь поддержать руки.
 А потом наступает анжамбеман,
 Срыв системы, падение
 С полстроки.

Молитва

Не касайся прокуренных спален,
 Неопрятных советских шкафов,
 Вид которых стыдлив и печален...
 Отступись от моих стариков.
 Он её величает убогой –
 Не из жалости. Из-за любви.
 Слышишь, Боже? – обоих – не трогай,
 В райский сад погостить не зови.
 Не польстится беззубая Ева

На Твои восковые плоды,
 Что свисают с фальшивого древа, –
 Ей достаточно скудной еды,
 Недомытых кастрюль и тарелок,
 Двух конфорок чадающей плиты.
 Их мирок неопрятен и мелок:
 Он растит на балконе цветы –
 Для неё – ноготки, маргаритки;
 И балкон недалёк от небес...
 Но какие же ветхие нитки
 Держат их где-то здесь? И не здесь...

* * *

Под откосом – ветшают лодки, чахнет хмель, тарахтит паром.
 Замерев, ощущаешь тяжесть плодоносного бытия:
 Утомлённо сползает в воду отсыревший рыбацкий дом;
 И на пристань приводят тропы, вьётся всякая колея;
 Груша катится по обрыву, осыпается вслед песок,
 Поплавком, потерявшим леску, неуклюже плывёт она,
 Подставляя речному ветру то зелёный, то красный бок;
 Неизвестно, в котором устье прорастут её семена...

Приезжай. Отыщи распутье, где впадает в тропу тропа.
 Сядь, к божнице спиной прижавшись. Год спустя под слепым дождём
 Стены ввалятся внутрь часовни – бесполезная скорлупа,
 Потому что речному ветру, как и ливню, не нужен дом.

Домик Каширина и далее

Приземистый одноэтажный дом.
 В углу за печью светятся иконы.
 Так принято – с усилием, с трудом –
 Работать, жить, в согласии с покоем
 Плести судьбу, как кружево плела
 Улыбчивая бабка Акулина;
 И Сергиевской церкви купола
 Круглились, будто ягоды рябины;
 И высилась Гремячая гора;
 Произрастали прутья новых розог;
 По Ковалихе младший столяра
 Бежал куда-то – босоног и розов;
 Холера, оспа... Что его спасло?
 Искромсанные жития и святцы?
 Стремление существовать назло,
 Как говорил он сам, «не соглашаться»?

Почтовый съезд. Одноэтажный быт.
 Сквозняк волнует простыню худую.
 Горбатый город. Здесь всегда знобит,
 Болит, горчит и отовсюду дует.

О сотворении мира

Хмель одиночества и горький лох свободы,
И чистотел пути... не проросли в душе.
В отсутствие души покрылись ряской воды.
Гнусила глухо выпь в колючем камыше.
Сосуд на дне блестел сакральным алым знаком,
К его бокам простёр ладони юный грек
И был за белый перст ухвачен древним раком –
Хранителем воды. Всё начиналось с рек.

Большая рыба-кит гналась за малой рыбой,
Пугающе раскрыв свой острозубый рот
(Сицилия и Кипр, Багамы и Карибы
Творились в этот час из туфовых пород).
Большая рыба вдруг подумала: «А всем ли
Быть жертвами дано?», несчастного ерша
Преследовать забыв. И бросилась на землю.
И трепыхалась в ней бессмертная душа.

* * *

1

Болтливый попутчик царапнет вопросом: откуда?
Запахнет рекой, и следы на песчаной косе
Отчётливо вспыхнут (и я ничего не забуду).
Невнятно проямлю: «Оттуда... Оттуда, как все».
Попутчик сойдёт. Поезд встанет – горбатый и длинный.
Прислушаюсь – ухнет сова, зачирикает клёст.
Привидится дом, обрастающий мхом и малиной.
Спустишь на перрон. Мне не скрыться от бешеных звёзд.
Они копошились в колючей траве сеновала,
Цвели в волосах, безуспешно стучали в окно
Соснового дома, где время меня целовало...
Но это случалось нечасто и очень давно.
Окно потускнело. Дождями испорчено сено.
Идут злые люди, снимают со стен образа.
Калина снежит лепестками и ночью и денно.
Под старым амбаром живёт золотая гюрза.
Откуда я? – знаешь, из этого светлого бора,
Из сирой деревни (она нежилая, ничья),
Где выюн и полынь прорастают сквозь рёбра забора,
Где жизнь притаилась, как та золотая змея.
В косящихся срубах – античность особой природы.
Природы, простившей эпоху, разруху, золу.
В пространстве размешана сладость гречишного мёда –
Его погрызи, как еловую любишь смолу...

2

Прореха-тряпё громоздится на тёмных полатях.
Пылятся и преют полатей дощатые лбы.

На них я храню сокровенную память о братьях,
Сметённых из жизни, как мусор из красной избы.
Их что-то вело по просёлкам и насыпям въяве –
К лохматым девицам, во взрослую клубную стынь.
Допился. Убили. Был болен. Разбился на «Яве».
И вместо маслят у дорог вырастали кресты.
Веселье пропало, как пена с дешёвого пива –
Во рты не попало, по пьяным улыбкам стекло.
На кладбище – щебень, песок, золотарник, крапива –
Лежится под ними спокойно и даже тепло.

3

Мне было четыре. В деревню заехал «Фольксваген» –
Блестящий, нарядный и – боже ты мой! – городской.
Открылось окно. Юный принц, преисполнен отваги,
Чихнул, осмотрелся и сопли размазал рукой.
Мой рыцарь! Царевич! Влюбилась в него с полувзгляда,
Он мне подарил у обочины росший цветок;
Ходила за ним по пятам и, когда было надо,
Царевичу свой носовой подавала платок;
А он мне протягивал розовый клюквенный пряник;
Случались в то лето и солнце, и бешеный град;
Всё кончилось в августе: мой благоверный избранник
Был бабушкой подло отправлен не в мой детский сад.

4

Когда я умру, подари меня полю ржаному,
Отдай меня дому, в ладони берёз положи.
Дожди и снега обесцветят ржаную солому,
Из окон чердачных начнут появляться стрижи.
Вручи меня лесу (его назови моим крёстным),
Опушкам, заросшим орехом, лозой, бузиной,
Согбенным дубам, шелушащимся елям и соснам,
Которые лучше, чем люди, присмотрят за мной.

Екатерина СОЛДАТЕНКО

Родилась в 1975 году в ГДР в семье офицера. Окончила среднюю школу в Ташкенте, Ростовский государственный университет. По образованию филолог, работает учителем.

Живет в Ростове-на-Дону.

ДО СВЕТА ЗВАТЬ ЖИВЫХ...

Скорбь сильных

Пока нет сил на вдох и времени на слёзы. Проходит рядом смерть, толкнув тебя в плечо, и тут ты узнаешь: Россия не берёзы, не маленький флажок, не купол золочён.

С распахнутых небес – бессмертной из симфоний – блокадный Ленинград глядит на вставших в строй. И миллионы рук спешат прижать ладони к пораненной душе далёкого метро. Пока летят звонки: «Живые? Тула с вами». И Грозный. И Ростов. Кубань. Сибирь. Урал.

Ты знаешь: лишь на миг от боли Питер замер, но смерти вопреки ещё сильнее стал. Он снова стал таким, что шарик неохватный иную скорбь познал, оплакивая век.

...А питерцы вели,
везли домой бесплатно,
кормили,
обнимали
и звали на ночлег.

Ломкие

Всё, сестрёнка, карусель сломалась. Натягалась – порвано внутри. Всё застыло. Это не усталость, это смерть, серпом ее едри. Так и ходит по пятам, кудлата, чуть в задумку – разевает пасть. Помнишь, как тянули мы комбата, а она от смеха вся тряслась? Помнишь, как блиндаж накрыло миной? В две руки суглинка нагребли. Эта дрянь сидела с боковины и кидалась комьями земли. Помнишь, как боец с гангренгой выжил? Отвлеклась она на сбитый Як...

Я её давно, сестрёнка, вижу. Кровью пахнет, мать её растак. Серая, с запавшими глазами. Знает, сука, всех наперечёт.

Нынче наступление, сказали. Двух допру, и хрен с ней, пусть берёт.

Ты давай не озоруй в героях, жил не рви – мы ломкие внутри.

Я ещё собой кого накрою.

Пусть стервеет, мать её едри.

Люди идут

Хакимыч чистит двор. Сосредоточен. Метлу по прутыку собрал – метет метла. Хакимыч вспоминает мать и дочек.

...Весна. Рассвет. С щербинкой пиала. Цветет айва, арча в чапане новом. Зумрад отцу заваривает чай. Чарвака чаша цветом бирюзовым наполнена по каменистый край. Мотаает конь атласной длинной гривой. Надел медали Ёдгор-инвалид...

Хакимыч чистит двор неторопливо. А дом уже проснулся и спешит. И скоро буркнет, мимо пробегая, душист, как дыня, вымыт, как кишмиш, хозяин темно-синего «Хёндая»: «Не видишь, люди ходят? Чо пылишь?»

А днём – в одном строю. И так похожи они на дедов! Как с копирки, блин! Ведь капитан Хакимов с другом Лёшей не зря за Вислой где-то полегли.

Не зря они погибли там, под Краковом.

Не зря и фотки были одинаковы.

Жива

Не плачь, солдат! Ты видишь, я жива. Не трать бинты. Оно само, до свадьбы... А спиртом только портить – заливать. Давай за мир! И выше не летать бы!

Прикинь, когда рвануло... (Ты не ржи – про голых баб, летающих по небу.) И так легко сложились этажи, запахло кровью и горелым хлебом. Мгновение – руины и зола, во рту – песок, а ноги – как тисками. Соседка всё хрипела и звала, а я скреблась, как мышь, сквозь битый камень. Хотелось напоследок свет дневной на миг увидеть – пожалел Создатель. Оставь-ка ты мне спирта, дорогой. Да нет там ног, не суетись, солдатик!

Травень

*А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены.
Просытаемся мы...*

Р. Рождественский

Возвращайся. Без тебя
в мае
По степи дожди гурьбой
бродят.
«Тільки травня тут
і немає...» –
«Только нам не надо двух
Родин...»
Не поют уже твои
внучки –
Сад в цвету, а им –
не до песен.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия – за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012).

Живёт в Коктебеле.

НЕ СЛУЧАЙНО Я ВСПОМИНАЮ

1

Силуэты и тени. Люди – те, кто живы, и те, кого нет на свете, но для меня все они, безусловно, живы, пусть и в памяти, потому что живо то, что создано ими, и останется это надолго, а возможно, и навсегда. И над каждым из них восходит в небесах, неизменно ясных, а поэтому и прекрасных, и сияет его звезда.

Силуэты и тени. Звук, очертивший незримый круг, ставший музыкаю земной, той, что рядом всегда со мной.

Силуэты и тени. Свет, из далёких пришедший лет на страницы мои, чтоб вновь закипала, как прежде, кровь.

Силуэты и тени. Лад, выше башен и всех оград, крепче стен и мостов, сильнее всех ненастных минувших дней.

Кто откликнется мне теперь?

Не закрыта для встречи дверь.

И распахнуто вновь окно.

Что же было – тогда, давно?

Что же стало родным почти?

Всё, что смысл обрело в пути.

Из пространства – сквозь время – весть.

Всё, что было – и всё, что есть.

Генрих Сапгир. Поэт.
Конечно, авангардист.
Другого такого – нет.
Упитан был и речист.
Когда-то – был нищ и худ.
Потом – раздобрел. Усы
отпустил. В нём и кайф и труд
сочетались – во все часы,
все дни и все годы. Писал
для детей и для взрослых. Жил –
широко. Цену слову – знал.
Со всей богемой – дружил.
Напоказ – не тужил ни о чём.
То скрытен был, то открыт.
Характер здесь – ни при чём.
Причиною – строй и быт.
Дети его – любили.
Взрослые – тоже любили.
Дети у Генриха – были.
Друзья среди взрослых – были.
Много было друзей у Сапгира.
Не вмещала всех их квартира.
Не вмещала всех их – Москва.
Вся страна – вмещала едва.
Может быть, и не все, на поверку, были друзьями.
Были, скорее, приятелями. Товарищами. Большинство.
Но со всеми Генрих общался. Пусть разбираются сами.
Кто из них друг? Неважно. Важно – что любят его.
Ценят его. Понимают.
Стараются понимать.
Всех Сапгир – принимает.
Всех идёт – обнимать.
Всех Сапгир – привечает.
Всех угощает вновь.
Всё Сапгир – примечает.
Вот вам и вся любовь.
Обиды – не забывает.
Делает вид – что забыл.
От людей – ничего не скрывает.
Ну, пьёт. Но и раньше – пил.
Ну, гуляет. И раньше – гулял.
Безобразничать, правда, не любит.
Лишь души он – не оголял.
Знал, что это порою – губит.
Душу он от людей – берёт.
Сердце – вот оно, нараспашку!
Мог он друга спасти – видит Бог.
Неимущим – отдать рубашку.
Жил свободно. Прощал долги.
В ресторанах кутил, бывало.
С пьяных глаз не видел ни зги.
Мгла его с головой скрывала.
Протрезвев – он работал. Был

он рабочей лошадкой. Хваткой.
Ничего, что гулял и пил.
Временами – грустил. Украдкой.
Но старался, навеселе,
не хандрить, завязать с тоскою.
Был он – гостем. На всей земле.
Мир был – вечной чистой доскою.
Был – хозяином. На пирах.
Был он в центре любых компаний.
Всюду помнил он – о дарах.
Избегал он всегда – страданий.
Жизнь есть праздник. А может, сон?
Жизнь есть радость. А может, сказка?
Размышлял и об этом он.
Находилась всегда подсказка.
Жизнь – удача? Зелёный свет?
Жизнь – кошмар? Или, всё же, – чудо?
Жаждал чуда он. Был – поэт.
И стихи он читал – повсюду.
Где бы ни был он. Пусть – Париж.
Пусть – Москва. Сингапур? Годится.
В небесах он летал, как стриж.
Всем хотел он впрок насладиться.
Всё – впитать в себя. Всё – постичь.
Шелест листьев. Маразм барака.
Всюду некий он чуял клич.
Скорпион был – по Зодиаку.
Мог за тридевять он земель
оказаться, под настроенье.
А ещё любил – Коктебель.
Здесь ждало его – вдохновенье.
Море пело ему: живи!
Окрылённый, он вторил морю.
Жил он – искренне. Жил – в любви.
И – с судьбой никогда не споря.
Всё сложилось само собой.
Утряслось. Устоялось как-то.
Был доволен Сапгир – судьбой.
Знал он должную цену – факту.
Не метался, как все вокруг.
Шёл, упрямо, неспешно, – к цели.
Был Сапгир – настоящий друг.
И остался таким – доселе.
Пусть и в памяти. В книгах. Пусть.
Это – важно. И это – много.
Я твержу стихи – наизусть.
И судить не берусь я строго.
Ни о нём самом. Ни о том,
что написано им. Не надо
забывать на месте пустом,
сколь был сложен выход из ада
к свету райскому. Генрих – чист.
И душою, и сердцем. То-то

улыбается он, артист –
знать, опять приберёт щедроты
для людей – там, где он сейчас
пребывает. Но где – не знаю.
И его – уж в который раз –
не случайно – я вспоминаю.

Для детей – сочинял он пьесы для театра кукол. Сценарии для мультфильмов, оригинальные. То есть был ещё и драматургом.

Переводил стихи и сказки Овсея Дриза.

Издавал, в огромном количестве, регулярно, из года в год, книги детских своих стихов, популярных, доселе читаемых.

Творчество же для взрослых сапгировское – статья не из простых, особая.

Был довольно известным в богеме самиздатовским давним автором.

Познакомился с ним я осенью шестьдесят четвёртого года. И тогда же мы подружились.

Жил Генрих тогда на улице, название коей никак не вспомню, неподалёку от шумной улицы Горького, в сторонке, на тихой улице, отходящей от центральной вправо, если идти пешком от площади Маяковского к Белорусскому, встарь воспетому Пастернаком, в стихах, вокзалу.

Там, в доме, ничем решительно в то время не примечательном, в заурядной, типично московской, коммунальной советской квартире, была у него своя комната.

В этой комнате регулярно собирались в далёкие годы весьма интересные люди.

Вся компания лианозовская – ученики Евгения Леонидовича Кропивницкого.

И прочие. В основном сапгировские приятели.

Но заживали и другие.

Здесь читали стихи. Постоянно.

Спорили – так, для проформы, далеко не всегда, иногда. Выпивали – в охотку, частенько.

Просто так собирались порой – вечерок скоротать, покалякать, хоть немного всем вместе побыть.

Здесь висели картины: Рабин, Кропивницкие – и остальные художники авангардные, левые, полуподпольные.

Здесь Сапгир писал свои пьесы.

Черновики этих пьес, чтобы комнату не захламлять, он выбрасывал в туалет – солидные пачки бумаги с машинописью, густо правленной лёгкой рукою поэта, всегда находились там и всеми гостями использовались обычно по назначению.

Генрих был всегда при деньгах.

Зарабатывал он хорошо.

Всё складывалось у него, в смысле заработков, удачно.

Был он всегда востребован.

Был любим – как детский поэт, уважаем в московских издательствах, выпускающих в свет его книги.

В мире кино и театра относились к нему с симпатией.

Вполне устроенный в жизни, мог он вполне позволить себе после трудов праведных расслабиться, погулять.

Частенько был под хмельком.

Нередко – попросту пьяным.

Ещё без усов знаменитых, уже не худой, а полнеющий, вальяжный, можно сказать, сидел он в центре компании, внимающей вечерами ему, вдохновенно читающему стихи свои, новые, свежие, – а по просьбе гостей – и старые.

Читать на публике он любил. И умел это делать.

Наверняка сохранились магнитофонные записи.

Читал он в своей манере, темпераментно, артистично. Наблюдал за реакцией слушателей.

Очень любил, когда все его тут же хвалили.

Произношение было у него весьма характерное, этакое французистое.

Использовал он всевозможные речевые эффекты, любил вовремя, с толком расставленные, там, где надо, акценты и паузы.

Всем известное:

– Взрыв!.. Жив...

Или:

– Как маш, как маш, и на, и на, и на!.. Как машина!.. –

это из книги «Люстихи», из любовной его лирики.

Ревновал, случалось, к другим современным друзьям-поэтам.

К Бродскому, например.

Говорил иногда:

– Это надо же, какая, с такой скучищей в некоторых его поэмищах, под которые, при его, Иосифа, чтении, преспокойно выспаться можно, и проснуться, и ровным счётом ничего ведь не потерять, у него широкая слава!

Целых тридцать пять лет Сапгир, непрерывно, то больше, то меньше, – всё зависело от настроения и от выпитого накануне и с утра ещё не поправленного, или вовремя, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, с удовольствием явным выпитого, потому и определившего превосходное настроение, на весь день, уж точно до вечера, чтобы вечером подкрепиться новой выпивкой, ставшей поводом для хорошего настроения, для душевных бесед, после чтения или слушания стихов, с интересом, всё возрастающим, то ли к выпивке, то ли к поэзии, да не всё ли равно, если был он в дни любви, в любых состояниях, неизменно, самим собой, а вот это и важно в поэте настоящем, а он был всё-таки настоящим, я это знаю лучше многих, поверьте на слово мне сейчас, – ревновал ко мне.

Но и тянулся ко мне, открыто, искренне, сам.

Ему интересно было со мной. Да и мне интересно.

Мы дружили, можно сказать.

Он ценил меня, уважал, выделял всегда, – как поэта.

По-дружески, по-человечески, – даже любил, пожалуй.

Был долгий, славный период, лет пятнадцать подряд, наверное, когда мы с ним, лишь за вычетом отъездов моих из столицы, виделись постоянно.

Помню, в пору моих бездомниц, долгим, с выпивкой, с чтением, нами обоими, наших тогдашних стихов, согревших сердца и души людей богемных, шумным, дружеским вечером, в семьдесят четвёртом году, зимой, на вопрос лобовой одной приютившей меня у себя в коммунальной квартире дамы обо мне, к теплу и уюту привыкающем: «Он талантливый?» – Генрих, вытащив, для порядка, в коридор её и негромко, но зато по-сапгировски пылко, убедительно, так, что я, находившийся в комнате, слышал слова его, прозвучавшие для этой дамы приказом, руководством к действию или, вполне возможно, заветом, всё годилось тогда, сказал ей:

– По-моему – очень талантливый!

И дама, очень ценившая личное мнение Генриха, отнеслась ко мне с максимальной нежностью и заботливостью.

Генрих был по-своему добрым человеком. В меру, но был.

Помогал друзьям. Привыкал к ним.

Жизнь его долго делилась на две неравные части.

Первая часть, поменьше, считанные часы, – работа, необходимая, вынужденная, для заработка.

Вторая, значительно больше, – для сочинения собственных стихов, для общения бурного с людьми, ему симпатичными.

Юмор всегда был при нём и нередко его выручал.

Изредка, временами, Генрих бывал и грустным.

Почти всегда – заводным, хмельным, живым, увлекающимся.

И столько было в его поведении от игры, что становилось понятно, почему он умеет писать для детей, – потому что это было ему дано! – и этот вот игровой, немаловажный, момент, присутствие увлекательной, интересной, полезной игры, всегда, совершенно во всём, в чём принимал он участие, где находился тогда, выпивал, разговаривал с кем-то, читал кому-то стихи, – настраивали обычно на хороший лад, неизменно привлекали внимание, втягивали в общую, вдруг разросшуюся игру, – да, именно так.

С ним было мне легко. Легче, намного, нежели с другими друзьями богемными.

Солидная разница в возрасте – почти восемнадцать лет – как-то не ощущалась.

Он любил мои ранние книги – за их новизну, как потом, целыми десятилетиями, не забывал он подчёркивать.

Думаю, прежде всего, за то, что стихи эти были, по-своему, авангардными.

Когда манера письма у меня постепенно стала более традиционной – только внешне, для всех подчеркну, и более, нежели в ранних вещах, глубокой и сложной – внутри, в структуре самой, в особого рода образности, в синтезе, в полифоничности зрелых моих вещей, – Генрих воспринимал их уже с натугой, не сразу, и не всё до него доходило.

А может быть, да, конечно, и это скорее всего, просто сказывалась давнишняя привычка, даже инерция, встарь ещё укоренившаяся в нём: авангард, и только.

Ревновал. Почему? Потому что сам он так не писал.

Поглядывал вроде бы издали – со своего, привычного, рабочего, личного поля – на моё, рабочее, личное, поле творческой деятельности – и, понимая, что каждому своё, что, в работе своей, я ушёл далеко вперёд, всё-таки оставался при своём, упрямясь, артачась, продолжая на собственном поле собственные идеи разрабатывать и выращивать свои, по старинке, всходы.

Он всё же немного лукавил. Чего-то недоговаривал.

Авангардист, новатор, – любил он поэзию русскую, страстно, преданно, издавна, – в том числе и традиционную внешне, по форме, то есть все лучшие образцы её.

Когда в середине смутных, какбывременных, девяностых, в Коктебеле, зашёл я к нему, в комнату, где обитал он, из Москвы приехав, на первом этаже окружённого зеленью корпуса в доме творчества, увидел я, прямо с порога, сразу же, вовсе не взятые с собою на юг авангардные, как могло бы, наверное, быть у поэта-авангардиста, по его

пристрастиям, книги, а лежащие у изголовья, на тумбочке, две, всего-то, и достаточно этого, книги, – это были Тютчев и Фет, с собою Генрихом взятые, для души, от большой к ним любви.

Сам же Генрих снова читал мне стихи свои, наинovelейшие, разумеется – сверхангардные.

Живой человек, живые, меняющиеся пристрастия.

И в период нашего СМОГа был Сапгир неизменно живым, да ещё каким ведь живым, всех живее вокруг, человеком!

Относился к тому, что мы делали, вовсе не с любопытством, богемным, недолгим, временным, и не просто с малозначительным, поверхностным интересом, но более чем внимательно.

Думаю, нас, тогда совсем ещё молодых, он всё-таки понимал.

По крайней мере, двоих поэтов – меня и Губанова.

Остальные смогисты для Генриха – были уже потом. После нас. Интерес к ним брезжил в отдаленье – и угасал. Почему? До сих пор не знаю. Но – догадываюсь: по причине их ненужности – для Сапгира. И – его авангардного мира.

С Губановым вскоре Сапгиру общаться стало непросто – из-за Лёниной непредсказуемости.

Он предпочёл общаться со мной, человеком воспитанным.

И – привык постепенно ко мне.

И я к нему – тоже привык.

Старший друг. Важно было мне знать: есть у меня такой вот, хороший, надёжный друг.

Мы с ним как-то разумно, сразу же, не сговариваясь ни о чём, распределили наши личные сферы влияния и области наших личных творческих интересов.

У меня всё было – своё, у него всё было – своё.

Даже в бедах один к другому в душу мы сроду не лезли.

Проявляли всегда деликатность.

Понимали оба отчётливо: почему-то, волею судьбы, не иначе, так получалось, в этой жизни, с её кошмарами чередой, мы друг другу – нужны.

Свои новые тексты всегда Генрих читал мне первому.

Разыскивал, специально, меня, в период бездомииц моих, приезжал туда, где временно я обитал, стихи мне читал – и жаждал поскорее узнать моё мнение о новых своих сочинениях.

Приезжал и в квартиры мои, до и после моих скитаний.

Приезжал, потому что считал: есть у меня особое ухо, за ухом обычным, то есть слух на стихи – абсолютный.

То, что я говорил ему о стихах его, с глазу на глаз, Генрих крепко запоминал.

Сам я читал стихи свои с годами ему – всё реже.

Предпочитал дарить книги свои самиздатовские, чтобы Генрих, в домашних условиях, тексты читал с листа.

Я ещё напишу о Сапгире, в других частях своей серии книг о былой эпохе «Отзывчивая среда».

А пока что – вижу его, поэта, в шестидесятых.

Вот он, в возрасте, вроде бы, зрелом, но достаточно молодом ещё, года за три до сорока, душа развесёлой компании, среди картин, бутылок, рукописей и книг, в окружении чутко внимающих ему, своему поэту, восторженных, вдохновенных, в меру хмельных людей крылатых шестидесятых, – вот он, стихи читающий, весь – в голосе ясном своём,

в этих пружинных вибрациях, раскатистых интонациях, понижениях бархатистых или, вдруг, повышении тона, в чёткой, отточенной дикции, в игровых, заводных переливах звуков, и рой ассонансов, резких ритмических сдвигов, грассирующих перепадов окружает его, человека орфического, как и всех собравшихся здесь гостей, – а за окном коммунальной, прокуренной, тесной комнаты зима, февраль, и в Москве – белый снег и неистовый СМОГ.

Сапгир пострадал из-за СМОГа.

Не приняли мерзопакостные начальники-негодяи Сапгира в Союз писателей.

Обозвали Сапгира – фюрером. Не чего-нибудь там, а смогизма.

Каково было это услышать?

Но Генрих не растерялся.

Перешёл в Союз драматургов.

Там его с ходу приняли.

Наплевать на советских писателей.

Видели не одни они – видел ещё и Бог,

что Генрих душою всюю принимал и приветствовал СМОГ.

Игорь Сергеевич Холин.

Высокий, очкастый, костистый.

Может быть, жилистый? Нет.

Плотная, длинная, твёрдая кость – под кожей. Мослы, сухожилия.

Очки – тяжёлые. Из-под очков – трезвый, холодный, колючий, иногда ещё и насмешливый, изредка – добродушный, но всегда – из-под стёкол, из-под прикрытия, как из укрытия, как на фронте, как при опасности, всегда начеку, всегда, по сигналу тревоги, поднятый в ружьё, всегда в карауле, всегда – есть! – наизготовку, в случае необходимости сразу же мобилизованный, без надобности – обычно сроду не возникающий, сам себе дающий отбой, сам себя ровно в срок пробуждающий, цепкий, бывалый, тёртый, много чего кому-нибудь вроде бы и говорящий, но всё же предпочитающий невозмутимо помалкивать, жёсткий, плотно закрытый от слишком уж любопытных, в присутствии странном своём неизменно, что делать, привычка, где-нибудь постоянно отсутствующий, чтобы, если уж появиться, то внезапно, застать всех врасплох, сложный, седой, аскетический, чуть подёрнутый влагой, талый, принимаемый всеми как данность, страшноватый, как у анатома, наблюдательный, как у разведчика, бьющий в цель без промаха взгляд.

Еле-еле, как стebelёк сквозь асфальт под ногами прохожих, пробивающаяся улыбочка на сухих, поджатых упруго, как у пастора протестантского, раскрывающихся иногда – лишь для короткой фразы, для дельного замечания, для мудрого изречения, для житейского поучения, но больше, так уж сложилось, существующих – для молчания, для резко, сознательно суженного речевого, впритык, пространства, в котором, увы, и единственному слову-то тесновато, не то что внезапно явленному целому монологу, вырезанных грубовато, зримо, просто, как на игрушках деревянных, продукции наших российских народных промыслов, без особых затей и без лишних, никому не нужных примет, на висячий замок невидимый зачастую закрытых губах.

Руки – длинные.

Ноги – крупные.

Шаг – широкий, устойчивый, твёрдый.

Походка – не то чтобы лёгкая, не спортивная, но молодая какая-то, не зависящая, ни в коем разе, от возраста.

Повадки – сплошные загадки, зачастую без всякой отгадки, повадки – штрихи к портрету человека без тени, прошедшего немалую школу жизненную.

Да так ведь оно и было.

И никуда не сплыло.

Холин – легенда. Богемная.

Военная. И тюремная.

Барачная. Не смешная.

Отечественная. Земная.

Холину – всё дозволено?

– Как, вы не знаете Холина?

Холин – практичность, ясность ума, рассудительность, обстоятельность – во всём, что он делал, что говорил, даже в том, о чём он молчал.

Холин с виду – римский сенатор. Бритое, удлинённое лицо, короткая стрижка, выразительная седина.

Холин – сама независимость: как хочу я, так и живу, я вас теперь не трогаю – и вы меня лучше не трогайте, я к вам ни с чем не лезу – и вы ко мне вовсе не лезьте.

Холин – острое лезвие, зажатое крепко в руке, протянутой для приветствия.

Но Холин – ещё и гостинец, протянутый в этой же самой, уже раскрытой, широкой ладонью сверху, руке.

Загадочный человек.

Многими – так и не понятый.

Таинственный. В окружении сплетен и вечных баек.

Из окружения этого выходил он – во всеоружии, то есть был он вооружён, до зубов, – своими стихами. А позже – и прозой своей.

Его уважали. Побаивались.

Не любили – так откровенно.

Любили – так убеждённо.

Выделяли – везде и всегда.

Никому он себя не навязывал.

Был – собою. И это – главное.

Это было мне в нём – интересным.

Привлекало. Давало повод, не единожды, для размышлений.

Мы общались довольно тесно, пусть не так, день за днём, год за годом, в лабиринтах бесчасья, часто, как с Сапгиром, но всё же частенько.

Доброе наше знакомство с Холиным длилось тоже тридцать пять долгих лет, как и с Генрихом.

Одновременно почти, в шестьдесят четвёртом году, с ними обоими я, тогда молодой, познакомился.

Одновременно почти, вначале, первым, в июне девяносто девятого, Холин, а потом, через несколько месяцев, осенью, вслед за другом своим, и Сапгир, они умерли.

Оба связаны были учёбой у старика Кропивницкого.

Были тандемом таким, дружеским, да и творческим.

Если кто-то встарь говорил: Холин, то вскоре он же говорил непременно: Сапгир.

Если звучало: Сапгир, то далее было: Холин.

Были они, по всем, как говорится, статьям, не похожими друг на друга, но всё-таки соединёнными общей судьбою, наверное, чем-то свыше,

той силой, которая выбирает пути людские, избирает из общей массы людской, временами, лишь некоторых и сталкивает их вдруг, сознательно их сближает, одаривает их дружбой, общими интересами, оставляя при этом их личностями полностью самостоятельными, по причине их проживания в России – поэтами русскими, по причине их принадлежности к авангарду – в достаточной степени интернациональными, так я считаю, ведь авангард иногда стирает черты национальные, творчеству придавая некую странную планетарность, что ли, приемлемость, в разных странах подлунного мира, – были оба они людьми, о которых можно сказать куда ёмче и проще, по-русски, по-простому: кремень и кресало.

Они высекали – огонь.

В их, конкретном, случае – творческий.

Холин ко мне был внимателен, ещё со смогистских времён и до последних своих лет, когда изредка с ним виделись мы в ПЕН-клубе, иногда на общем собрании, иногда на предновогоднем вечере, мероприятиях не больно-то интересных и, в общем, невразумительных.

Он и в старости, надо заметить, держался всегда молодцом.

А в шестидесятых годах, ещё до своих пятидесяти, когда мы общались с ним в гуще событий, чтений, посиделок во всяких салонах, хождений по мастерским, встреч почти деловых и приятельских, был он в полной силе своей, был вполне на месте в столице, – и только молва разносила: «а знаете, Холин сказал», – «а слышали, Холин опять написал такое что просто...» И вмиг – ветерок с говорком кулуарным, непредсказуемым, со смешком, с хохотком, с юморком, с посошком скороспелого слуха полетел по Москве: шу-шу-шу! – с любопытством, с живым интересом, – поскорее узнать бы, когда и где он читать вознамерится свою новую, клёвую вещь!

– Как, вы не знаете Холина?

Да, вы его не знаете.

Всех он ещё удивит!..

И – удивлял. Озадачивал. Огорашивал даже, бывало.

Давал по башке. Мозги встряхивал. Поражал.

Холин – чуть ли не монстр? Да что вы?!

Холин – мэтр? Постарайтесь сами

разобраться. На то он и Холин,

чтоб о нём вспоминать иногда.

Слышу голос его негромкий.

Пусть расслышат его потомки.

Озадачатся?

Удивятся?

Разберутся?

Не без труда.

А вот и ещё один Генрих. Поэт. Но уже – Худяков.

Человек деликатный, задумчивый, внутри себя долго живущий, глядящий меланхолически сквозь время, будто заглядывающий за некую, только ему и видимую черту, присутствующий где-нибудь – неизменно, всегда отсутствуя, отсутствующий – присутствуя, ну точно, да вот он, смотрите-ка, находясь где-то близко, вот здесь, в поле зрения вашего, рядышком, ан нет, показалось просто, и нет его – но он и есть, человек высокого роста, длиннолицый, спокойный, сдержанный, тихий, тихоня, казалось бы всякому, – да, это так, но тишина в нём была – пружинистая, с фантазией, и отделённость от всех была, скорее всего, защитой

мечты, или – тайны, или – страсти, допустим – к прекрасным путешествиям в области слов, превращаемой в область снов, бормотаний, противоречий, столкновений смыслов и тем, или, может, к иным путешествиям и мечтам, с которыми сжился он, – и входил он в пространство, как парусник, оснащённый жюльверновской техникой фантастической, впрок, на потом, а порою казался он птицей, а ещё моделью летучей, в небе детства свободно парящей, – таковы и его стихи.

То он записывал их не слева направо, в строку, а сверху вниз, по слогам, вертикальными, с вязью буквенной, чуть извилистыми полосками, иероглифами, по-китайски, то выворачивал их наизнанку, словно рубашку, то разбрасывал, словно брызги дождевые, по крошечным книжечкам, самолично сделанным им, и раздаривал эти книжечки, и на каждой писал: «Автограф».

То из Фроста, а то из Шекспира возникали темы его.

Наив:

– Пойти, что ль, на телёнка посмотреть?

Вопрос, изогнутый ключом:

– Ли быть, ли нет?

Цикл коротких стихов – «Кацавейки».

Что-нибудь ещё – по привычке, в неожиданном, негаданном роде.

С выдумкой вечной сквозь выверт.

Но интересен был он, человек и поэт, мне всегда.

Бывало, говорили мы часами.

О чём? Не ваше дело. Знаем сами.

О том, о сём. Устроит вас? Ну, то-то.

Беседы наши были – сплошь щедроты.

Беседы наши были – откровенья.

Прозренья жили в них и дерзновенья.

Стихи кружились в них, подобно птицам.

И свет открытий пробегал по лицам.

Потом решил покинуть он Россию.

Уйти в пространство новое. В стихию.

В тепле грядущем руки отогреть.

Уехать. «На телёнка посмотреть?»

Не знаю. Но решенье в нём – созрело.

Встрянуло душу. Птахою запело.

Призывно. За собою повело.

Куда? За словом, ищущим число.

Помню, как встретил его на холодной, пустынной улице, направляясь в гости к Сапгиру.

Худяков, худощавый, задумчивый, измождённый вконец, шёл туда же.

Сказал мне тихо, растерянно:

– Тоска! Хочу выпить – и не с кем. Куплю бутылку сухого, зайду в какой-то подъезд, выпью там. В одиночестве. Сам. Выйду потом из подъезда. И дальше иду куда-то. Всё дальше иду. Куда?..

Году, наверное, в семьдесят четвёртом, случайно, встретил его в запущенном сквере возле Киевского вокзала.

Был он вместе со Львом Халифом, человеком бравым, бывалым, известным, но не стихами, а романом своим «ЦДЛ».

Оказалось, что оба они – вскорости уезжают.

Зашли, сначала прикинув, где бы нам провести сегодня, на прощанье, часок-другой, все вместе, вина купив, к живущему неподалёку художнику Лёве Дурасову.

Посидели там. Помолчали,
Выпили символически.
Попрошались. Уже навсегда.
Больше я Худякова не видел.

Оказался он, путешественник в дебрях речи родной своей, далеко от Москвы, в Америке.

Жизнь в свободной, но, в то же время, совершенно чужой стране оказалась вовсе несладкой. Для него. Получилось – так.

Писал ли там он стихи?
Не знаю. Может – писал.
Пиджаки он там – разрисовывал.
Получались в итоге абстракции.
Худяковские. Неповторимые.

Их можно было носить, но также – на стену повесить, как холсты, и смотреть на них.

Всё-таки – не кацавейки.

В девяностых годах он, вроде бы, писал уже настоящие, с размахом, с полётом, холсты.

Огромные вещи. Абстракции.
Однажды устроил выставку.
Никто на неё не пришёл.

Как он сейчас живёт – совершенно не представляю.

Чем он занят – в своём далеке, в заграничном, глухом одиночестве?

Здесь, в Москве, где все его знали, был, конечно, он чудачком, но зато и поэтом. Помнит ли, как читал он:

– Ли быть, ли нет?..

Овсей Овсеевич Дриз.

Выглянувший из сказки в кошмарную повседневность седой мечтатель. Поэт.

В безрукавочке меховой сидел себе в уголке на сборищах у Сапгира, вино попивая. Смотрел глазами своими прозрачными – сквозь всех. Но куда? Кто знает!

Сутулился, вдруг собираясь в пушистый, тёплый клубок. Волшебную нить вытягивал оттуда. Струною она вдруг становилась. Являлись шагаловские скрипачи, играли. Дриз улыбался.

Метель за окном бушевала.

А здесь все были – свои.

Хорошо, когда люди – рядом.

Особенно в холода.

Уютно. Тепло. Спокойно.

Стихи читают. Вина достаточно. Сварят кофе. Чашечка невесомая, фарфоровая, кузнецовская, в руке – словно птичка. Певчая.

Свеча на столе. Погасшая.

Но можно зажечь. Горит.

Горит, никого не корит.

Горит, о судьбе говорит.

Жёлтое пламя. Чёрная тьма за окном, с сединою метельной, серебряной, пепельной.

Дриз чему-то вновь улыбается.

Но чему? Поди догадайся.

Не получится. И не пытайся.

Мечтатель седой. Молчит.

В уголке. В меховой безрукавочке.
 Глаза свои щурит прозрачные.
 Скрипачи ему что-то наигрывают.
 Время тянет волшебную нить из клубка, за окно она тянется, вьётся
 в небе метельном, теряется в круговерти неведомой, вроде бы возвра-
 щается, вьётся над ним.
 Дриз глядит на неё. Улыбается, доброй сказкою в мире храним.

Гена Цыферов. Детский писатель.
 Тоже – сказочник. Может – волшебник.
 Всё могло у нас быть в Империи.
 Всё бывало. И Гена – был.
 Соавтор Сапгира. Надёжный.
 Многолетний. Любимый. Талантливый.
 Ценитель ясного слова. Не бунтарь никакой, не оратор.
 Супруг огромнейшей дамы по прозвищу Император.
 Чей-то ещё – супруг.
 Людям славным – преданный друг.
 Добрый увалень. Человек высокий, очкастый. Светлый.
 Весь – из Моцарта. Прямо из музыки.
 Выйдет из дому – словно из древнего, родового замка – в жестокую,
 с пьянью, с нечистью всяческой, явь.
 Улыбается – всем и всему. Призадумавшись, молча идёт по москов-
 ским бульварам, по улицам.
 То на солнышко тихо сощурится, то глядит на деревья, то слушает
 воркование голубей.
 Удаляется тихо в пространство. Приближается вдруг из времён явно
 сказочных к нам – навсегда.
 Внимательный к людям. Тактичный.
 Со своей оценкою личной.
 Классиков. И современников.
 Собутыльников. Соплеменников.
 Книжки писал хорошие для детей. Выпивал, бывало. Но тогда вы-
 пивали – все.
 Радовался: поэзии, речи русской, природе, всегда его окружающей,
 всюду, во всей красе.
 Жить бы ему да жить.
 По стогнам столичным бродить.
 Друзьям помогать и знакомым.
 Вдохновляться с детства искомым.
 Чем же? Чудом. Взглядов. Речей.
 Тайным жаром ночных свечей.
 Скромным благом еды, питья.
 Непостижностью бытия.
 Изумрудным плеском листвы.
 Благодарностью всей Москвы.
 За талант его, весь в цвету.
 За внимание. Доброту.
 За любовь. Ко всему. Ко всем.
 Жил он щедро. И знал – зачем.
 А он почему-то – умер.
 Сапгиру так его часто, хоть кричи, нет – и всё, не хватало!
 Не только соавтор, но – друг.

Причём настоящий. Верный.
Сокрушался Генрих. Страдал.

В Коктебеле, в семидесятом, всё он Цыферова вспоминал. Посмотрит порой на деревья – и сразу же вспоминает, как подойдёт, бывало, Гена Цыферов, чуть подвыпивший, добрый, благодный, нежный, к дереву, обнимет его, приговаривает с любовью:

– Родное моё!..

И – другим деревьям в округе тихо шепчет:

– Родные мои!..

И тихонько, задумавшись, плачет.

И голос у Генриха вздрагивал, и глаза мгновенно влажнели.

Хорошим был человеком Гена Цыферов. Настоящим. Чистым. Искренним. Честным. Высоким.

Весь – из Моцарта.

Может – из света?

В свет – ушёл.

Стал светом весенним.

Согревает и обнимает все деревья в мире истерзанном.

Говорит:

– Родные мои!..

Гена Распопов. Скульптор.

Борода густая. Глаза с искорками весёлыми.

Приветливый, добрый, крепкий, размашистый человек.

В мастерской у него, на Добрынинской, собирались мы часто встарь.

Читали стихи. Выпивали. По традиции. В меру. Всегда.

На стене висела, белея то ли снежною белизной, то ли отсветом смутным больничным, гипсовая, похожая на источник света нездешнего, маска Лёни Губанова.

Сам Губанов, живой, говорливый, храбро пил с Распоповым водку.

Приходили гости, рассаживались на расшатанных табуретках.

Начинался очередной, всем приятный, московский вечер.

Засиживались допоздна.

Метро было близко, по счастью.

До закрытия – все успевали.

На такси добирались домой в те года только в крайнем случае, да и то – если деньги были.

Через несколько дней, прошедших в суете, в кутерьме столичной и в трудах, – снова шли к Распопову.

Он встречал, он всех привечал.

Человек уникальный крылатых, невозвратных шестидесятых.

Общение! Вот что было важнейшим тогда для нас.

Поздний свет в окнах кривеньких старенького, со скрипящими половицами, с потолками высокими в трещинах, но с добротными стенами, дома.

Сугробы, ну прямо арктические, огромные, во дворе.

Беседы наши в тепле.

И компания тёплой была.

Хорошей, действительно. Дружной.

Потом Распопов уехал. Куда-то совсем далеко.

В заморские тёплые страны, где птичье пьют молоко.

Где тропики, пальмы, бананы, океанские волны, рай.

Отсюда, увы, не видно, где находится этот край.

Чуть ли не на Таити. Ну что ж, его можно понять.
 Уехал – отнюдь не туристом. Работать. Что-то ваять.
 Почти как Гоген. Похожей судьба хоть в чём-то была.
 Вернулся. В Москве трудился, как прежде. Ну и дела!
 Виделись мы всё реже. После воли – какой покой?
 Он умер. В душе остался свет в окнах его мастерской.

Ещё один Гена. Геннадий Бессарабский. Отличный скульптор.
 Автор памятника Тургеневу – замечательного – в Орле.
 Я этот памятник видел. Радовался за Гену.

Был он сокурсником Эрнста Неизвестного. Эрнст о нём с уважением и симпатией не единожды вспоминал.

Потом его неожиданно, по неясной какой-то причине, почему-то парализовало. Ноги вдруг у него отнялись.

Прикованный долгие годы к своему инвалидному креслу, оставался он человеком полноценным, во всех отношениях.

Страстно любил стихи.

Очень меня выделял из всех. Поддерживал всячески. Бородатый, само собою разумеется, смуглый, с горячими, прямо огненными глазами, очень работоспособный, на редкость умный, воспитанный, добрейший, добрее некуда, страстный, искренний человек.

Мастерская его, на улице Архипова, справа, если идти по улице вниз, рядом с тихой в шестидесятых, в дни безвременья, синагогой.

Длинный стол деревянный, скамьи.

Жарко горящие свечи.

Маша, Генина верная, преданная, чудо просто, и только, жена, удивительная, спокойная, вся светлая, добрая фея, хранительница очага.

И вдохновенный Гена, собиравший нас у себя, живейшее, постоянное участие принимавший в деятельности нашего, легендарного ныне, СМОГа.

Боже мой! Как я помню его!

Как я вижу его сейчас отчётливо, словно здесь он, близко, рядом! Как слышу его хорошо, различая каждое произнесённое им, неспроста, на-верное, слово! Как, мне кажется, лишь сейчас я его наконец понимаю!

Почему, почему же в прошедшие чередой густой, быстрою, за смогистской порою, годы, годы бурь и роста духовного, и невзгод, и надежд, и свершений, всё реже и реже к нему я заглядывал на огонёк, а потом и вовсе, ведь надо же, перестал, чудак, заходить?

Не знаю. Право, не знаю.

Такое святое, чистое, родниковое отношение к поэту, какое было у него, человека мудрого, особенного, ко мне, молодому, – поистине редкость.

Я хранил его образ в душе.

Мысленно с ним беседовал в период бездомия долгих.

Я возил повсюду с собою, как завет его, как талисман, записанные им, Геной, для меня, чтобы помнил об этом, в середине шестидесятых, в грозную, безумную пору, чётким почерком, на билете в музей Андрея Рублёва, пушкинские слова:

«Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв».

Гена был для меня примером человеческой, личной победы над житейскими обстоятельствами жесточайшими, над судьбой.

Был всегда он самим собой.

Был он труженик настоящий.
Взгляд – и отсвет свечи горячей.
Голос тихий – и ясный свет.
Слов его. Всех минувших лет.
Всех прозрений. И всех событий.
Свет наитий. И свет открытий.
Свет душевный. И свет сердечный.
Свет негаснущий. Значит – вечный.

Гена был человеком дивным.
Днём с огнём не найти такого на распутье эпох, на стыке двух веков,
посреди междувременья.

Гена был мне великим другом.

Был. Я знаю.

Он тоже умер.

Но живёт он – в своих трудах.

Как и прежде, в былых годах.

Но живёт он – в моих речах.

И в стихах моих – при свечах.

Взгляд его – различаю вновь.

Пробегает по жилам кровь.

Слово каждое – как алмаз.

Только слёзы текут из глаз.

Только шурюсь я вдруг на свет.

В нём – спасенье. И смерти – нет.

Через тридцать с лишним, прошедших после встреч наших с Геной, лет, после дружбы с ним, драгоценной для меня, старый друг мой, Михалик Соколов передал мне – от Маши, Гениной верной подруги, наперсницы, музы, вдовы, – небольшую, но выразительную, светлую, свет в себе таящую, или творящую, светом внутри говорящую, светом ритма и форм поющую, светом знать о себе дающую, светом память мою озаряющую, светом правды остаться желающую, светом веры ко мне вошедшую, грань забвения перешедшую, чтобы светом сиять и в будущем всей душою и сердцем любящим, белую, словно свет, незамутнённый, чистый, удивительную статуэтку, вылепленную им, Геной, давным-давно, в середине шестидесятых.

Я увидел – себя, стоящего с закинутой головою, вдохновенного, молодого, читающего стихи.

Сразу вспомнил, как Гена хотел мой портрет когда-то лепить.

Он не только меня, поэта, девятнадцатилетнего парня, в ореоле смогистской славы, читающего, изваял.

Он – голос мой изваял.

Выразил звук – в образе.

Образ наполнил – звуком.

Сумел передать – и порыв, и полёт, и восторг, и транс.

И – молодой мой голос...

Так. Вспоминаются дамы.

Судьбы. События. Драмы.

Темы: самые разные.

Дамы. Значит – прекрасные.

Дина Мухина. Дама поистине удивительная, особенная, со своим, гармоничным, прекрасным, от вторжений всяких извне годами

оберегаемым, чистым по-детски, миром, со своею, лишь ей одной известной, в душе хранимой, словно свет целительный, тайной.

Художница. Очень талантливая.

Керамикой занималась.

Маленькая, энергичная, с характерным своим говорком.

Жена знаменитого Эрнста Неизвестного, скульптора, спорившего когда-то, на выставке шумной в Манеже, с самим Хрущёвым.

Держалась Дина в тени своего, прошедшего ужасы войны, решительно вставшего на защиту искусства свободного в нужный час, от важного мужа.

В тени этой – было светло.

Источником света была, разумеется, Дина Мухина.

Эрнст это – понимал.

Свет в тени – принимал.

Были супруги дружны, по-своему. Были счастливы. По-своему. Были они людьми совершенно разными. Но держались, во всяком случае, в шестидесятых, – вместе.

Как на войне. Поскольку Москва не фронт, но порою обстановка в ней, так получалось, была почти фронтовой.

Рисковали здесь – головой.

Жизнь была здесь всегда – грозовой.

Сложной. Бурной. Сверхнапряжённой.

С чем-то страшным и впрямь сопряжённой.

С чем-то дивным слитной навеки.

Жизнь была – в живом человеке.

Жизнь была – в жизни их четы.

В проявлениях доброты.

В уважении их – друг к другу.

В отношении – к новому кругу.

Ада, что ли? Спросите у Данта.

Жизнь была – развитием таланта.

(Звёздный путь. Нескончаемый дар.

В тёмном небе – светящийся шар.

Круг магический. Коло. Сфера.

Грань. В грядущем – новая эра).

Дина с Эрнстом были приезжими.

Людьми со взглядами свежими.

На искусство. И на богему.

Как теперь говорится, в тему.

В Москве – прижились, освоились.

Но вовсе не успокоились.

Покой, как известно, лишь снится.

Что делать, если не спится?

Работать. Они – трудились.

Успехов они – добились.

Трудились упорно дальше.

Открыто жили, без фальши.

Всё было у них – честь по чести.

Славно смотрелись – вместе.

Оба они – с Урала.

Что ж, поднимай забрало!

В бой! За правое дело!

Вели себя они – смело.

И особенно – Эрнст. Везде.

Шёл – к победе. К своей звезде.

Воевал. Утверждался. Всюду.

Проходил сквозь преграды. Рос.

Всё в нём было – только всерьёз.

Дина больше стремилась – к чуду.

Помню, как сквозь летящую золотую листву, сквозь дымку лиловою над столицей, сквозь какой-то благостный, тихий, удивительно светлый дождь, за которым хотелось видеть не строения городские, а волшебную радугу, осенью шестьдесят четвёртого года потащила меня, вместе с Лёней Губановым, познакомившим нас, в хороший, наверное, день, потому что читал я стихи, и стихи мои были приняты, были поняты, были по сердцу моей новой знакомой, на прежних непохожей, особенной, это я видел, Дина к себе домой.

Там, в обычной московской квартире однокомнатной, пустоватой, без прикрас, без богемного шика, без художественности ненужной, артистичности показной, очень скромной, приятной, убранной аккуратно, чистой, спокойной, почему-то носившей, мне так показалось тогда, следы недавнего, налетевшего ураганом военным, разгрома, битвы, что ли, какой-то, яростной, разразившейся в этом гнезде, неизвестно зачем, стояла тишина, и домашний уют, в каждой вещи, в любом предмете, освещённом спокойным, приветливым, никуда не спешащим светом из окна, был столь очевидным, что почувствовал я себя здесь как дома, и улыбнулся человечьему, с добротой, в тёплом воздухе разлитом, с откровенностью золотою в ясном взгляде хозяйки, жилью.

Там спала безмятежно в кровати дочь Эрнста и Дины, Оля.

Там на стенах висели тарелки керамические. Чудесные.

Словно птицы туда слетелись из волшебных краёв поднебесные.

Словно песни там зазвучали незнакомые мне, лирические.

Вот какие тарелки были предо мною тогда керамические.

Это были – видения дивные.

Это были – творения Динины.

Увидев своими лучистыми, пронизательными глазами таинственной, доброй феи сказочной, но скорее, так лучше, глазами талантливой художницы, их создательницы, что мне они очень понравились, Дина спокойно сказала, что было их много, да вот, почти все, увы, перебили.

Была здесь изрядная выпивка, публика собралась богемная, колоритная, кого ни возьми, о ком ни подумай, личность, и только, личность, ещё и какая, с характером каждый, с претензиями, с вопросами к окружающим, с неслыханным самомнением, с амбициями, с гордыней в душе, с упрямством, со взрывчатостью внутри, до поры до времени каждым сдерживаемой, но ждущей повода только, малейшего, чтобы вырваться вдруг наружу, пили, пили, пока всё не выпили, а потом, конечно, добавили, а потом и по новой добавили, а потом, набравшись гуртом, опьянев до последней степени, разгоревшись, раздухарившись, раскрасневшись, разговорились, оживились, внезапно взвинтились, раскричались, и вот прорвало их, за грудки хватая друга друга, норовя доказать своё, тут же, сразу, всех убедить в правоте своей, утвердиться в торжестве своём над соратниками, собутыльниками, соперниками, в споре, в жизни, в питье, в искусстве, стали все выяснять немедленно, кто и как, лучше, хуже ли, так себе, на четвёрочку или на тройку, или даже на двойку с минусом, что совсем уж зазорно, братцы, ну а может, и на пятёрку, даже с плюсом, бывает всякое, в этой жизни своей крест несёт.

Эрнст, багровый, с глазами быка, налитыми бешеной кровью, шёл вперёд, как таран, на любого, кто ему возражать пытался, рвался в бой, наклоня слегка свою голову крепкую, с жилами на висках, разбухшими так, что звенели они, как струны, рвал рубахи ворот, ярился, рукава засучив, хрипел на гостей, в атаку готовый устремиться, всю боушеввал.

Гена Айги, поэт, маленький, как подросток, никакой не боец, а так себе, свидетель невольный битв, очевидец, не летописец, со страху забрался под стол – и там переждал бушевавшую над его головою бурю.

Выясняли свои отношения заядлые, пьяные спорщики не только на убедительных, или не очень, словах.

В ход пускали и кулаки.

Причём всё чаще и чаще.

Всё привычнее. Всё смелее.

Никого вокруг не жалея.

Как несёшь свой крест? Нет, не так!

Ну а ты? Вообще никак!

Ты – получше? Большой вопрос!

Получай-ка за это в нос!

Ты несёшь дольше всех из нас?

Получай-ка за это в глаз!

Крест – судьба? Пусть потом – потоп?

Получай-ка за это в лоб!

Вот какие были недавно фронтовые здесь посиделки.

Потому-то и перебили, в ход пуская их в драке, тарелки...

На столе у Дины лежали – аккуратно перепечатанные на хорошей белой бумаге плотной – стихи Айги.

Буря, видимо, их не коснулась.

Потом – почему-то – Дина потащила нас с Лёней Губановым именно к Гене Айги.

Что её повело туда?

Может быть, воспоминание тёплое – о сидении Генином под столом во время всеобщей битвы?

Как, мол, там наш поэт?

Успокоился ли? Отдышался ли?

Создаёт ли, на радость поклонникам своим, авангардные, новые, сверхсовременные, то есть такие, каких ещё не бывало в русской поэзии, и в европейской, верлибры?

А может, и не верлибры?

Камлания? Заклинания?

Поди разберись! Магические, языческие писания.

Пришлось нам уважить Дину и ехать с ней к Гене Айги.

Дома его, поэта модного, не оказалось.

Отсутствовал. Может, в музее Маяковского находился, где сидел в уголке Кручёных, попивая остывший чай и беседуя с ним неспешно о поэтике футуристов.

Ну а может быть, где-то в гостях, разомлев от спиртного, в облаке сигаретного дыма паря над столом, над притихшими, видимо, от почтения к явному классику авангарда, интеллигентными, с виду, полубогемными, так, для приличия, чтобы слишком среди прочих не выделяться, в кольцах, в бусах янтарных, дамами, почитательницами таланта поразившего всю столицу образованную поэта, он читал им свои стихи.

Всякое быть ведь могло.

Мало ли где находился в тот день осенний Айги!

Только дома его с утра, как оказалось, не было.

Не было и сестры Гениной, Евы Лисиной, известной чувашской писательницы.

Была здесь только Луиза, другая сестра поэта, слегка не в себе, но тихая.

Толя Зверев однажды за несколько мгновений, по вдохновению, находясь под парами винными, написал, на глазах у собравшихся в доме Айги гостей, её портрет потрясающий, причём при этом он пользовался только окурком, пеплом да ещё какими-то странными, простейшими, вроде вина красного, минимальными, подручными, как и всегда, чтоб далеко не ходить и ничего не искать, довольствуясь тем, что есть перед ним, художником, средствами.

Получился шедевр. Музейная вещь. Настоящий, высший пилотаж. Как сказал бы Сапгир, улыбаясь в усы, маэстрия.

Не знаю, где, по прошествии более чем сорока лет, сейчас, в наши дни, находится эта работа.

Может, она – у Евы.

Дом, в котором жил Гена Айги со своими родными сёстрами, деревянный, довольно большой, находился в Москве, но ещё и в настоящей старой деревне, расположенной высоко на речном берегу, над Сетункой, где-то за всем в столице знакомой Мосфильмовской улицей, этак двойственно – прямо в городе, спору нет, да никто и не спорит, согласитесь, но, факт есть факт, вещь упрямая, как известно всем на свете давно, и в деревне.

Приобрести его Гене помог в своё время Твардовский, после того как Айги перевёл на чувашский язык, хорошо, знатоки считали, поэму «Василий Тёркин».

Напоминал этот старый, деревянный, скрипучий дом, а вернее сказать – изба деревенская, очень сильно увеличенные часы-ходики, в виде домика, затейливого, симпатичного, бывали раньше такие.

Гену Айги мы так и не дождались тогда.

Уехали восвояси, под лепет невразумительный сиявшей глазами детскими из полумглы избяной, бревенчатой, шаткой, скрипучей, городской, вполне вероятно, да всё-таки деревенской, сестры поэта, Луизы.

А с Диной Мухиной я порою, изредка, виделся.

Редкостных, надо сказать прямо, достоинств женщина.

Юра Арендт, Юрий Андреевич, сосед мой по Коктебелю, сын Ариадны Арендт, скульптора очень хорошего, женщины, прожившей долгую, трудную жизнь, из круга давних друзей Волошина, сказал мне однажды, у нас, в Киммерии, вдали от Москвы, уже в конце девяностых, что теперь Дина Мухина пишет ещё и стихи замечательные.

И слава богу, что так.

Со словом Дина всегда – я-то знаю – была дружна.

Лариса Галкина. Тоже художница. Тоже – хорошая.

Выставлялась она, когда-то, в середине шестидесятых, на смогистских, уже легендарных, так вот время идёт, вечерах.

Была она долгие годы приятельницей Распопова.

Там с нею мы и познакомились.

Тихая. Очень скромная.

В ней грусть была – неуёмная.

В ней радость была – величайшая.

Тишина в ней была – глубочайшая.

По-настоящему, – я-то знаю, что говорю, за слова свои отвечаю, и давно, и теперь, – одарённая.

Светом ясных высот – озарённая.

Хрупкая, вроде, худая, бледная, птичка маленькая.

Но в ней энергия творческая – была всегда велика.

Была художница – труженицей.

И работы её давнишние, мне запомнившиеся надолго, темпера в основном, выполненные в особенной, характерной её манере, с про-скрёбыванием обычным лезвием для бритвы, по красочному, бугристо-му, шероховатому слою, высветляющихся, мерцающих, вибрирующих фрагментов, сливающихся в единое, таинственное видение, хороши были очень, светились в полумгле мастерской, двоились, разрастались, одна в другую странным образом переходя, вырывались из рам, стремились к свету, к людям, жили своею, независимой, цепкой жизнью, продолжались в памяти, словно дальний шум ночного дождя.

Проявляла порой и характер.

Твёрдость духа. Ясность ума.

К одиночеству привыкала.

Всё умела делать – сама.

Вспоминаю её комнатёнку.

Чистота. Простота. Уют.

Выживала. Растила ребёнка.

Вот и птицы в судьбе – поют.

Вот и шелест лиственный – нежен.

И не страшен – житейский ад.

Вот и взгляд её вновь – безбрежен.

Вот и дело идёт на лад.

Появляется постепенно вереница новых работ.

Остаётся вдали мгновенно череда минувших забот.

Вырастает реальность новая – за окном, за стеной, вокруг.

Прямота правоты суровая. Век и труд. Магический круг.

Добрая в жизни, отзывчивая, в творчестве светлом своём – упорно, за шагом шаг, шла своею дорогой.

Да и в жизни, в быту, в общении, способна была на поступки.

Ко мне, с нашей первой встречи, была она очень внимательна, особенно в слишком уж трудные для меня, скитальца бездомного, измученного, усталого донельзя, мои периоды.

Носик остренький, птичьи глаза, худенькие, как на фресках египетских древних, плечи, прямая, как струнка, спина, пепельные, легчайшие, невесомые, тонкие волосы, белые крепкие руки рабочие – вот Лариса.

Больше четверти века, оставшегося позади, я не видел её.

Жива ли? Что с ней сейчас?

Где её уникальная живопись?

Ничегошеньки я не знаю.

Остаётся – лишь вспоминать.

Соня Губайдулина. Известнейший композитор современный, с мировым, так сложилось всё с годами, именем.

Композитор – с особой судьбой.

Авангардный, само собой.

Соня – птица, на воле парящая, но отнюдь не птица в силках.

Дама, свет Востока таящая в непокорных, дерзких зрачках.
– В струны великих, поверьте, ныне играет Восток, –
далеко не случайно сказал грядущее чуявший Хлебников.
Сложен мир, ничего не поделаешь, а порою и просто жесток.
Выжить в нём удаётся не каждому. Нет ни правил таких, ни
учебников.

Но уныние – грех, как известно. И спасенье – в труде. Всегда.
И над эхом восточной песни разгорелась вовсю – звезда.
В струны Сонины в полную силу Восток играет сейчас.
Да и раньше ведь это было. Проявлялось вдруг. И не раз.
И звучали Сонины струны – сквозь каноны минувших лет.
И вставали вдали кануны дней, приемлющих странный свет.
Диковатый. Крутой. Восточный.
Чуть пугающий. Но – живой.
С ключевой водой проточной.
С гордо поднятой головой.
С горьковатой полынной мглою.
С угольками костров ночных.
С далью, сшитою вкось иглою.
Из лоскутьев. Из слов родных.
С высью звёздной. И с глубиной тёмной.
С упоительной тишиной.
С неизбежностью снов укромной.
Чтобы в яви расцвести дневной.
С чем-то, выстраданным сквозь время.
С возрастаньем извечным тем.
С тем, что пройдено встарь – со всеми.
Что останется – насовсем.

На моём, поразившем сограждан собравшихся, авторском вечере в ненавидимом нами Доме литераторов, в феврале шестьдесят шестого, смогистского, с отголосками бурь недавних и событий печальных, года, Соня слушала, как я читаю стихи свои, словно слушала в тихом зале звучащую музыку, мою, молодую, светлую, музыку – навсегда.

После вечера – Соня тут же подошла ко мне и при всех высказала большое желание написать музыку на мои стихи тех времён, свою, губайдулинскую, авангардную, современнойшую, такую, какую она услышала в речи моей тогда.

Не помню теперь, почему я так и не отдал ей тексты.

Желание так и осталось – доселе – просто желанием.

Соня была женой Марка Ляндю, поэта, жившего в Томилино, в домишке финском, возле поля, где жители блёклого, затерянного с концами в подмосковных дачах посёлка осенью, потихоньку, но упрямо, и даже с азартом, привычно, из года в год, копали себе совхозную картошку, для пропитания, запасы немалые делая в кладовках и погребках, и Марк выходил на промысел, и нас привлекал иногда к работам на поле, и улица, на которой он жил, называлась, конечно же, Полевой, и картошка сгружалась в погреб, который вырыл однажды, самолично, под настроение, и, наверное, по вдохновению, Коля Боков, друг Марка, философ, прозаик, поэт, человек с голубыми глазами, потом, после того как погреб вырыт был и картошка в нём обеспечивала питание Марку Ляндю на целую зиму, – Соня стала женой Коли Бокова.

Однажды летом, в Крыму, в Коктебеле, с его свободой, бывшей по сердцу всем нам, тянувшимся отовсюду сюда, к берегам киммерийским,

к блаженству и счастью, к морю, к синим горам и холмам, к людям, любящим эти места, коктебельцам, как их называли, и теперь называют, хоть сильно поредели ряды их, когда-то, в полном смысле этого слова характерного, неисчислимы, году в шестьдесят восьмом, только добравшись в свой рай прибрежный, с Кавказа, разительно непохожего на Киммерию, с её благородством строгим, с Кавказа, буйного, пышного, пряного, декоративного, всё же чуждого несколько мне, в отличие от домашнего, милого сердцу Крыма, из Сухуми, где жил я предместье Диоскурии, древнего города, в доме знакомых, у моря, едва отдышавшись с дороги, выхожу я на коктебельскую набережную, чтобы прогуляться и оглядеться, и вижу такую картину: идут мне навстречу бодро вдоль шумной, сине-зелёной, с зигзагами пенными, линии прибоя, видением чудным, Соня с Колей, оба весёлые, загорелые дочерна, невероятно спортивные, сейчас бы таких для рекламы немедленно сняли, в кедах, с тяжёлыми рюкзаками, и рассуждают спокойно, понимая друг друга, пожалуй, с полуслова, нет, с полувзгляда, было так, о высоких материях.

Оказывается, они путешествовали, вдвоём.

Пешком, на ходу рассуждая о том да о сём, без надрыва, наблюдая красоты окрестные, прошли они через высокие кавказские перевалы, вышли к морю, дальше пошли, да так вот и оказались, почему-то, уже в Крыму.

Страсть к ходьбе, везде и всегда, в Коле жива и поныне, как выяснилось позднее, со временем, лет через тридцать.

Возвращавшиеся на родину эмигранты охотно рассказывали, что Боков и половину Америки исходил, по привычке давнишней, пешком, и всю исходил Европу, и до Святой земли добрался, и всю её тоже исходил, на своих двоих, разумеется, то есть пешком.

Это вполне в его духе.

Может быть, для походов своих он, любитель пеших прогулок, на свежем воздухе, на длительные расстояния, и из пещеры, которую вырыл он для себя в благословенной Франции, выбирался. Да наверняка.

Не сидеть же ему годами в темноте глухой, под землёй!

Иногда, и он это знает, лучше многих своих знакомых, полезно и поразмяться.

Ну а Соня, расставшись с Колей, отбывшим в эмиграцию, когда-то, в семидесятых, – преспокойно, без всяких сложностей, по собственному желанию, по известным лишь ей одной и весомым, наверно, причинам, уехала за границу.

Как только у нас в стране, после развала Союза, появилась, пусть и особая, не такая, как в прочих краях, необычная, мягко скажем, ибо жёстко стелет судьба для России пути-дороги, заковыристая свобода.

Живёт она, вроде, в Германии.

Стала теперь знаменита.

Музыка Сонины всюду, повсеместно и повсемирно, широко, постоянно, с триумфом исполняется. Музыка – всё для Сони. И здесь она, как говорится, дома.

Не знаю, ходит ли Соня, как в былые, уже легендарные, отшумевшие времена, подолгу, помногу, – пешком.

Но уверен я твёрдо, что прежние пешеходные путешествия ей на пользу только пошли.

Данте, бродя в одиночестве по каменистым тропам Тосканы, в тоске по Флоренции любимой, его, поэта, изгнавшей куда-то в пространство,

а может быть, прямо в вечность, терцины своей «Божественной комедии» сочинял.

Жаль, что когда-то, в конце шестидесятых, Эрнсту Неизвестному, при иллюстрировании этой книги, не удалось хождение именно выразить, движение, – впрочем, задачи у него были рода другого, да и ещё и офорт, безусловно, – техника не такая уж подходящая, что тут поделаешь, для передачи движения, – но зато Эрнст вполне успешно осуществил движение в пространстве, прошёл сквозь время, – и, перебравшись в Америку, ездит себе, при желании, по миру, иногда заглядывая и на родину, и наверняка такое движение, без принуждения, исключительно по желанию, помогает ему и в творчестве.

Соня же Губайдулина, без сомнения всякого, помнит прежние путешествия.

И они, вполне вероятно, стимул дают и движение нынешней её музыке.

Откуда она, эта музыка?

Всё оттуда же, из крылатых, невозвратных шестидесятых.

Потому что и Соня сама – из породы людей, о которых можно сказать лаконично: люди шестидесятых.

Талантлива? Да, конечно.

Даже очень. Дано ей это.

Стремление в ней – извечно.

К Востоку. К началу света.

Запад есть Запад. По Киплингу.

Мы привыкли читать между строк.

И на Сонином нотном стане

прочитаем: Восток есть Восток.

В ней живо – самое главное: горение. Потому-то – жива её музыка в мире, некая часть которого была ещё в шестидесятых изведена ею – пешком.

Ну конечно же – как же всем без него в богеме столичной обойтись, мне скажите? – Василий Яковлевич, художник, известнейший, нет, знаменитый, по всем статьям именитый, такой, что заткнёт за пояс любого запросто, Ситников.

Борода, жёстким клином, всклокоченная, со снежком седины, – вперёд.

Руки, жилистые, ухватистые, рабочие, длинные, сильные – взлетают мгновенно вверх, опускаются разом вниз, раскидываются неожиданно, крестом широчайшим, в стороны, смыкаются, вновь приходят в стремительное движение.

Ноги в старых, но крепких ещё, сапогах начищенных по полу приптывают, приплясывают.

Фигура крепкая, сбитая, – никакого лишнего жира, сплошные бугристые мышцы.

Кость прочная и тяжёлая, ничем её, даже битой бейсбольной, которой ныне пользуются бандиты, сроду не перешибёшь.

Глаза, то с прищуром едим, то широко раскрытые, в зависимости от разных обстоятельств житейских, пронзительные, с этаким, в жёстком зрачке, лукавым смешком, с хохотком, но вот всё вокруг замечающий, до поры, до времени, взгляд превращается вдруг в стальное, разящее наповал, при надобности, остриё – и тогда уже ждите атаки, тогда ледеенеют глаза, зрачки сужаются, словно прицеливается в кого-то пощады

не знающий Ситников, рассчитывает свой выстрел из лука, мало кому видимого, но я всегда его, лук этот, видел, так это мне представлялось, – и тетива тугая привычно, умело натягивается, и стрела, удивительно меткая, блеснув на мгновенье, как молния, раскалённая до предела, обжигающая, разящая даже видом своим, летит, и точно, в десятку, в яблочко, попадает в нужную цель, промахов не бывает.

А потом опять он дурачится, ёрничает, балагурит, шутит этак порой необычно, грубовато, шероховато, по-народному, а ля рюс, да всё с вывертами, с поворотами, с закидонами вроде, с бредятинкой, а прислушаешься – и тут же понимаешь: всё это, братцы, и свежо, и оригинально, и умно, даже очень умно, и всегда по делу ведь сказано, вовсе не просто так, не для красного, с перцем, словца, не для национального вовсе, с русским духом сквозь мглу бесчашья безнадежного, колорита, совершенно не для того, чтобы с диким, дремучим запалом, постоянно, упрямо подчёркивать, что он не такой, как все, – нет, было здесь нечто большее, здесь была своя философия – поведенческая, бытовая, повседневная, вроде бы, пусть, а на самом-то деле – творческая, ибо всё превращалось в творчество, и каждое слово его, словцо, иногда и молчание, было чем-то вроде мазка крохотной лёгкой кисточкой по холсту, и соткано всё было из красочных частных, из деталей мельчайших, каждая из которых работала, будучи частью целого, только на целое, и потому словесные тирады его, рассыпчатые, хрустящие на зубах, как сахар в детстве, и все грозящие перейти границы кем-то дозволенного, переходящие эти границы условные, смело, с куражом врождённым, с победным видом, с геройской повадкой, мол, казак всегда ведь в седле, не забывайте об этом, современные люди, божественная орда, разномастная слишком, чтоб в расчёт её брать, высказывания, неизменно парадоксальные, поучения, наставления, присказки, прибаутки – неотделимы вовеки от его ювелирной живописи, да и весь он, такой, как есть, вообще неделим, поскольку, в любой ситуации, – целен, вообще он – сплошная, народная, выживаемость и независимость, – и, юродствующий, он всегда защищён, и на нём не драная, решето, да и только, дыры, да прорехи, да швы, одежонка, но кольчуга, и кисти его, стрелы его, слова его – всегда и везде при нём, вот и выходит, что он – воин, порода такая, ничего не поделаешь с этим, он воин, пускай одиночка, но так вот, пожалуй, и надо, и это его устраивает, он в поле – во всеоружии, один, а ему – хорошо, ни от кого не зависит он, сам хозяин себе, сам себе голова, и поступки он совершает, поскольку способен совершать поступки, и даже, пусть звучит это громко, подвиги, но бывало ведь с ним и такое, и я-то об этом знаю, и что-нибудь отвергает решительно, принимает что-нибудь горячо – в одиночку, сообразуясь с тем, что ему подсказывает компас верный, его чутьё, а чутьё у него отменное, – и он из своей коммунальной комнаты в центре столицы, где всегда он в центре внимания, выбирается в гости, и там, в шумной компании, тоже, незаметно как-то, без всяких усилий лишних, естественно, потому что нельзя иначе, он таков, поймите, оказывается почему-то в центре внимания, и крутится таким штопором, ввинчивается, вонзается в самую суть того, что ему открывается вдруг, по наитию, по чутью, и взлетает слегка над полом, и парит в прокуренном воздухе, и весь уходит в движение, поскольку никак нельзя ему без этого, жизнь – в движении, и незачем, право, лодырничать, – работайте, братцы, – «ефто» спасение ваше, а в будущем всей путаной жизни вашей и ваших упорных трудов оправдание, да какое!..

Ситников в СМОГе – был.

Ситников СМОГ – любил.

А вернее, любил он, сразу выделив их, из прочих, стихи – мои и губановские.

Помню множество встреч, разговоров.

Помню Ситникова – счастливого: есть поэзия! – русское слово, не смотря на запреты, живо!

Помню его – за работой: холст, мазок за мазком, расцветал. Человек этот был, в Москве, и во всей стране, – очень нужным.

В шестидесятых люди сами тянулись к нему.

Да и позже к нему тянулись.

Для многих художников наших был учителем лучшим он.

Вразумил их вовремя, долго наставлял, опекал, защищал, дал им веру в себя, вывел в люди.

Создал школу свою живописную.

Был любим, уважаем и чтим.

И зачем он уехал в Америку?

Чтобы там – захиреть, умереть?

Непонятно. Непостижимо.

Знать, чужое там было поле.

Оставался бы в поле отечественном, пусть – один, как всегда, по привычке, по традиции давней своей, – может, пожил бы он подольше. Вот и «ефто». Что за судьба?

Впрочем, был он всегда – в движенье, а за ним ждало – постижение: поля нового, доли, боли. Путь. Видать, недосуг ему было пот рабочий стяхнуть со лба.

Семья Кропивницких. Славная.

В богеме – наверное, главная.

По всем статьям – знаменитая.

Словно книга – слегка приоткрытая.

Сквозь бесчашье – брезжащий свет.

Групповой – как уж вышел – портрет.

В самом центре, конечно, Евгений Леонидович Кропивницкий.

Глава семейства, большого, творческого. Патриарх.

Самый главный и самый важный, в семействе своём талантливом, а может быть, и во всей богеме столичной, таинственный, знаковый человек.

С виду тихий. Всегда спокойный.

Так могло показаться. Кому-то.

Чужим, посторонним людям.

Властям. Но только – не нам.

Внутри – клокотали страсти.

Скрытые от людских, любопытных чрезмерно, глаз.

Не пускались туда – напасти.

Горение в нём великое – было не напоказ.

Вся тяжёлая жизнь былая иногда прорывалась наружу.

Но – тут же, чуть обозначившись, показавшись, обратно пряталась.

Нельзя, чтобы все – видели.

Нельзя, чтобы многое – знали.

Кому какое, простите и поймите, до этого дело?

– Судьба нелёгкая, – промолвил Лао-Цзы, –

как сказал в своей книге «Сонеты на рубашках» его ученик прилежный, Генрих Сапгир.

Генрих – тот, вроде бы, так утверждают, букву одну в своей фамилии краткой, для благозвучия, видимо, когда-то, под настроение, неизвестно – зачем, изменил.

Был – углублённый в себя, своим становлением занятый, долгим, упорным, Сабгир.

Стал – обновлённый, встряхнувшийся, состоявшийся как поэт, авангардный, богемный, Сапгир.

«Б» на «п» исправил зачем-то.

(У Хлебникова в «Ладомире» сказано было так:

– Это шествуют творяне, заменивши Д на Т...

Но это – совсем о другом.)

Старый, опытный, мудрый, живущий в мире своём, сберегаемом в глубине души, Кропивницкий – ничего никогда в своей жизни трудной не исправлял.

Он принимал её – всю, такую, какой была она, какая была ему, однажды, свыше, – дана.

Он – радовался бытию.

Верил – в звезду свою.

Своему многогранному дару цену прекрасно знал.

Чутью своему точнейшему давным-давно доверял.

Головы, даже в годы тяжёлые, слава богу, он не сложил.

Он – просто-напросто жил.

Но, замечу тут же, при этом – и не совсем просто.

Был – сплошным продолжением роста.

Духовного, прежде всего.

Творческого. Извечного.

Везде и во всём – человеческого.

Крайне важного – для него.

Жил – свет в небесах любя.

Жил – землю славя свою.

В аду – жил, словно в раю.

Жил он – внутри себя.

А ещё жил – внутри своего, надёжного, узкого круга.

Во время оно им созданного.

Буквально из ничего.

(Так могло показаться кому-то.

Но мне так вовсе не кажется.

Круг доверия и уюта.

Столько судеб в нём вместе свяжутся!)

И получилось ведь, надо же, – кое-что. Даже больше – что-то.

Нечто. Нити срослись духовные. Разрослись, как цветы, щедроты.

Небольшого, в общем-то, роста, но довольно широкий, устойчивый, спокойно, привычно, уверенно ходил он по той земле, которую постигать не уставал, которую, попавшую вдруг в историю, по-своему, разумеется, с неповторимыми нотами, в своём ключе и тональности, без помпезности, без банальности, с откровениями, прозрениями, наблюдениями точнейшими, со словами наивернейшими, ужасаясь всему и тут же, неизменно, им восхищаясь, ни с властями, ни с общим бредом по привычке не пререкаясь, на своём пути одиноком страстно, искренне воспевал.

Обожал он прогулки, долгие и неспешные, – на природе.

Замечал он то, что другому не дано заметить – в природе.

Получал он заряд энергии от своих наблюдений в мире.

Лаконичен был он в письме, ну а мыслил – гораздо шире.

В домашних условиях – сживал, вроде, в сторонке где-то.
Но оттуда – из глаз его – вырывались потоки света.
Но оттуда лишь – от него – исходили всегда все токи.
И стихии кипели в нём, продлевая земные сроки.
И все нити незримые крепко держал он в своих руках.
Вот какие бывают силы в некоторых стариках.
Он был – прирождённый, редчайший, здесь, у нас, педагог. От Бога.
Ненавязчивый. Терпеливый. И давал он всем нам так много!
Был учитель он – по призванию. Был наставником. Добрым другом.
Звёздным странником. Вечным путником – над земным завьюжен-

ным кругом.

Он был – человек созидающий.
О грядущем своём – не гадающий.
Обретающий всё – в движении.
Был он – вечное постижение.
Продолжение всех традиций.
Нарушение всех амбиций.
Утверждение всех новаций.
Сквозь бесчашье – всех навигаций.
Всех сражений – с жестоким злом.
Словом, поднятым – над числом.
Как фонарь. «Ищу человека!»
Неотрывным был он – от века.
Своего. Каков уж он – есть.
Был он весь – как добрая весть.
В жизни многих. И – в судьбах их.
Был всегда он – среди своих.
Благо, были свои – при нём.
Не играл он зазря – с огнём.
Он в себе его смог – сберечь.
Продлевал он – русскую речь.
Сохранял её – от невзгод.
Летописец. И – пешеход.
Бурь свидетель мирских и гроз.
Было всё в нём всегда – всерьёз.
Шёл он – к сути. В корень глядел.
Никогда не сидел – без дел.
Дело жизни – школа его.
В ней – заветов его торжество.
Дело жизни – в созданном им.
Был он выше от бед храним.
И прошёл сквозь них – словно луч.
Был он – верой своей могуч.
Был он – тайной своей силён.
Был велик своим светом он.
Светом правды. Светом тепла.
Перед ним исчезала мгла.
Перед ним открывался – путь.
Внутрь явлений. В самую суть.
Жизни смысл прояснялся вновь.
Ведь в основе всего – любовь.
Ко всему и ко всем вокруг.
Может, кто и воспрянет вдруг.

Может, что и очнётся вмиг.

Вот какой был этот старик.

И он, прозорливец, – учил.

Он, отшельник, творец, – созидал.

Мало того, что в течение долгих, достаточно сложных, а порою кошмарных лет, в затворничестве своём, плодотворном, сознательном, творческом, в отрешении от мирской, чуждой ему суеты, социальных проблем, барачного, подмосковного, дикого быта, столичного, заурядного, вопиющего безобразия, всеобщего, всесоюзного, на почве родной наростом прижившегося бесчасья, написал он такое количество своих уникальных стихов, что, уже в нагрывавшей с явным запозданием для него, не сдающегося, упрямого человека, досадной старости, когда он не то чтобы сразу же, нет, с боем, сопротивляясь всеми силами, духом всем, старению, неприемлемому для горения, одряхлел, но как-то постариковски, что, впрочем, вполне объяснимо, если возраст вспомнить его, устал от всего вокруг, с трудом умещались эти писания многолетние во множестве чемоданов.

Мало того, что поистине, полагаю, неизмеримое число работ живописных и графических создал он.

Создал он ещё и свою – нет подобных ей и в России, и в далёких западных странах, в мире нет ей подобных, – школу.

Руководил Кропивницкий – упорным противостоянием отвратительному режиму, всяческой официальной шелупони в русском искусстве – он противопоставлял своё собственное искусство и искусство людей талантливых из своего, надёжного, близкого окружения.

Приветливый, очень воспитанный, чрезвычайно простой в общении с людьми, был он внутренне горд, всегда и повсюду помнил о собственном, личном достоинстве, о крылатой своей душе, и ещё, подчеркну сознательно, прекрасно знал себе цену.

Ещё всё той же, столь щедрой на события и на знакомства хорошие, важные, осенью шестьдесят четвёртого года, когда я, провинциал, степняк, молодой поэт, поступив довольно легко, несмотря на огромный конкурс, в Московский университет, стал жить наконец в столице, когда, непрерывно знакомясь с творческими людьми, впервые услышал о нём, а потом и увиделся с ним, я отчётливо понял: он – легенда, причём не из этих, на скорую руку состряпанных, а настоящая, давняя, с прочной, серьёзной основой, со всеми необходимыми для этого предпосылками, со всем, широчайшим, пёстрым, прямо-таки устремлённым к нему одному, стечением самых разных порою, жизненных и творческих обстоятельств, которые все работали – на него, всегда – для него.

Там, в своей тишине, в простоте, в затворничестве многолетнем, был он – может быть, самой сложной и самой загадочной личностью из всех знакомых, которых я считал таковыми.

И живопись ведь его, внешне вроде бы лёгкая, простенькая, отчасти, в чём-то, хотя бы в чистом взгляде на мир, наивная, на поверку, на самом-то деле – очень сложная, с элементами своеобразного эпоса и лиризмом сквозным, трагическая.

И стихи его, вроде бы, надо же, такие уж, батюшки-светы, ничего себе, братцы, простенькие, порой почти примитивы, ну вот, например, такое исчерпывающее, точное описание некоей осени:

«Улетели птички. Отсырели спички»,

на поверку тут же оказывались весьма и весьма непростыми, сложными, многоплановыми, это был наполненный всеми приметями бы-

тия, всей окрестной, будничной, праздничной, бестолковой, неповторимой, многослойной и многоликой, той, что щедро была дарована, свыше, с детства, той, окружающей душу в зрелости, жизнью, мир.

Кропивницкий старый, Евгений Леонидович, сам был – целый, всеми звёздами озарённый, всеми радостями звучащий, всеми горестями скорбящий, всеми чаяниями наполненный до предела, верой хранимый и любовью спасаемый, мир.

И те его современники, соратники, собеседники, кто понимали это, благодарны были ему – за то, что могли вместе с ним бродить в этом, дивном, всё-таки, несмотря на все сложности или несуразности всякие, частности житейские, огорчения и заботы насущные, мире, могли в нём жить, по желанию, а могли и на время выйти из него, чтобы после опять вернуться, – мир Кропивницкого был объёмным, полифоничным, там вдосталь было волшебной, по-своему, тонкой, серьёзной, грустной и светлой, музыки, настоящей, собственной, страстной, современной, из века двадцатого, конкретной, трезвой, осознанной как выход из всем нам навязанного социального тупика на просторы нашей вселенной, вдосталь было там естества, да и ещё и того вещества, из которого, как планеты, неустанно формировались, под его наблюдением пристальным и всегдашним его руководством, словно им вдохновенно изваянными из рук его выходили, – новые личности творческие, со своими уже, отдельными, так задумано было заранее, так и вышло, больше ли, меньше ли, связи с миром главным учителя ни на миг никогда не теряющими и незримо им направляемыми на путях, земных и небесных, но тоже самостоятельными в движении жизненном, собственными судьбами и мирами.

Как уже было сказано, старый Кропивницкий был – прирождённый, дерзновенный, упорный творец.

Следует помнить, при этом, акцент здесь особый сделаю, что был он ещё и боец.

Да, представьте себе. Так – было.

Потому что, вроде бы редко появляясь на людях, там, где кипела богемная жизнь, где бурлила жизнь повседневная, где скисала жизнь государственная, советская, узаконенная, замешанная на крови сограждан, чумная, коварная, в основе своей бездарная, мифическая отчасти, с мистическим едким душком, от которого в горле ком нарастал, и сердце сжималось в тревоге, всё возрастающей, в тоске, пределов не знающей, стараясь не навлекать на себя различные беды, гонения и невзгоды, которых и так уже было на его веку предостаточно, вёл он – всю свою жизнь – борьбу сознательную, со злом, во всех его проявлениях.

Побеждал он в итоге зло тем, что нёс он людям – добро.

Свет был в нём, животворный, ясный.

Свет развеивал мглу и тьму.

И тянулись люди к нему.

Знали все: человек он – прекрасный.

Ко мне относился он всегда с теплом и вниманием.

Понимал, что мои задачи творческие – совсем иного рода, иного направления, что ли, в стихии русской речи, строя иного, духа, света, пути, восприятия всей вселенной как дома единого, ясной музыки изначальной, и наития, и чутья, и всего, что формировало непрерывно мою поэтику, и всего, что было моим, незаёмным, особенным, личным, было голосом и лицом, слухом, зрением, осязаньем, осознанием себя в распахнутом чувствам всем и поступкам всем непростом и прекрасном

всё же, мне дарованном свыше мире, нежели все его чёткие собственные задачи.

Уважал – за эту мою очевидную самостоятельность, непохожесть на прочих, которых было вдосталь в те времена.

И я в нём ценил всегда его собственную, безусловную непохожесть на всё остальное, и уважал его искренне – за то, что сумел он выжить, сохранить в себе свет, продлить – сквозь безумие прожитых лет, отшумевших вдали, – несравненное, да, читатель мой, именно так, помни это, горение творческое.

В Кропивницком старом, в одном, – как матрёшки, мал-мала меньше, – все им созданные поэты и художники, начиная с Холина и Сапгира, вся немалая, разношёрстная, лианозовская компания.

Но его и ещё на стольких же, полагаю теперь, хватило бы.

Но ему и того, что есть, было вполне достаточно.

Знал он меру во всём. Чувство меры в высшей степени было ему, патриарху седому, присуще.

В стихах моих – он увидел, сразу же, с первых же строк, услышанных им, а потом, чуть позже, ещё и прочитанных с листа, в самиздатовских книгах моих давнишних, которые, разбредаясь по всей стране, добирались и до него, совсем другой, интересный ему, импульсивный, собственный, наполненный всеми красками и звуками бытия, изумлявший и притягательный, собственный, светлый мир.

То есть, то же, что видел я и в его, Кропивницкого, творчестве.

Поэтому с ним общались мы – понимая наличие, в каждом из нас, абсолютно разных, существующих самостоятельно в поэзии русской, целостных, жизнетворных, личных миров.

Так вот, в советской действительности, в промозглости дней дождливых, в холода ли, в жару ли, весною ли, в дни, когда тополиные почки разбухают и вот выпускают на волю, поближе к свету, молодую, клейкую зелень первых свежайших листков, а дети играют в мяч, и кто-то хлопает форточкой, желая всей грудью вдохнуть побольше тёплого воздуха, и где-то играют гаммы, а воронок милицейский везёт кого-то в участок, и спички уже на кухне барачной не отсыревают, и птички вовсю поют, всё равно – когда, всё равно – в былом, где когда-то все ведь мы, соратники, современники, собеседники давние, жили, общались, порою дружили, задушевно, запросто, с пользой для каждого несомненной, с тайной в каждой душе сокровенной, с тягой к истине впрямь незабвенной, два мира, друг в друга вглядываясь, присутствию каждого радуясь, друг с другом встарь говорили.

Потапова Ольга Ананьевна.

Художница чудная. Тихая, задумчивая, таинственная.

Свет нездешний. Чистейший цвет.

Взгляд – сквозь время. Другого – нет.

В нём – обломки земных примет.

Звёзд остатки. Хвосты комет.

Лет растаявших лёгкий след.

Звук былого. Простой ответ.

На вопросы – извне – любые.

Вздых невольный. Пути мирские.

В поднебесье – тропа своя.

Человечьего знак жилья.

Пусть – провинция. Пусть – барак.
Пусть – Москва. Значит, надо так.
Мрак – отхлынет. И мгла – уйдёт.
Если сердце – чего-то ждёт.
Если в душу придёт – весна.
Если цель впереди – ясна.
Если холод средьзимний – лют.
И спасает – всегдашний труд.
Художница необычная.
Выразительница недосказанного.
Сказительница. Рукодельница.
Может быть – даже волшебница.
Долгие годы – супруга Евгения Леонидовича.
Верная, добрая, умная, достойная, светлая женщина.
Дама. Соратница. Друг.

И слова её – все, без вычетов, негромкие, но серьёзные, значительные во всём, в любой, казалось бы, мелочи, рачительные, разумные, светящиеся на солнце и при свече, горящей в обиталище скромном, на грани города и раздолья пригородного, на грани забвения и вдохновения, откровения и прозрения, в котором ясны очертания других, небывалых миров, уводящих в дали, где грезится пора блаженных даров, слова со своею музыкой, прерывистые, волокнистые, со сквозной золотую нитью, с прожилками тонкими, чистые.

И работы её – прозрачные, словно камешки-самоцветы коктебельские в дни, когда плещут волны, и берег весь, влажный, летний, усеян ими, собирай – не хочу, бери, если хочешь, в ладонь, смотри, перемешивай их с другими, потихоньку перебирай, словно чётки, сложи в узоры, чтоб ненастья нам ждать нескоро, чтобы цвёл киммерийский рай.

И жизнь её, долгая, трудная, жизнь юдольная, жизнь земная, – при всём, что пришлось ей вынести на пути своём, – очень светлая.

Такая, что чудится мне за нею ныне – сияние.

Лев Кропивницкий. Художник.

Авангардный, конечно. Иначе, наверно, и быть не могло.

В молодости – нахлебался горя, сидел в лагерях, вместе с другом своим, художником очень хорошим, тонким, несколько неотмирным, как могло показаться кому-то, но на самом-то деле просто преображавшим явь по-своему, и видения создававшим на фоне страшной действительности советской, в живописи и в графике, лаконичной и удивительно тонкой, трепетной, точной, волшебной, Борисом Свешниковым.

Испытаний разнообразных в жизни Льва Кропивницкого было предостаточно, даже с избытком.

Сын Евгения Леонидовича, он и путь в искусстве избрал себе – непростой. Но – творческий. То есть – в непрерывном движении, в поиске ритмов, образов, красок, форм, новых способов и возможностей выражения мыслей, чувств, дерзких замыслов, смелых решений живописных, графической резкости в каждой линии, грубоватости, первобытной какой-то, и всё-таки, вместе с тем, элегантно, даже, я сказал бы, хорошей изысканности в том, что он создавал годами терпеливо, сосредоточенно, как и надо, впрочем, художнику настоящему в жизни вести себя, находиться в трудах всегда, поднимать постоянно планку для себя, чтобы рваться ввысь, вглубь и вдаль, да и марку держать, зная цену себе и другим, в непрерывном этом движении, в беззаветном

искусству служении быть, везде и повсюду, всегда, в ситуациях непредвиденных и в быту, в мастерской, у мольберта, неизменно, самим собою

Он многое сделать успел.

Был в жизни он честен и смел.

В искусстве он был – новатором.

Открывателем новизны.

Любителем старины.

И, вместе с тем, – реформатором.

Не просто – искателем. Нет.

Умел он – своё находить.

Умел – за собой уводить.

Из тьмы выводить – на свет.

Живопись, графика Льва – динамичными были всегда, с энергетикой, в них клокочущей, с электрическими разрядами, с раскалёнными, воспалёнными, оголёнными, словно лезвия, словно иглы колкие, молниями, с гармоничным, при всё абстрактном тяготении к дисгармонии, грозовым, ненастным звучанием, с бесконечным, сквозь мглу, молчанием, с угловатым тонов течением, с узловатым, крутым влечением к просветлённости, столь желанной, что была она долгожданной, и всегда приходила вдруг, вовлекая в незримый круг слух и зрение, чувства все, в жарком, огненном колесе побывав поневоле, – так возникал сквозь работы – знак: жизни, песни, сплошной борьбы, знак надежды и знак судьбы.

Лев не лез никогда ни в какие, даже в самые перспективные или модные, группировки.

При множестве тесных дружеских и приятельских давних связей – был всегда он, всю жизнь, одиночкой.

Он писал и стихи. Опять-таки не такие стихи, как у всех.

Собственные. Особенные. Такие, какими они получались. Оригинальные. В каждом слове и в образе каждом, да и в букве любой – свои.

В девяностых годах Толя Лейкин издал его книгу, с его же выразительными рисунками.

Помню Льва у Сапгира – собранный внутри, приземистый, жёсткий, крепкий, с железной защитой от всего, что мешало ему.

Взгляд из-под крепких очков – как перископ – наружу – ненадолго, бывало, выдвинется: так, обстановка ясна, – и снова взгляд убирается, как перископ, вовнутрь.

И – подальше от суеты.

В свой, хранимый от глаз недобрых, драгоценный, внутренний мир.

Хватало ему вполне всего, чем давно привык он заниматься, день изо дня.

Прежде всего – своего, душу спасавшего, творчества.

Всё остальное – потом.

Занят он был – трудом.

Кропивницкая Валентина. Художница. Дочь Евгения Леонидовича Кропивницкого.

Лицо у Вали – сквозь время, сквозь драмы этого времени, и радости, и печали всегдашние, – белое, чистое.

Глаза с большими, какими-то избыточно влажными, тёмными, с особым, сквозь ночь, свечением, внутри, в глубине, зрачками, то грустные, то с весёлою в них искоркой, возникающей сквозь грусть и медленно тающей в хрустальном их отдалении от всяческой суеты, от бреда, для них излишнего, от шума, совсем не слышного, живущие, как цветы.

Спокойная. Терпеливая.
Конечно, трудолюбивая.
Воспитанная. Рассудительная.
В каждом жесте своём – убедительная.
Все грехи разным людям – прощающая.
Ничего им – не обещающая.
Кроме дивной своей доброты.
Кроме сложной своей простоты.

В тишине её, вовсе не в омуте, водились зверушки некие, сказочные, из её щедрого воображения вышедшие и живущие собственной странной жизнью.

Их она и рисовала.

Была Валентина женой давней Оскара Рабина.

Преданной. Любящей. Верной.

Всё с ним в жизни супружеской за долгие годы – вытерпела.

Всё, что выпало ей на долю, как сумела, перенесла. Молчаливая. Говорила, особенно в шумных компаниях московских, богемных, буйных, говорливых, крикливых, мало.

На людей смотрела она – вроде бы издалека, из той страны потаённой, где жили изображаемые ею, всегда загадочные, в природе таких не встретишь, лишь на её работах повидаешься с ними, зверушки.

Была хорошею дочерью.

Хорошей, наверное, матерью.

Была вообще – хорошей.

Без негативных черт.

За гранью, вдали, – всё прочее.

Стелилась дорога – скатертью.

Покрылась – белой порошей.

Мир был – жестокосерд.

Чего же в нём только нет!

Былого в нём – нет в помине.

А Валя светла поныне.

И нет в ней совсем – гордыни.

Есть – вера. И взгляд – из бед.

С такими – стоят святыни.

Сквозь морок ненастных лет.

Сквозь весь их разлад и бред.

Страдалица. Берегиня.

Предутренный ранний иней.

След лёгкий за гладью синей.

Неспешный вечерний свет.

Рабин Оскар. Художник.

Лидер неконформистов.

Интересная, подчеркну, далеко не случайно, фигура.

Был очень на месте – в Москве.

Холсты свои продавал порою ещё сырыми, едва успев написать их, – настолько велик был спрос в советские годы на них.

Раз в неделю, в шестидесятых, когда жил он с семьёй своей уже не в бараке пригородном, а в Москве, на Черкизовской улице, принимал он, маэстро, известный и на родине, и за границей, и на этом акцент я сделаю, что вполне понятно, гостей.

Показывал им свои, как правило, немногочисленные, но зато всегда впечатляющие, безотказно, в десятку, работы.

Невозмутимый, с выбритой, задолго до нынешней моды на бритоголовость повальную тусовочную, головой, поблёскивая очками, стоял у мольберта, изредка давая, к месту, ко времени, краткие пояснения.

Ставил вначале один холст, а потом, помедлив, помолчав, покурив, другой.

Обычно их было немного.

Потому что новые вещи сразу же, незамедлительно, получалось всегда только так, повелось так давно, уходили в чьи-то хваткие, цепкие руки, в основном к иностранцам, любителям авангардного, запрещённого в отечестве нашем, искусства.

Небольшой, без излишеств, скромный, даже скудный, запас работ всё-таки дома держал Рабин – чтобы, при надобности, было что показать зарубежным гостям и согражданам.

Человек очень трезвый, практичный, с политической жилкою, умный, временами казался он мне мозговым, не иначе, центром некоторой, не всей, всех не брал он в расчёт, зачем, ни к чему тратить порох, части московских, близких ему, в разной степени, составлявших тесный круг, по различным причинам, даже дружеский круг, наверное, известных у нас и на Западе, и особенно там, на Западе, где свобода была, художников.

Да так оно всё и было, если в корень смотреть, на деле.

Идеи Рабина, все, без вычетов, осуществлялись, и всегда – с неизменным успехом.

Ну вот, например, пресловутая «бульдозерная», со скандалом, с шумом в прессе западной, выставка.

Трезвость в нём и практичность жили везде и всегда.

В трудах его поступательных.

В действительности советской.

И даже в обычном застолье.

Выпить и закусить хорошенько он очень любил.

Но головы Оскар никогда и нигде не терял.

Ничего не могу сказать о его как будто укрытой плотным чехлом образованности.

Он не любил беседовать.

При встречах всё больше помалкивал.

В период нашего СМОГа я довольно часто к нему приводил своих многочисленных, рвущихся поглядеть работы его, знакомых.

Оскар принимал – всегда.

Можно было, под настроение, просто взять да приехать к нему, днём ли, вечером ли, позвонив ему и сказав, что хочешь увидетсья, и услышав его «приезжай», чтобы там, в квартире на первом этаже, побыть у него час-другой, а то и подольше, немного с ним, в кои-то веки, спокойно поговорить, немного, само собою, и это понятно, выпить.

Оскар всегда был радушен.

И приветлив. И добр. И внимателен.

Был хозяином в доме своём.

Был – моим хорошим знакомым.

Не больше? Но и не меньше.

Приятелей и друзей и так у меня хватало.

Помню его – неизменно сдержанным в проявлении разнообразных эмоций, полностью отдающим отчёт себе в том, что теперь положение

у него, несмотря на всю очевидную неофициальность его занятий любимой живописью, на удивление прочное, что молодость и нищета – где-то в далёком прошлом, как и его ученичество у старого Кропивницкого, а теперь есть квартира хорошая, дом в деревне, для отдыха, есть, деловые знакомства всякие, среди них и солидные, важные для карьеры художника, есть, есть надёжные, постоянные, год от года всё более крупные, что любому приятно, заработка, есть известность, всё более крепнущая, да и прочее, необходимое в жизни, есть, остальное же – будет, обязательно вскоре будет, – и усы его, коротко стриженные, шевелились над плотно сжатыми, с ядовитым изгибом, губами, и только в глазах его чудилась иногда мне внезапно мелькающая то ли грусть, то ли просто усталость – от чего? от кого? почему? – никому не узнать никогда.

В семидесятых Рабин, с Валею и сыном Сашей, навсегда уехал на Запад.

Саша вырос, художником стал.

А потом Саша Рабин – погиб.

Как-то видел я по телевизору, в передаче о нынешних «русских парижанах», действительно странных, для чужого-то мира, людях, то есть о бывших московских, в прежние годы, художниках, ныне живущих в Париже, Оскара Рабина с Валею Кропивницкой – оба такие тихие, что тишина в них сущностью их была, сдержанные, молчаливые, с виду совсем, как в сказке русской, старик со старухой.

Будто бы не в парижском ателье сидят они рядышком, а где-то в ином, нарисованном Валею, сказочном мире, даже, возможно, мирке, небольшом, симпатичном, уютном, на берегу спокойного, прозрачного водоёма, среди широко разросшихся густых, остролистных растений и славных, добрых зверушек, и солнышко пригревает, или в небе сияет луна, всё едино, всё тихо, спокойно, здесь уютно им, здесь они дома, к ним подходят зверушки добрые, разговоры с ними заводят, а они сидят и молчат.

«Простые, тихие, седые...»

Не о них это было сказано.

А припомнишь – так, вроде, о них...

2

...Раздаётся звонок – беспокойное Морзе, истощное SOS! – открывается дверь – и в квартиру врывается Зверев.

Толя под хмельком, но не пьян.

А точнее, поскольку точность, как в рисунке или в поэзии, и важна, и необходима, да ещё и незаменима, как и сам художник, пришедший в гости к другу и здесь нашедший и вниманье, и пониманье, скажем прямо – не слишком пьян.

Одежда на нём заграничная, такой в магазине московском при всём желанье не купишь, просторная и удобная, ещё относительно чистая, хотя об неё то и дело вытираются тщательно вымытые, с мылом, с пемзой и со стиральным порошком, а потом с шампунем, после улицы, где рассадник вредоносных бактерий, эмбрионов, микробов, спор, подозрительно шустрых вирусов, грязи, мусора, шелухи, сточных вод, помоев, и всякой безымянной, зато всеядной, потому и опасной, гадости, или, если по-русски, в корень, поглядеть, если правду-матку резать, в лоб, если чуют сразу эту нечисть, то просто дряни, и держаться

подальше надо от неё, за версту, не меньше, если хочешь в столице выжить, да ещё и что-нибудь, может, не халтуру, а попримечнее, по старинке намалевать, удивительно гибкие, быстрые в каждом жесте и в каждом движении, в постоянном брожении, кружении, в раздражении и скольжении, в каждом взлёте, в любом положении, в зазеркальном их отражении, в гипнотическом небрежении ко всему, что мешает им, виртуозные, это верно, музыкальные, это в точку, гениальные, так, возможно, золотые, пожалуй, руки.

Зверев брезглив. Даже больше: повышенно-чутко брезглив. И мнителен. Даже слишком: настолько, что сам порою признаться готов – мол, в этом заходит он далеко. Но трудно себя переделать. И никому не удастся, хоть в чём-нибудь, хоть случайно, его, такого, каков он есть, каков от природы, а может, и по причине жизни его небывалой на юдольном его пути, то на грани фантастики, то на краю какой-нибудь пропасти, то в прострации, то в азарте, то в полёте и на подъёме, то в милиции, то в дурдоме, то приветствие ритуальное возглашающего торжественно, лаконично: «Тебе, Тибет!», ну а то, и такое бывало, с удовольствием явным, в охотку, всем готовящего обед, въявь живущего вне времён, исчезающего, как сон, а потом из невзгод и без возникающего чуть свет с неизменным: «Привет, старик!», а потом в неизвестность – брык, и оттуда – неожиданно вдруг, и опять – в неизбежный круг, – однажды переубедить.

Десять раз, напряжённо, бдительно и дотошно, так, чтоб никто не проник вслед за ним сюда, так, чтоб враг не прошёл, оглядывается: нет ли погони? – всё ли спокойно и тихо вокруг?

Под пиджаком у него – две рубахи, обе навыворот, – чтобы не ранить грубыми швами нежное тело художника.

Усаживается, – да так, чтобы стул под ним не трещал, табуретка под ним не шаталась, понадёжнее выбрав сидение, то есть стул осмотрев поначалу и решительно забраковав, а потом осмотрев табуретку, повертев её так и этак и одоблив её наконец как приемлемую для него, – поудобнее, всем своим весом, всем составом сложным своим, всем набором странностей всяких приземлившись, пусть ненадолго, пусть на время, чтоб отдышаться, успокоиться, отдохнуть.

Хрюкает вдруг: «Хрю-хрю!», корчит рожу смешную, морщится, ухмыляется, надувается, громко фыркает, а потом улыбается благодушно, и хохочет, по-детски, весело, и, сощурилась, чуть-чуть косит примечающим всё, хитроумным, влажным, карим глазом своим.

Из внутреннего кармана добротного, дорогого английского пиджака, вначале помедлив немного и якобы призадумавшись, извлекает на свет вместительную, не нашенскую, конечно, литровую, заграничную, приятного вида бутылку самого настоящего, лучшего вкуса и качества, крепкого, чистого джина.

Стакан, взятый этак небрежно, жестом гуляки праздного с журнального низкого столика, ополаскивает старательно, причём не водой из-под крана, горячей или холодной, но собственноручно и щедро налитым из открытой с пробочным хрустом бутылки, диковинным в те времена для советского человека, драгоценным, редкостным джином, – им же брызжет себе на темя, на лицо, на плечи и за ворот, льёт пахучей струёй за пазуху, – для надёжности, для профилактики, для защиты от всякой заразы, так, на всякий случай, авось и поможет, во всяком случае от чего-нибудь да защитит.

Пьёт, конечно же, но – понемногу. Захотел – глотнул, захотел – сделал два или три глотка, и довольно. Зачем перебарщивать? И куда, скажите, спешить?

Меньшую дозу напитка, глоток за глотком, – выпивает, большую, раза в три больше, запросто, – выливает.

Куда выливает? А всё равно, куда – на стол, или на пол, в тарелку, а то и в окно.

Хлебные корки сразу же от всего батона отламывает, складывает в сторонке смятой румяной горкой, – ест, по своей привычке, под которую, впрочем, подводит весьма солидную базу, и даже может об этом, тут же, прямо на месте, серьёзный трактат написать, поскольку любит, при надобности, поступки свои обосновывать, а хлеб надо именно так есть, – только белый мякиш.

Поглядит куда-нибудь искоса, громко хрюкнет, умело крякнет.

Снова, хмурясь, в который уж раз, этак пристально, по-охотничьи, или словно в дозоре находится, на часах, оглядится вокруг: нет ли здесь кого из чужих?

Поведение такое доходчиво, внятно, трезво, с полнейшим знанием дела, развиваемую тему по ходу рассказа продлевая затейливыми вариациями и поддерживая внушительными комментариями, объясняет манерой преследования.

Когда окончательно убеждается, что всё спокойно, всё в норме, всё в полном порядке, всё – «хорэ!», как он обычно приговаривает, высказывая своё одобрение, – то и сам, окончательно, полностью, весь, и это сразу заметно, просветляется, расслабляется, успокаивается, добреет.

И весь – да так, что ахнешь, – вдруг меняется!

Нет больше и в помине знаменитейшего, то дерзавшего всем и повсюду, то затравленного властями, в дальний угол какой-то загнанного, в щель невидимую забившегося, чтоб невзгоды там переждать, чтоб ни слуху о нём и ни духу, чтоб о том, где сидит он, ни-ни, а потом опять возникающего на виду, как будто явился он в самом деле из-под земли, с грудой новых работ, с ухмылкой неизменной, вместо ответа на вопросы, где же он был, основательно посвежевшего и, похоже, полного сил и готовности внутренней ринуться в новый бой, подвигнуть себя на великие новые подвиги, не похожего ни на кого из людей искусства, поистине одиозного, крупного «Зверя» из богемных московских легенд.

Есть – приветливый, очень искренний, да к тому же ещё умнейший, с цепкой, точной, народной, крестьянской, грубоватой тамбовской хваткой, но и добрый, щедрый, отзывчивый, без темнот и туманов, светлый, очень русский, нелепый, несчастный, замечательный человек.

Широко тогда открываются и внимательно, грустно смотрят карие, с желтоватым огоньком, с угольками зрачков, тёплые, полные влаги и тихого света, глаза, и нет в них больше недавнего, чутко настроенного, слишком уж напряжённого, вынужденного прищуря.

Теплеет, и это заметно, теперь у него на душе, в интонациях появляется удивительная сердечность.

Никто его никуда – видит он – отсюда не гонит.

Наоборот, его по-настоящему любят.

Словно капризный ребёнок, он хочет в этом ещё, хотя бы разок, убедиться.

Хочет оставить что-нибудь, от себя, чтоб сделать приятное людям, которым верит он, от души, на память – «для дома».

Это может быть молниеносный, артистичный, чудный рисунок, сделанный, как обычно, на чём угодно и тем, что вовремя оказалось под рукой, и даже, порою, при отсутствии рисовальных принадлежностей, например, вином, окурком и пеплом.

Это может быть и рассказ, очередная байка из несуразной, но полной разнообразных событий, фантастической, феерической, многозначной, фантазмагорической, сюрреальной, абсурдной, сказочной, легендарной, былинной, мифической, так уж, видно, сложилась она, героической зверевской жизни.

А рассказчиком Тимофеич, как по-свойски, по-дружески, ласково, мы его иногда называли в наши давние времена, между тем был отменно хорошим.

Помню я множество рассказанных им под настроение историй.

Ну вот, например, такую.

После прошедших с небывалым триумфом, – глубоко поразивших, да что там, буквально потрясших всю Европу, а за нею и весь мир, прогремевших и нашумевших широко, неожиданно, с размахом, и заставивших зарубежных знатоков и политиков призадуматься о судьбе не имеющего никакого отношения к официозу, настоящего русского, яркого, авангардного, разумеется, и гонимого в СССР, но упрямого, непокорного и живучего на удивление, несмотря на запреты, искусства, – персональных зверевских выставок шестьдесят пятого года, в Париже и где-то в Швейцарии, – власти наши забеспокоились.

Какой-то художник – из тех, непризнанных, неразрешённых, мутящих воду, мешающих спокойно и правильно жить, обормот, бродяга, пьянчуга, психопат, голодранец, нахал, тунеядец, незнамо кто, может, антисоветчик ярый, или кто и похуже, предатель, например, интересов страны, и, похоже, выродок явный, и, возможно, тайный агент, и поэтому гад и засранец, – а смотрите-ка, надо же, ишь ты, – умудрился-таки прославиться, не у нас, а конечно, на Западе, и таких делов натворил непонятной простому народу неприличной своей мазнёй, что давненько уже не бывало в этой самой старушке Европе и подальше, за океаном, столько шума, со всеми их воплями и призывами их цэрэушными, в пику нам, в защиту искусства!

Если он зарвался вконец, привести его надо бы в чувство!..

Навели, разумеется, справки.

Для властей это просто. Раз плюнуть.

Всё узнали – мгновенно.

И что же?

Ну и тип! Откуда – такой?

Сплошные приводы в милицию, и при этом в таком количестве, что даже выдавшие виды работники МВД, глядя на весь этот балаган, только за голову берутся.

Бесконечные, регулярные, да к тому же ещё ни разу не оплаченные почему-то, игнорируемые сознательно, видно, штрафы из вытрезвителей.

Ну, милиция. Ну, вытрезвители. Это как-то понятнее, проще, по-народному, вроде, привычнее, чем какая-то заумь. Родное. Повсеместное, как ни крути. Ишь ты, гусь, мать его ети!

Всё бы так.

Да ещё и психушки!

Здесь уже – другая епархия. Или даже, заметим, область. Ну а может быть, и планета. Есть куда – упрятать, сослать, с глаз долой, со счетов списать. Расчудесные заведения! Медицинские учреждения! Хорошо, что психушки есть. Их в Стране Советов не счесть.

Если что, в запасе есть отличный ход!..

Что там Зверев, этот кипплинговский кот?

Шастает, представьте себе, как и всегда, вдоль и поперёк, туда и сюда, с завидной лёгкостью перемещается, преимущественно в такси, а вовсе не на своих двоих или на общественном транспорте, по всей матушке-Москве, в любые концы столицы успевает заглянуть, причём не только в центре околачивается, но и на самых дальних окраинах, и даже за городом периодически бывает, рисует чуть ли не на каждом перекрёстке.

Да ещё и что-то, как выяснилось, давно сочиняет в стихах и в прозе – а вот это уже любопытно, и возьмём-ка его на заметку, и хотелось бы знать, что именно, поконкретнее, он сочиняет – может, лютую антисоветчину, или пасквили там какие-то, или всякую всячину прочую, отсебятину и бредятину, что никак, возможно, не впишется в рамки строгие самого правильного, утверждённого нашей партией, потому и родного, кровного, благоверного соцреализма?

Между прочим, не только с соотечественниками, что можно с натяжкой стерпеть, а когда терпение лопнет, хорошенько всё утрясти, процедить и отфильтровать, подвинтить, раскрутить, подмазать, и работать с таким знакомым и давно, признаться, приевшимся до оскомины материалом никаких особых трудов не составит, – но и, заметьте, с иностранцами, и причём интенсивно, с большой охотой и, наверно, в своё удовольствие, как докладывают, общается.

От многочисленных, штатных и внештатных, усердно работающих советских осведомителей, верных, надёжных, проверенных на невидимом, скрытом фронте непрерывно ведущейся, важной для отечества, тайной войны, поступают о нём в соответствующие и почти всеисильные органы достаточно регулярные, но весьма и весьма любопытные, в основном почему-то полярные и во многом противоречивые, выражающие, тем не менее, убеждённое, личное мнение самых разных людей – о художнике и о творчестве странном его – постоянно, без перебоев, разрастающиеся, обильные, урожаем щедрым свалившиеся прямо в папки с делами, сведения.

Одни говорят, что это самый обычный псих, причём законченный псих, классический, так сказать, – а другие на полном серьёзе утверждают, что это гений, да не просто гений, и всё тут, а особенный, чистой воды.

Такого же твёрдого мнения – мол, гений, конечно, и всё тут! – придерживается, как выяснилось, давно уже и богема, и всякие собиратели произведений искусства, наши коллекционеры, среди которых, заметьте, немало солидных фигур.

И надо же, как бывает, – посмотришь разок на него, и только и остаётся, что молча рукой махнуть да коротко, по традиции, в сердцах, про себя, матюкнуться, – охламон охламоном с виду, так, босяк, алкаш, из народа, люмпен, что ли, ни то ни сё, и не то чтоб ни кожи ни рожи, рожа есть, да ещё какая, говорящая больше, чем следует, о нахальстве и самонении, о давнишнем пристрастии к выпивкам, о таком, чего хоть отбавляй у любого, у каждой пивной, похмеляющегося с утра, чтобы днём по новой напиться, а потом похмеляться опять, откровенного забудыги, – но вот какая загвоздка и вот какой парадокс – а выставки-то заграничные, в обход наших служб и законов, каким-то загадочным образом, но всё-таки состоявшиеся, его, а не чьи-нибудь, выставки, на корню, говорят, раскупаются.

Пикассо, представьте себе, да-да, а ещё коммунист, называет – его-то! – лучшим рисовальщиком – ну, дела! – не какой-нибудь там страны,

или даже, допустим, Европы, или, хрен с ней, пускай Америки, но – ни больше ни меньше – столетия.

Западная, то есть вражеская, продажная, как известно, и лживая, не в пример советской достойной прессе, прогнившая, как и весь вшивый капитализм, купленная с потрохами денежными мешками, вредная, гнусная пресса пишет о нём взахлёб.

Раз уж картинки его, что бы там ни было им намалёвано, хоть за-каляки, чего-то, выходит, да стоят, причём, подчеркнём, в валюте, то налицо, безусловно, факт утечки валюты, которая, в общем-то, в принципе, могла бы пополнить существенно карман государства советского.

Надо, надо, товарищи, на него, на этого Зверева, внимательно поглядеть.

В высших, понятно, инстанциях.

Что он за зверь такой?

Поскольку живопись и графика имеют самое прямое отношение к культуре, то в Кремле и порешили: пусть всем этим занимается министр культуры, Екатерина Алексеевна Фурцева. Она толковая, грамотная, по-марксистски отменно подкованная, идеи вождей проводящая в культурную жизнь страны, дотошная, деловая, во всём сама разберётся – и сразу же обо всём доложит, без промедления, подходчивей, поконкретнее, буква к букве, – туда, наверх.

Там, в случае чего, распорядятся.

Начали, конечно же, немедленно, не откладывая дела в долгий ящик, искать окаянного Зверева по всей огромной Москве.

А его – нигде, ну нигде, куда бы вдруг ни на грянули, кого ни спросили бы, – нет.

Прячется, паразит, по обыкновению, – прячется.

Отсидживается, небось, у друзей, у своих собутыльников, – то у одних, то у других, то у третьих, то у четвёртых, у него их в запасе вдосталь, – и поди его там найди!

То и дело меняет места обитания, всякие лежбища, норы, схроны, пещеры свои.

Решили тогда Москву целенаправленно, тщательно, район за районом, прочёсывать.

Примерно ясно ведь, где искать – по мастерским художников, подвальным или чердачным, по некоторым квартирам, в которых он частый гость.

А обо всех остальных малоизвестных логовах и берлогах неведомых зверевских – стукачи непременно разнохают и легко наведут на след.

Но найти злополучного Зверева, оказалось, – было непросто.

Почувяв с ходу неладное, усилил он многократно свою обычную бдительность.

Так спрятавшись, так укрылся, что днём с огнём не найдёшь.

Наконец, после долгих поисков, застигли его врасплох, нагрянули, отловили.

Вежливо, но ледяным, отработанным так, что многих от него буквально трясло и бросало то в жар, то в холод, исключаяющим все возражения, призывающим лишь к подчинению, или, жёстче, к повиновению, внешне вроде спокойным тоном пояснили: в такой-то день и в такой-то час за тобой, за твоей персоной, дружок, по твою, брат, душу, приедут – и доставят, куда полагается, для начала – к самой государыне Екатерине Третьей, свет Алексеевне, матушке нашей, всяя культуры владычице, всесильной, всевластной Фурцевой.

Не вздумай, гад, улизнуть: найдём и по всей строгости, как мы это умеем делать, по полной программе, накажем.

Как ни крути, как ни верти, но предстояло, выходит, свидание, да какое, – такое и не приснилось бы ни в страшном, ни в добром сне, и наяву не пригрезилось бы, – с министром советской культуры.

Как предстать, себя сохранив, отстояв свои убеждения и оставшись самим собою, вопреки любым провокациям, – перед властью, в лице министра, пусть она и женщина, явленной, да пред ясны очи её?

Как же выйти из положения?

Дело, братцы, опасное: связь, безусловная и доказанная, запрещённая и наказуемая, вплоть до лагеря, до тюрьмы или ссылки, да всяких судов, да мучений сплошных, – с заграницей.

Формализм, который по всей стране совсем недавно громили.

Да мало ли что ещё собрано здесь, выходит, нитка к нитке, виток за витком, в одном, неведомо кем смотанном лихо, с подвохом, спутанном, бестолковом, подсунутом вдруг судьбою или кем-то другим, чтобы нынче попытаться его размотать, бедою грозящем, роящем страданья, погибель сулящем, в грядущем сомненья таящем, нелепом, как соцреализм, бредовом, как мир окружающий, абсурдном, как путь к коммунизму, где ждут нас одни катаклизмы, увиденном трезво сквозь призму опасности, жутком клубке!..

Зверев стал – напряжённо думать.

И, конечно же, кое-что, как всегда с ним бывает, – надумал.

Помогли ему, или, уж если выражаться прямо и просто, крепко выручили, спасли, – в молодые бурные годы с пониманием им воспринятое от художника Васи-фонарщика, а солидней – Василия Яковлевича, знаменитого нашего Ситникова, великого педагога и, без тени малейшей сомнения, выдающегося, прирождённого, это правда, гипнотизёра, юродство – древнейший русский способ самозащиты, а также – природная зверевская, тамбовская, видно, смекалка, и мужицкий, от почвы, недюжинный, с парадоксами, с вечной самостью, на путях земных и небесных, и в быту, его ум стержневой.

Сюда же следует отнести и врождённый, временами просто фантастический, – приходится, говоря о Звереве, повторять именно это слово, но лишь оно и выразит наиболее точно то, что в герое действительно было, – грандиозный его артистизм.

Готовясь к визиту грядущему, облачился Толя, сознательно, из любви к артистизму, но ещё – из любви к парадоксам, и, конечно же, из озорства, в то, что похуже выглядит, короче – во всякую рвань.

Понаделал побольше дыр – может, вспомнил о скульпторе Муре? – или, может, себе представил наше русское решето? – понаделал так много дыр, где возможно только их сделать, где нашёл для этого место в захудалой своей одежде, что, казалось, в нём пробудился крепко спавший дотолое дизайнер, да ещё и сверхсовременный, ультралевый авангардист.

Лил себе за пазуху водку, не жалея сорокаградусного приснопамятного напитка, щедро, чтобы покруче пахло.

Штаны надел хоть и английские, но настолько и так вызывающе испачканные, измазюканные, ухандоканные вконец в процессе творческом радужными, павлиньими, пёстрыми красками, что у любого, со стройки, занюханного маляра спецовка рабочая выглядела неизмеримо лучше.

Щетину не брил специально: пусть в глаза бросается сразу же, точно дыбом вставшие иглы у рассерженного ежа.

Волосы лихо взлохматил: пусть торчат себе во все стороны. Подаренные недавно коллекционером Костаки, «дядей Жорой», как он его по-приятельски называл, Георгием Дионисовичем, как звали его другие, новёхонькие, скрипучие, как раз по ноге, ботинки, поразмыслив, решительно снял.

Изыскал где-то старые, ветхие, из начала века, возможно, прохудившиеся галоши, здоровенные, прямо клоунские, размеров на пять побольше, чем его привычная обувь.

Ноги, сняв носки, обернул советскими, всем знакомыми, центральными, то есть партийными, как на подбор, газетами, в несколько плотных слоёв, – да так это сделал художественно, что даже издали можно было, при желании, прочитать, – где «Правда», а где «Известия».

Соорудив из газет такие бумажные, многослойные, с головоломкой шрифтов и названий статей, портянки, надел цирковые галоши и стал терпеливо ждать, когда же за ним приедут.

Приехали вскоре за ним на чёрной бесшумной машине вежливые, спокойные люди в шляпах и в серых, неброских, но добротных, длинных плащах – и повезли его напрямик к пребывавшей где-то на кремлёвских высотах власти, в далеке самом дальнем, Фурцевой.

Благополучно прибыли куда полагалось, – на место.

Зверев спокойно вошёл в кабинет министра культуры.

Фурцева тут же, с деланной, условно-любезной улыбкой, – шагнула к нему навстречу.

И – сразу же – онемела...

Перед ней – что за бред? – стояло – что за вид? – натуральное чучело.

На странной фигуре вошедшего был надет пиджак, но какой-то не такой, как надо бы, – густо, даже слишком густо усеянный сплошными, вплотную идущими, одна к другой примыкающими, разнообразными дырами, ну прямо как решето, с прорванными карманами и грязными, смятыми лацканами.

Штаны на вошедшем были так густо измазаны краской, что непонятно любому, кто ни взглянул бы на них, становилось – материя это или грубая мешковина, или ещё что-нибудь, но вот что – да кто его знает!

Ноги вошедшего были всунуты в преогромные, клоунские, похоже, старые, даже древние, прохудившиеся галоши, оставляющие на паркете отпечатки мокрые рубчатые, и туго, на совесть, обёрнуты сделанными из газет какими-то, вроде, портянками.

На одной ноге, приглядевшись, прочитала Фурцева: «Правда», – многократно и виртуозно повторённое и размноженное название столь знакомое родной, любимой газеты, главного в государстве нашем печатного органа коммунистической партии, на другой ноге прочитала – сплошным шрифтовым эхом продолжающееся название, тоже близкое сердцу, – «Известия».

Под пиджаком у вошедшего в кабинет министра высокий красовались две разных рубашки, обе – швами наружу, причём были выпущены свободно почему-то поверх штанов.

Верхняя рубашка была, хоть и грязноватая, но белая, ну а нижняя, почище, – красная, и ещё из-под неё выглядывала синяя линия футболка.

Налицо, как видим, были все цвета нынешнего нашего, российского, флага лет сплошной свободы, триколора.

Выходит, Зверев о своей принадлежности именно к России, о прямой своей связи, кровной, духовной, гражданской, с Россией, ещё в середи-

не шестидесятых не просто позаботился, но перед самим министром культуры тогдашним, по существу, в открытую, декларативно, заявил.

Даже здесь его звериное чутьё безотказно проявилось – и сработало!

Даже в этом он, получается, настоял на своём. Внутренне, что по тем временам уже много и достойно похвал, – победил.

От самого невероятного из всех, кого ей пришлось повидать на веку своём, на посту своём, посетителя – так невозможно пахло, что Фурцевой стало дурно.

– Вы кто? – прикусила губку и слабо спросила она.

Толя вскинул тогда на дамочку, на Екатерину Третью, на министра всея культуры, ангельски кроткие, карие, с поволокою влажной, глаза – и скромно ответил:

– Я – Зверев!

Потом достал из-за пазухи сложенную в несколько раз газету «Советская культура», неспешно развернул, громко в неё высморкался, так же неспешно свернул и положил обратно.

Это решило всё.

Фурцева что-то вдруг поняла.

Может быть, поняла.

Вернее, интуитивно почувствовала, что этого человека ничем не прошибёшь.

Она отступила к столу, на котором громоздились афиши зверевских выставок, каталоги и образцы западной прессы, приготовленные с определённой целью – в нужный момент показать на них и гневно спросить: «Что это такое?»

Но Фурцевой было не до разборок.

Её мутило.

Зверевский, звериный, чудовищной крепости, запах – волной прокатился по кабинету и настиг министра культуры.

Пусть она и была, как поговаривали, женщиной пьющей, – но такого букета выдержать не могла.

Участливо глядя на Фурцеву, Зверев снова полез за пазуху, за «Советской культурой», намереваясь высморкаться.

Фурцева бессильно опустилась в кресло.

Проработка не состоялась.

Что за гипнотическая сила исходила от невозмутимо стоящего посреди кабинета художника?

– Идите, идите! – только и сказала Фурцева. – Всё хорошо. Идите с богом!..

И томно махнула ручкой.

Зверев невозмутимо повернулся и вышел.

– Ну что? – спросили его вежливые люди, дожидавшиеся в коридоре, – доигрался?

Зверев победоносно взглянул на них:

– Сказала, что всё хорошо. Чтобы шёл с богом. Не верите – спросите. Она подтвердит.

Из кабинета донеслось характерное бульканье наливаемой в стакан жидкости.

Потом раздался облегчённый вздох и прозвучало самоуспокоительное:

– Всё хорошо!..

Граждане, караулившие у дверей, обалдели.

Зверев достал из-за пазухи «Советскую культуру» и смачно высморкался в неё.

Назидательно поднял палец:
– Вот так! Всё у меня хорошо. А теперь везите меня домой, в Свиблово-Гиблово. Я иду. С богом!..

...Закончив рассказывать, Зверев похохатывал.

Рука его тянулась к карандашу.

И вот на случайном листке уже мчалась куда-то в пространство ускользящая от погони лошадка. В яблоках.

(О художник!

Что будет потом?)

...Зверев поднял глаза и вздохнул: «Вот, пришлось зарости бородою. Милицейский недавний разгул обернулся, как видишь, бедою. Зубы выбиты. Печень болит. Еле вправила челюсть врачаха. Тот, кто не был, как следует, бит – не поймёт застарелого лиха». Ухмыльнулся: «А всё же – живой. Волк тамбовский, люблю я свободу, пусть с разбитой не сплю головой, и дышу – никому не в угоду. И меня не сломаешь, пойми, я не те ещё видывал виды, – потому и брожу меж людьми, не держа на безумцев обиды». Акварель – что похуже – достал, выбрал кисти – из тех, что пошире, – и разбуженный лист засверкал в невесёлом и пасмурном мире... Сколько было радений ночных, и бесед, и случайных застолий! Сколько встреч – невозвратных, земных, – я в душе сохранил, Анатолий! Кем ты был – это ясно сейчас даже тем, кто глумился, бывало. Ну а скольких восторженных глаз оголтелая мгла не скрывала? Ты лежишь под тяжёлым крестом, чашу жизни испивший в печали, всё оставивший нам – на потом, чтобы чудо в лицо узнавали.)

3

...Жёлтые листья кружились в жемчужном, с прожилками яшмы и серебряной нитью, воздухе над головами прохожих. Синева небес была яркой. Солнце грело. И люди шурились, на источник света поглядывая, рассиявшийся наверху. Ну а понизу чуть сквозило ветерком, и асфальт высыхал на удивление быстро, хоть по углам, в тени, и поблёскивали зеркалами, опрокинутыми случайно, малочисленные, небольшие, уцелевшие после дождя, отшумевшего ночью, лужицы, отражавшие небо с листьями, лица, стены, витрины, окна, и меж ними ходили голуби, не боявшиеся людей, и шныряли в поисках пищи воробьиные шустрые стайки, а поодаль, за кровлями, там, за Кремлём, за Москвою-рекой, вырастала, густея в пространстве, грядущая хмарь, но её замечать никому не хотелось, и время, щадя округу, от щедрот своих, пусть ненадолго, не спешило напомнить об этом, и город вставал на пути её неприступной старинной крепостью, всех от невзгод защищая, непогода ли это, беда ли какая, зима ли суровая, битва ли это жестокая, череда ли забот предстоящая, мало ли что, но тепла в нём ещё хватало для всех.

Осенью шестьдесят третьего, в октябре, опьянённый своими прогулками по столичным солнечным улицам, шёл я в центре, мимо кафе «Дружба», между Неглинкой, тихой и малолюдной, и довольно шумной Петровкой. Навстречу мне шли неспешно двое людей незнакомых и о чём-то своём разговаривали. Видно, двое хороших приятелей. Один, с буйной гривой вьющихся, густых, смоляных волос, глядящий куда-то вдаль, прямо перед собою, но выше людских голов, горящими жарким

пламенем, тёмными, южными, бархатными, но словно слегка обугленными, скорбными или грустными, трудно сказать, глазами, смугловатый, среднего роста, легко и свободно шагающий по тротуару, какой-то с виду очень уж необычный человек, тридцати пяти, приблизительно, лет, не больше, двигался вроде и рядом со своим разговорчивым спутником, но и совсем отдельно от него, бубнящего что-то неразборчивое, и тем более отдельно от всей толпы людской, от всех, от всего, что было вокруг, совершенно независимо, сам по себе, в порыве, словно вот-вот раскроются сильные крылья у него за плечами, и он взлетит, устремится ввысь, и настолько был он, подумалось, ни на кого не похож, настолько своеобразен, красив какою-то древней, тонкой, резной, индийской или же украинской, породистой красотой, настолько был не из этого времени, не из этой реальности, не из этой вот повседневной, московской, привычной всем и каждому, толчеи, что я, глубоко поражённый, даже остановился. Спутник его, человек нескладный, несколько взвинченный, может и вдохновенный, по-своему, так бывает, но всё равно почему-то более прозаичный, высокий, на вид помладше, лет около тридцати, в сползающих на нос очках, со спутанными ветерком, всклокоченными вихрами, на ходу, на каждом шагу, поворачивался к приятелю и настойчиво, непрерывно что-то ему говорил. Темноглазый красавец шёл молча, слушая своего спутника разговорчивого, но будто бы отделённый от него и от всех его слов некоей ощутимой, пусть и незримой, стеной. Двое странных весьма незнакомцев приближались уже ко мне. Очкастый, явно подвыпивший, довольно громко, с утрированным, театральным каким-то пафосом, темноглазому говорил:

– Нет, Коля, я всё понимаю. Я понимаю, Коля, ты – гений. Живой. Настоящий. Ты гениальный поэт. И ты столько уже написал! Но жить, Коля, как-то ведь надо! На что-то ведь надо жить! Существовать. Питаться. За жильё аккуратно платить. Выпивать иногда, как все люди. Ездить куда-нибудь. Я понимаю. Да. Всё понимаю прекрасно. Ты живёшь в своём мире. Ты его создал. Это твой мир. Но годы идут, Коля. Никто тебя не печатает. И не собирается, судя по всему, и в дальнейшем печатать. А ты всё пишешь да пишешь. Ну да, ты гордый у нас. Царская кровь! Породы! Но ты оглянись вокруг. Спустись с облаков на землю. Ты где живёшь? И в какой стране? И в каком времени? Эх, Коля, Коля, дружище! Вот смотрю я сейчас на тебя – и грусть меня снова охватывает. Ну, хорошо, ты ещё достаточно молод. А дальше? А что дальше? Ну что? Надо ведь что-то делать! Надо как-то, видать, пробиваться! Возьми Евтушенко, Женю. Ты с ним учился вместе в Литинституте. Я с ним учился. Выбил парень! И разве можно его стихи с твоими сравнить? Ты, обладатель таких дивных, несметных сокровищ, пребываешь в полной безвестности. Ну, знают стихи твои друзья. Ну, ещё кое-кто. А Женя-то знаменит. Его-то весь мир знает. Он пробился. А ты и не думаешь пробиваться. Не хочешь, и всё тут. Живёшь себе и живёшь. Пишешь и пишешь. Надо ведь что-то всё-таки делать, Коля!..

Темноглазый красавец молчал. Ничего не ответил он своему очкастому спутнику. Он только вдруг побледнел, у меня на глазах, высоко закинул кудрявую голову, и глаза его вспыхнули жарким, солнечным, звёздным огнём. Так, с закинутой головой, словно птица в свободном полёте, разливая вокруг себя исходящий из глаз его жар, прошёл он, вместе с приятелем, отдельно и от него и от всех остальных в толпе, мимо меня, потом через Неглинку, и дальше, на Кузнецкий мост, и всё выше по Кузнецкому, выше, туда, где меж крышами зданий

проглядывало удивительно синее небо, и скрылся там, вдалеке. Только позже, в семидесятых, понял я, в озаренье мгновенном: это был Николай Шатров.

В начале семьдесят пятого, посреди тогдашних бездомниц, познакомился я и вскоре подружился с Женей Нутовичем, знаменитым коллекционером, собравшим за многие годы замечательную коллекцию современной, нашей, отечественной, авангардной, запретной живописи. Это была одна из лучших коллекций в стране. Убедился я в этом сразу же. Своего тогдашнего мнения не собираюсь менять и ныне. Что есть, то есть. И едва я взглянул на Нутовича, как в ту же секунду признал в нём очкастого, разговорчивого спутника темноглазого красавца, в незабываемом для меня октябре шестьдесят третьего, между Неглинкой и Петровкой, солнечным днём. Не удержавшись, я тут же поведал об этом Жене. Став серьёзным, он призадумался. Уставился сквозь очки свои вдаль, словно пристально глядявываясь в дорогое, минувшее время. Потом убеждённо сказал:

- Конечно, всё совпадает, это были мы с Колей Шатровым.
- Вот видишь! – сказал ему я.
- Но как ты всё это запомнил? – изумлённо спросил Нутович.
- Запомнил! – ответил я. – Нельзя было не запомнить.

Мы сидели с Женей вдвоём, в самой большой комнате, заполненной, плотно увешанной, от потолка до пола, замечательными картинами. Целков, Кабаков, Соостер, Мастеркова, Немухин, Рабин, Харитонов, Зверев, Плавинский, Слепышев, Кропивницкий, подаренный мной Ворошилов... Кого же там только не было! Не квартира – крупный музей. Выпивали, понятное дело. Женя был человек пьющий. Он меня приютил у себя. Сам отлучался частенько, то к матери, то ещё куда-нибудь, ненадолго, или надолго, по-всякому выходило, давно привык. С женой был Женя в разводе. Супругу его, пусть и бывшую, я так никогда и не видел. Говорили: собой хороша. Был я в его трёхкомнатной квартире этаким стражем при коллекции первоклассной. Зато на зимний холодный период, в пору бездомниц, был у меня и ночлег. Почему же не угостить, иногда, уж как получается, по своим возможностям скромным, приютившего вдруг меня, скитаниями многолетними порядком уже измотанного, у себя в московской квартире, от души, добровольно, искренне, хорошего человека? Дары мои выпивонные Нутович всегда принимал как нечто само собою разумеющееся. Любил он, выпивая неспешно, с толком, обстоятельно побеседовать со мною на самые разные, нередко полярные темы, где хватало и тьмы низких истин, и, за ними, немедленно, нас возвышающего обмана, и мистического тумана, и стихов, что вовсе не странно, и легенд, без оков и прикрас. Женя выпил ещё глоток и спросил меня, с тёплой, почти задушевной, протяжной ноткой в сипловатом, простуженном голосе, что бывало всегда у него самым верным, первейшим признаком лирического, с вариациями различными, настроения:

– А скажи мне теперь, Володя, ты Колю Шатрова знаешь хорошо или так, немного?

– Виделись иногда, – сказал я, – но дружба у нас не возникла. Уж так получилось. Я – сам по себе. Он – сам по себе. Две планеты разные. Два разных мира, вернее.

– Да, – сказал Нутович задумчиво, – так бывает в жизни, бывает. А вот странно! Смотри, как выходит. Поскольку я нынче стихи твои

знаю уже основательно, то, Володя, тебе говорю откровенно и прямо: ты гений. Познакомился я с тобой недавно. И вижу, что наше знакомство переходит в хорошую дружбу. Колю Шатрова я знаю очень, очень давно. И давно считаю: он гений. А теперь ты, Володя, скажи мне: почему два таких поэта, как вы с Колей, живя в одно время и зная одних и тех же, примерно, людей в Москве, ну, пусть и не всех он знает, кого знаешь ты, у тебя круг знакомых побольше, но всё-таки почему же вы не подружились?

– Господи! Ну и вопрос! Так и знал, что его услышу, – сказал я тогда Нутовичу. – Но ты ведь прекрасно, Женя, понимаешь, что так бывает. И не так ведь ещё бывает. Хорошо, что живы мы оба. И на том спасибо. В трудах дни проводим, каждый по-своему. А в дальнейшем – кто его знает? – может, и дружба возникнет. Я себя сроду, известно всем, никому никогда не навязывал. Коля, как вижу я, тоже. Друг другу мы не мешаем. Существоем, каждый из нас отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга. Так уж вышло. Такая судьба.

– Судьба! – согласился Нутович. – Вот именно. Так я и думал. Судьба. Да. Везде – судьба.

Он шумно вздохнул. Налил себе вина в стакан, до краёв. Помедлил. И разом выпил.

Я встал. Подошёл к окошку, разукрашенному затянувшейся стужей, в палехском духе. Походил немного по комнате. Открыл запылённую крышку пианино, взял несколько джазовых аккордов. Потом присел за старенький инструмент, стал негромко играть.

Женя, опять вздохнув, налил себе новый стакан, до краёв, конечно, вина.

– Ты Гершвина, колыбельную, из «Порги и Бесс», ну, ту самую, сегодня можешь сыграть? – спросил он меня задумчиво.

– Могу! – откликнулся я.

И заиграл эту вещь, не гершвиновскую, кстати, не им самим сочинённую, но им когда-то записанную, превосходно аранжированную, вышедшую на свет из негритянских распева. Я и сам её очень любил.

Женя снова вздохнул и сказал:

– А давай позвоним Коле Шатрову! Он у своей Маргариты, недалеко от меня, живёт. Пусть приедет! Выпьем. Поговорим. Стихи почитаете, оба. И подружитесь, полагаю.

– Звони! – согласился я.

Нутович, стакан отодвинув, потянулся рукой к телефону. Быстро набрал номер.

– Алло! Маргарита? Приветствую тебя. Это Женя Нутович. Скажи мне, а Коля дома? Что, что? Не слышу. Он в Пушкино? На даче? В такой-то холод? Ну, это в шатровском духе. Снова пишет? Ну, молодец. Ты ему передай, что звонил Нутович. Мы у меня, вместе с Володей Алейниковым, поэтом. Да, да, с тем самым. Знаешь? Вот и чудесно. А Коля когда появится? Что? Не скоро ещё? Ты сама едешь к нему? На ночь глядя? Ну, тогда привет передай. От нас обоих. Пусть пишет. Со звонимся потом. До встречи!

Он, вздохнув, положил трубку.

– Жаль, что не вышло встретиться с Колей прямо сейчас!

Уж так ему, видно, хотелось этого нынешним вечером.

– Ничего, не переживай, – сказал я. – Ещё увидимся.

– Увидимся! – согласился Нутович. – А так мне хотелось, представляешь, чтобы мы встретились!

– Всё успеется, Женя, – сказал я. – Всё у нас ещё впереди.

– Да, – согласился Нутович, – всё у нас ещё впереди.

Впереди были два, всего-то, года жизни у Коли Шатрова. Но разве тогда, зимой, посреди холодов и снегов, оба мы знали об этом?

...Время вдруг разъялось – и я увидел себя, измученного, совершенно больного, в бреду, в невероятном семьдесят седьмом, Змеином году, в дни бездомия, на склоне марта. Каким-то непостижимым образом, не иначе, даже не волю, наверное, собрав умуудрившись в сгусток энергии, не поддающейся логическому толкованию, а что-то куда выше воли, и тем более выше упрямства простого, тогда я добрался до Марьиной Рощи, в дом, находящийся неподалёку от чудесной церкви Нечаянная Радость, близко совсем от того, среди пятиэтажек и дворов пустоватых, места, где мой друг Леонард Данильцев познакомил меня когда-то с Игорем Ворошиловым, и знакомство это немедленно, по счастью, стало началом нашей дружбы, высокой и светлой, с этим великим художником, – добрался я, перемогая себя, на авось, по чутью, к Виталию Пацюкову, в давние времена, и особенно в шестидесятых, тоже другу, так я считал. Я добрался туда, в жару, с трудом держась на ногах. Пацюков приютил меня. Уступил мне комнату маленькую в своей обжитой, двухкомнатной, довольно уютной квартире. Там, в окружении множества книг и хороших картин, стояли письменный стол, стул и узкая, старая, низенькая тахта. И я, обессиленный, сразу же просто рухнул на эту тахту. Пришлось мне, как говорят в народе просто, несладко. Трое суток не мог я подняться. Ничего совершенно не ел. Только изредка пил воду. Пот холодный лил с меня так, что тахта промокла насквозь. Я не спал. Пытался заснуть. Почему-то не получалось. Странные состояния, пограничные, между явью и сном, – да, вот это было. Мне надо было теперь обязательно перебороть болезнь, в которой, наверное, всё собралось воедино – простуда сильнейшая, боль, безысходность, усталость безмерная, физическое истощение, нервное напряжение, от всех моих затянувшихся, кошмаром ставших бездомия, отчаяние, тоска, надежда на чудо, – всё, всё. Я попросил хозяев, друзей моих, то есть Виталия и Светлану, его жену, слишком уж не пугаться, не переживать за меня, врачей никаких, что бы ни было со мною, не вызывать, а просто дать мне возможность отлежаться в тепле, в тишине, оставить меня одного на какое-то время в покое. Кажется, Пацюковы правильно меня поняли. Не на улицу ведь меня, захворавшего, выпроваживать, да ещё в таком состоянии! Приютили меня, слава богу. До выздоровления. Временно. И на том спасибо. Тогда я это очень ценил. И я, друзьями оставленный смиренно, с самим собою наедине, в отдельной, с книгами и картинами, с окном занавешенным, с дверью приоткрытой, на всякий случай, маленькой, тихой комнате с погашенным светом, лежал на узкой тахте и бредил. Тяжко пришлось мне, что там теперь такое скрывать. Подумывал даже: выжить бы. За окнами разгулялась всюю холодная, влажная, позднемартовская, тяжёлая, затяжная, безбрежная непогода. Я лежал на узкой тахте, в одиночестве, в темноте, в тишине, среди книг и картин, и перемогал болезнь. Меня посещали всё время видения, невероятные, непрерывно, как в киноленте отдельные, частые кадры, сменяющиеся, мелькающие, чередующиеся с какой-то непонятной совсем быстротой, развёрнутые в каком-то неизвестном, странном пространстве, возникающие в каком-то совершенно ином измерении, чем привыч-

ные нам, земные. Помимо болезни моей, томило меня и мучило ещё и предчувствие острое непоправимой беды, которая, может быть, даже произошла уже или вот-вот, мерещилось, внезапно произойдёт с кем-то из очень хороших, дорогих для меня людей. Видения надвигались, накатывались, наслаивались, напознали одно на другое, смешивались, клубились, исчезали, опять возникали, стремительно, без перерывов. Я слышал чьи-то знакомые голоса. Слышал громкие крики. Потом, неожиданно-негаданно, что-то вдруг меня с места сорвало, подняло высоко над землёю – и вынесло прямо в космос. Там, на виду у нашей многострадальной планеты, мерцавшей внизу, в черноте, поистине беспредельной, невыразимо огромной, происходили действительно небывалые, странные вещи. Там снимали какой-то фильм. Это была мистерия. Почему-то я вмиг это понял. Не драма и не трагедия. Эти жанры здесь не годились. Мистерия. Именно так. Режиссёр знаменитый, Андрей Тарковский, в клетчатой кепке, в распахнутой кожаной куртке, с шарфом на птичьей шее с выпирающим кадыком, скуластый, черноволосый, весь в движении, упоённый дивным ритмом, редчайшей возможностью что-то важное для него прозревая в происходящем, тут же снять его, руководил съёмками кинофильма. С металлическим, серебрящимся рупором в быстрых, вытянутых куда-то вперёд руках, летал он меж оператором со стрекочущей кинокамерой и актёрами, среди которых то смутно, то более чётко, различал я знакомые лица. И вот уже прямо на съёмочную площадку, в пёстрый сумбур её, в ледяном созвездий мерцании, в космической черноте, ворвалась откуда-то издали, извне, из других галактик, чудовищная, по мощи и по размаху, сила, стихия, вселенская буря, скопление тусклых шаров, раздробленных, острых камней, песчинок, метеоритов, обломков прекрасных зданий, разнообразных предметов, обиходных, самых простых, и загадочных, неземных, иголок с длинными нитями, изорванных книжных страниц, свёрнутых в трубки свитков, статуй, осколков зеркал, невероятное месиво, жуткое завихрение, и надвинулось вмиг на всех, и Тарковский метался в космосе, и кричал отчаянно в рупор: «Снимайте! Скорее снимайте!..» И фигуры людей закружились в черноте, в мерцании звёздном, – ну в точности как на картинах моего тогдашнего друга, печального ясновидца, родом из-под Чернобыля, Петра Иваныча, Пети Беленка, художника, видевшего наперёд, и такое ведавшего, чего не знали другие, – всех куда-то наискось, в сторону, в глубь, за хрупкую грань реальности, что-то стало вдруг уносить, и унеслись киносъёмки в неизвестность, словно в воронку, вместе с ужасным, всеобщим, хаотическим завихрением. И услышал я крик: «Маргарита! Отвори мне скорее кровь!..» И тогда показалось мне, что это голос Шатрова. И возникла чудесная музыка, светлейшая, непохожая на всё, мною ранее слышанное. Музыка длилась и длилась. «Николай!» – раздался откуда-то громкий, спокойный голос. И другой, вслед за ним: «Шатров!» И потом прозвучало: «Царь!» Я всё это слышал отчётливо. Был в бреду. Посреди видений. Но Шатров, носивший фамилию материнскую, так получилось, по отцу был Михин, потомок, это знали все мы, Ивана Калиты, то есть царской крови. Калита – из скифского рода. Много скифов было когда-то на Руси, много было в Москве. Отсюда и характерная, бросающаяся в глаза внешность шатровская, смуглота его, красота, восточная, южная, древняя. Обрывки этих и прочих, подобных соображений проносились роем в мозгу. Их сменяли видения, новые, надвигавшиеся непрерывно. Всё усиливалось ощущение разрастающейся тревоги.

Боль была слишком сильной, просто невыносимой. Меня лихорадило, в жар бросало, знобило, крутило. Я то стонал иногда, то упрямо стискивал зубы и молча лежал и терпел. День сменялся кошмарной ночью, ночь сменялась кошмарным днём, а я всё бредил, и всё ещё мучительно выживал посреди бесконечных, бессонных, измотавших меня видений. И вот, сам не зная зачем, почему я, больной, это делаю, нашарил я в темноте листок бумаги и ручку – и набело записал, почти вслепую, на ощупь, четыре стихотворения, мистических, как оказалось, и сверху потом написал название странного этого цикла: «Во дни беды». И случайный листок бумаги с неизвестно зачем записанными на нём в потёмках стихами, вместе с ручкой, сразу же выпал на пол, вниз, у меня из рук. То ли я потерял сознание, то ли всё-таки, может, заснул. Утром я очнулся, уже отчасти поздоровевший. Мне было неловко, что я, поневоле, ведь не нарочно, потревожил чету Пацюковых. Извинился я перед ними. Сказал им, что постараюсь вскоре уйти от них. Но куда идти? И к кому? Да ещё в таком состоянии. Телефон был рядом. Пришлось хоть кому-нибудь позвонить. Механически я набрал застрявший в памяти номер одного своего знакомого, который порой позволял мне пожить, на птичьих правах, недолго, в его квартире. И услышал голос его: «Вчера мы похоронили, вот беда-то, Колю Шатрова...» Трубку выронил я из рук. И увидел, внизу, на полу, возле тахты, где я мучился посреди видений, в бреде, и сражался за жизнь, исписанный мною листок бумаги. Поднял его. Прочитал стихи свои. И – всё понял. С трудом изрядным собрался. Попрощался любезно с хозяевами. И ушёл – куда-то вперёд. В пространство. Или сквозь время. В боренья свои – с недугами, видениями, кошмарами. В бездомицы. В явь столичную. На звук вдалеке. На свет...

Через год Маргарита, вдова Шатрова, когда рассказал я, вкратце, без многих подробностей, ей о своих видениях и показал записанные тогда, в конце марта, стихи, голову подняла высоко – и грустно сказала:

– У Коли был сильный приступ. Он закричал: «Маргарита, отвори мне скорее кровь!» Я растерялась тогда. Ничего я не понимала. Вчера только был он вполне, так думала я, здоров, как раз, похудевший, спокойный, вышел из голодания, целый месяц ведь голодал. И его Кириллов с Ширялиным, знакомые люди, нормальные, вроде бы, так я считала, уговорили выпить. Домашняя самогонка, очень чистая, уверяли, что целебная даже, возможно, не пробовала, не знаю, не пью и другим не советую, настоящая на травах. А на следующий же день ему стало внезапно плохо. Я испугалась. Очень. Совершенно не знала, как вести себя, что мне делать. Вызвала по телефону врачей. Приехала к нам «скорая помощь». Коля в тяжёлом был состоянии. Его увезли в больницу. Там, в тот же день, он умер.

И Маргарита надела на свою сухую, точёную, тёмноволосую голову королевы воображаемой приготовленную заранее, в обычной сумке, с которой ходила она везде, в одиночестве королевском, в роли вдовы поэта великого, несравненного, который сказал ей однажды: «Когда я умру, ты увидишь сама, что начнётся тогда», собственноручно сделанную ею, изящную, лёгкую, как в детской игре, корону. Маргарита всегда её надевала, когда приходила в гости к своим знакомым. Картонная, королевская, корона, сверху оклеенная конфетной, блестящей фольгой. Отчасти, можно подумать, карнавальная, игровая. Отчасти же – отдающая безумием, роковая.

Король со своей королевой. Николай со своей Маргаритой. Она так давно считала. Так всегда говорила. На стене её дачного домика в Пушкино, деревянного, вроде скромного теремка или старенького скворешника, – сказал мне кто-то, сгоревшего, больше не существующего, но так ли это, не знаю, – нарисованы были, помню, король со своей королевой. Разумеется, оба – в коронах.

Маргарита была художницей. Годами делала кукол. Каких-то я, кажется, даже видел. Но не запомнил. Маргарита была блаженной. И практичной – как-то навыворот. Что ни сделает – всё не так. Но старалась всегда – держаться. Она была старше Шатрова. Лет на десять. Никак не меньше. Но существенной разницы в возрасте никогда она не замечала. Колю она любила страстно, преданно, самозабвенно. И очень уж своеобразно. Как никто никого не любил.

Шатрова похоронить хотел возле церкви, в которой служил он в семидесятых, отец Александр Мень. С этим известным священником Шатров дружил и частенько, по-соседски, к нему зааживал, когда жил на даче в Пушкино. Староста церкви, дама без имени и фамилии, решительно воспротивилась тому, чтобы здесь, у храма, какого-то там подпольного, неизвестного ей поэта, даже если на этом настаивал сам священник, похоронили. И тогда Шатрова – сожгли. Как давно предсказал он в стихах своих. В крематории. В пламени страшном. Урну с прахом – вручили вдове.

Урну с Колиным лёгким прахом, светлым пеплом, от жизни оставшимся, королевским, вернее, царским прахом, духом, вздохом по прожитым вместе с мужем счастливым годам, по любви, по женскому счастью, Маргарита держала долго при себе, у себя дома. Чтобы рядом супруг был всегда. Когда она, время от времени, отправлялась куда-нибудь в гости, то неизменно с собой, в сумке или в пакете, и урну с прахом прихватывала. Придёт, бывало. Накрашенная. Принаряженная. Причёсанная. На свою точёную голову корону тут же наденет. Урну с Колиным прахом достанет из сумки или пакета – и сразу её на стол, на самое видное место. И приветствует всех собравшихся с достоинством, по-королевски:

– Здравствуйте! Мы к вам сегодня в гости с Колей пришли!..

Некоторые мнительные, с воображением развитым, пожилые, седые граждане, и не только они одни, но даже, куда уж дальше, зелёная молодёжь, и особенно, разумеется, чувствительные сверх меры и до крайности впечатлительные, из числа поклонниц шатровских былых, из числа любителей поэзии, милые дамы, немедленно падали в обморок.

А Маргарита, высокая, стройная, королева, да и только, блестя глазами, одной рукой прижимая как можно крепче к себе урну с Колиным прахом, другой рукой грациозно поправляла свою корону и читать принималась всем, по памяти, с выражением, королевским, звенящим золотом, хорошо поставленным голосом, шатровские, удивительные, провидческие стихи.

Потом, по прошествии некоего, довольно долгого, времени, она, королева вдовая, всё-таки захоронила бесприютный шатровский прах. Потихоньку. Втайне от всех. Нелегально. Без всяких формальностей. На Новодевичьем кладбище. В месте привилегированном. Там, где давно покоится отец её, крупный советский деятель времени сталинского, латыш, человек суровый и надёжный, Рейнгольд Берзинь. В уголке вроде каком-то закопала урну. Под боком, под опекою, у отца. Пусть её король там лежит. Уж она-то об этом знает. Остальные – это неважно.

Тихо, мирно, самостоятельно, никого ни о чём не спрашивая и тем более не упрашивая, не вымаливая позволения на такое вот захоронение, как вдове у нас полагается, и тем более – королеве, предала она прах поэта, как сумела, сама, земле. О чём впоследствии мне однажды и рассказала, чрезвычайно собою довольная.

Вот такая – о боже! – история. И такая, представьте, судьба. Наивысшая категория. Сон – вне яви. И – пот со лба. Что ни шаг, то сплошная мистика. (Россыпь строк на пространстве листика.) Что ни взгляд, зазеркальный знак. (Не собрать их теперь никак.) Что ни слово, астральный свет. (Путь сквозь век. Черета примет.) Кто сумеет – собрать, сберечь? Ночь пройдёт. Возвратится – речь.

А потом, уже в девяностых, Маргариту просто ограбили. Расстарался некий субъект. Ей самую же и назначенный, а зачем, поди разберись, неизвестно откуда свалившийся на её королевскую голову, беспронырливый, или монстр натуральный, из как бы времени, по её же наивному мнению деловой человек, рассудительный, обещальщик-душеприказчик. Всё забрал у неё, подчистую. Рукописи, фотографии. Всё, что связано было с Шатровым. В мешки всё это сложил – и утащил. С концами. Об этом поведали мне друзья шатровские старые.

Маргарита – не Берзинь, а Димзе. Почему – её не расспрашивал. Пострадала семья. Репрессии. В лагерях намучилась мать. Маргарита звонит иногда. Уж не знаю, цела ли корона. Тяжело мне с ней говорить. Жаль её. Но за Колю – больно.

Маргарита недавно звонила. Она почему-то решила подарить мне шатровский костюм. Шведский костюм. Целёхонький. Тот самый, один-единственный из всей одежды имевшейся – приличный, в котором Шатров, Бог знает, когда, лет сорок назад или даже больше, надев его специально, чтобы выглядеть посolidнее, оправился как-то к поэту хорошему, с трудной судьбой, сибиряку, Леониду Мартынову, в гости, в надежде, что тот ему, понимая в стихах, глядишь и поможет с публикациями, но Мартынов, едва завидев костюм, немедленно заявил, что для бедствующего поэта, совершенно не издающегося, это слишком шикарно – и в помощи Шатрову тогда отказал. И вот Маргарита вспомнила, через столько лет, о костюме: «Возьмите его, Володя! Он вам как раз впору. Вы с Колей одной комплекции. Костюм совершенно новый!...» Ну что на такое скажешь? Не нужен мне этот костюм!

Когда-то, в былые годы, когда мы, с моей женой Людмилой и нашими маленькими славными дочерьми, жили дружно, но крайне бедно, и носить мне и в самом деле иногда было просто нечего, а купить в магазине одежду, даже скромную, просто не на что, Маргарита пришла к нам однажды в гости и подарила мне шатровский старый костюм, который, как оказалось, в свою очередь, встарь когда-то подарил ему друг его добрый, знаменитый тогда пианист Софроницкий, и я, от безвыходности, костюм этот, серый, потёртый, какое-то время носил, а потом перестал носить. И ещё она, в те же, далёкие, времена глухого безвременья, подарила мне, от щедрот своих, старый шатровский плащ, широкий, зелёного цвета. Я его так ни разу и не надел. Вроде цел он. Да, висит, всё же память о прошлом, в шкафу, у меня в Коктебеле.

Сам я сделал немало достойных публикаций стихов Шатрова. Это, в общей сложности, целая книга, очень хорошая. Но Маргарита мои старания не оценила. Похоже на то, что она, вдова-королева в короне, так толком и не поняла, за все прошедшие годы, что некоторая часть наследия литературного её покойного мужа с трудом, но всё-таки издана.

Шатровская дочь, Лелиана, вовсе не Маргаритина, хрупкая, как Офелия, с виду – белая лилия, лунною ночью расцветшая в тиши – давно умерла. Сын шатровский, Орфей, тоже не Маргаритин, живёт, насколько я помню, в Калуге. Я видел его. Он очень похож на Шатрова.

На могиле Шатрова я не был. Был ли кто-нибудь там, вообще? Как найти её, если нет опознавательных знаков? Стоять у могилы Берзиня и думать, что там, где-то сбоку, с краешку, нелегально, лежит Николай Шатров – или, верней, его прах?

Мистика, да и только. Бред. Видения. Знаки. В небе – лунная долька. В почве – пепел и злаки. В песнях – доля и воля. В жизни – любовь и вера. Звёзды. Кристаллы соли. Символы да химеры.

И всё это сам Шатров – при жизни ещё, провидчески, в стихах своих, и особенно в стихах своих лет последних – давно уже предсказал. Был – настоящим поэтом. Жил – несладко, нескладно. В речи своей – остался. И время его – впереди.

К СМОГУ – имел отношение. Не всё принимал – у Губанова. Ко мне относился – с восторгом. Да вот не успели мы с ним подружиться. Такая судьба.

Я ещё расскажу о Шатрове. Не всё ведь сразу. Согласны? Он ещё придёт в мои книги. Да и к вам он придёт. Стихами. Вечер. Молодость я вспоминаю. Тот октябрь, где листья слетали и под солнцем тёплым горели золотистыми ворохами...

(Окончание следует.)

Борис БАРТФЕЛЬД

Родился в 1956 году в посёлке Новостроево Калининградской области. Окончил университет по специализации «теоретическая физика». Занимался математическим моделированием и исследованиями сложных технических систем и природных процессов.

Автор восьми книг, рассказы и стихи печатались в литературных журналах и альманахах. Член Союза российских писателей. Живет в Калининграде.

ФИРС

Супружеская пара сидела за угловым столиком в ресторане гостиницы.

Мужчина был моложав, и все-таки явно старше спутницы. Полу-мрак скрадывал их лица, но скрыть волнения не мог. Женщина молчала, мужчина что-то коротко говорил ей по-немецки. За всем этим безмолвно наблюдал посторонний, но не случайный персонаж Григорий. В зале висело напряжение, и все ощущали его.

«Бог с ним, с этим волнением, меня это не особо касается. Я всего лишь зритель, даже не свидетель разговора», – с этим чувством Григорий подошел к столику и перекинулся с немцами парой слов.

Отвечал мужчина. Скорее угадав, чем разобрав из немецких фраз, что сегодня у них случилось нечто необыкновенное, Григорий сходил за бутылкой коньяка, взял в баре три рюмки, плеснул в них солнечного света. Выпили залпом, без закуски. Немец заговорил быстрее, сыпал словами. Удавалось выхватывать из рассказа только отдельные слова, чаще всего: голод и смерть, смерть и голод, голод, голод.

Десяти-одиннадцатилетние мальчишки с матерью в конце войны не успели эвакуироваться вглубь Германии и два года выживали в маленьком домике за городком Лабау, нынешним Полесском. Голод, голод, голод. Жизнь – поиск еды, любой еды. Иногда воровство, редко – неожиданная помощь случайно встреченных на своём пути русских. Зимой голод становился непреодолимым, весна и лето приносили только временное облегчение.

Мать отдавала еду детям, пытаясь их спасти, и умерла от голода в начале лета 1947 года, не дожив пары месяцев до отправки в Германию. Сын тайно схоронил ее во дворе дома, под приметным деревом. Сегодня они с женой целый день безуспешно искали тот дом на окраине поселка и к вечеру все-таки опознали это место. Старого приметного дерева уже не осталось, и они, попросив разрешение у нынешних

хозяев, посадили вечнозеленый кустарник прямо над могилой матери. Опасались раскрыть тайну этого места и не открыли, что здесь похоронена мать. Вся история предстала в своей трагической обыденности в безыскусном рассказе немца. Спутница за все время разговора не произнесла ни слова.

Мать его умерла, а он, совсем мальчишка, выжил, вернулся в Германию, стал известным актером и режиссером. И сейчас, уже постарев, в театре Мюнхена играл всего одну роль – роль старика в знаменитой русской пьесе. Совершенно седой и прозрачный от худобы, он так и остался в том своем голоде, голоде детства.

Обычная история, житейская, а житейские истории, они потому и житейские, что происходят сами по себе. Происходят без автора и режиссуры, если таковыми не считать собственно провидение. История эта могла случиться в нашем приморском крае в любой день через пятьдесят лет после войны, но началась в июле 2012 года.

Через два года эта пара вновь приехала в Калининград. Они представили книгу о судьбе этого мальчишки. Вечно молчаливая спутница оказалась писательницей. Она всегда молчала, только глаза, не поглощающие, а излучающие свет, выдавали ее необычную открытость миру. Может, писатель и должен молчать, чтобы не растратить мысли и эмоции, так и не успев донести их до бумаги. Через год книгу перевели на русский язык, и Григорий прочёл её. В книге снова – голод, голод, благодарность матери и неизбывная вина перед ней, поиск следов отца, тайна его гибели, сомнения в нем, его принадлежность к национал-социалистической партии и снова сомнения, и снова голод, голод без конца. Григорий размышлял о том, что заставило молчаливую фрау потратить два года на описание этого частного случая, который в книге приобрёл общечеловеческое звучание. Ни на деньги, ни на славу она рассчитывать не могла. Что двигало ею, какая воля или долг заставляли её делать большую работу? Она шагнула из своей молчаливой тени немого свидетеля на звучащую, освещённую сцену, выносив в себе книгу о тех двух голодных первых послевоенных годах в Восточной Пруссии.

Русские виноваты в этом голоде? Прямо об этом не написано. Но это вытекало из текста, точнее было подтекстом. Мог ли немецкий мальчишка, оказавшийся в трагической ситуации, не ожесточиться? Русские виноваты! Но они сами голодали, и единственно, чем их жизнь отличалась от жизни немцев, так только тем, что русские могли уехать из этого голодного места в другое, но тоже голодное. Когда люди страдают, всегда кто-то виноват, боль и обида сама находит виновных. Какое впечатление производили страдания немцев на русских? Не самое сильное, ведь все зависит от того, с чем сравнивать. А русским, белорусам, евреям и украинцам, жившим теперь рядом с немцами, было с чем сравнить. И на первом плане в личном опыте немецкой оккупации у них были смерть и истязания, а голод маячил где-то далеко, до него еще надо было дожить. Так было везде, за исключением Ленинграда и лагерей. Но в послевоенной Восточной Пруссии подавляющее большинство немцев выжило, и легче те, кто был ближе к заливу, к рекам, к озерам. Рыбу в отличие от зверей можно было ловить и этим спастись. Сушенный снеток – валюта, а хлеб еще дороже. Но этот старый немец, в юности претерпевший и потерявший все, дружелюбен к русским, он как-то сумел изжить ожесточение войны, голода и изгнания.

Вскоре Григория по делам занесло за Полесск и дальше за Дейму, в старую немецкую школу-музей Вальдвинкель, где уже явственно ощущимо дыхание Куршского залива. Там, в маленьком частном музее собрали рассказы стариков из окрестных поселков о жизни переселенцев в самые первые годы после приезда. И в них главное место занимал тот же голод, голод и русских, и немцев. В одном из рассказов, больше похожем на исповедь, теперь уже пожилая женщина вспоминала о своем ровеснике, тринадцатилетнем Матвее из Разина* – лесной деревушки, стоящей на канале неподалеку от залива. Матвей этот наловчился не только искусно ловить рыбу, это умели многие, но и каким-то тайным хитрым способом быстро сушить ее для длительного хранения. И всю зиму, даже весну маленькими порциями он раздавал драгоценную еду окрестной малышне без разбора – и русским, и немцам.

Григорий надумал доехать до канала и осмотреть эту деревушку. Дорога к ней шла на север, сначала асфальтовая, затем грунтовая и наконец, когда деревья обступили машину со всех сторон и хлестали ветками по кузову, лесная. Несколько раз, казалось, что надо поворачивать назад, дальше проехать невозможно, но деревья расступались, и вновь открывалась дорога. Вскоре впереди показались дома. Часть из них была полуразрушена и уже оккупирована буйной природой, ее передовые части – кустарники, осины и березы заполонили дворы, взобрались на стены и остатки крыш. Метров через двести машина застряла в глубокой колее, разбитой тракторными колесами. Попытки вырваться из колеи на обочину не удалось, надо было подложить под колеса доски или какой-нибудь другой подручный материал. Пришлось пойти к ближайшему дому за инструментами.

Живой забор вокруг участка превратился в высокий лес, но дом стоял крепко, и на двухскатной острроверхой крыше его лежала родная красная черепица, да и деревянные окна были еще немецкими. Сад у дома постарел, немецкие яблони доживали последние годы, только стайка молодых вишен-костянок весело перешептывалась мелкими листьями. Во дворе никого не было, оставалось открыть дверь самому и зайти в дом. Из маленькой прихожей коридор вел к кухне, где на табуретке сидел старик в фуфайке, на его ногах, обернутых фланелевыми портянками, чернели резиновые калоши.

– Отец, машина моя застряла неподалеку, дай топор кустов нарубить. – Старик, казалось, ничего не слышал, Григорий подошел ближе, тронул его за плечо, старик рассмеялся:

– Я все слышу, не беспокойся. Иди в сарай, топор у стены лежит. Нарубишь кустов, возвращайся, только елочки и березы не руби, там полно сорной поросли.

– Спасибо, отец. Я недолго.

Топор, воткнутый в край аккуратного чурбачка, нашелся сразу. Все в сарае было обычным для села, но под самой крышей были натянуты десятки лесок, на которых рядами, как нотки на нотном стане, висели сотни рыбин, будто специально отобранных одна к одной, весом граммов под триста. Мало ли кто из местных вялит рыбу, но запах этой рыбы да и цвет ее были необычными, будто кто-то смазал ее особенным маслом. Да еще на веревках под потолком висели холщовые мешки, заполненные уже высушенной рыбой.

* Здесь и далее упоминаются поселки Полесского (Лабиау) района Калининградской области: Ювендт (Мёвенорт) – пос. Разино, Келладен – пос. Ильичево.

Поблизости от дороги в изобилии росли самосеянные клены, осинки. Они и пошли под колеса автомобиля. Дернувшись несколько раз вперед-назад, машина с трудом выбралась из глубокой колеи на твердую поверхность дороги. Когда Григорий вернулся с топором к сараю, старик стоял на чурбачке у стены, крихтя, снимал рыбу с лесок и складывал ее в мешок.

– Ну что, вылез из ямы? Куда нелегкая тебя несет, вроде ты не из наших, да и не рыбак?

– Просто путешествую, вот хочу до канала доехать, на залив посмотреть.

– Каналов здесь полно, со всей округи воду собирают, а то затопило бы давно поля и лес. Я тут каждую тропинку, каждую канавку знаю, где какую траву собирать, вот валерьяну ближе к посёлку Красное, а тмин – тот у дамбы растёт. Помню времена, когда все здесь работало, и симменсовские насосы еще пятьдесят лет после войны перекачивали воду из канальчиков в каналы и в конце концов в Куршский залив.

– А когда вы сюда приехали?

– Мальцом приехал из Мордовии. В последний день лета на следующий год, как война с германцем кончилась, наш эшелон пришел на станцию Тапиау, Гвардейск нынешний. Здесь всю жизнь и прожил, а что мне еще нужно. Люблю я воду. Родился на речке Мокша, с ранних лет рыбалил и здесь к месту пришелся.

– Отец, а что в первые годы с вами тут и немцы жили, небось и не помните уже?

– Чего ж не помнить. Все помню, и русских, и немцев, как играли вместе и дрались.

И как увозили их на грузовиках, помню. После возле калитки в лопухах нашел два тюка с посудой, кто из них мне оставил, не знаю. Так всю жизнь с этой немецкой посуды и ели, ни разу не покупали.

– А правда так голодали, что всех крыс поели?

– Голодно было, но крысами не спасешься. Хитрые они, бестии, чувствуют свою погибель и уходят подальше от крысоловов. Вот рыба, та другое дело, она здесь беззаботна и всегда под рукой. Она спасительница. Держи мешок, повесишь дома на крюк под потолок и ешь по рыбине хоть целый год, она только вкусней будет.

– Так кухня вся провоняет рыбой.

– Не бойсь, не провоняет кухня твоя. Рыбка-то моя высушена особым образом. И сохнет быстро, и хранится долго, и не пахнет почти. Секрет был у старых мокшан, дед мне еще в мальчишестве рассказывал о Богине-матери Анге-паяй да секрет тот и раскрыл. Дом её небесный, скрытый за тучами, всегда полон семян растений, зародышей животных, душ не родившихся младенцев. Из своего дома богиня наша на Землю посылает Эряф-Жизнь, вместе с росой, дождем, молоком, снегом. Потому мордва и выжить может там, где другим не прожить. Из-за рыбы я в этом поселке и оказался. Сперва нас в другом месте поселили, в местечке Келладен. Немцы и русские жили здесь тогда по разным поселкам. В первый год немцев было раза в два больше. Мы приехали в осень, а ни огородов своих, ни животных на забой нет. Немецкие запасы по подвалам да полевым буртам подъели быстро. Осень кончалась, а голод только начался. Лошадей стали есть, паслись здесь без присмотра по лугам табуны. Но за это сажали. А я лошадей и без этого есть не мог, для меня это что друга схарчить. За рыбой я стал ходить на канал, но идти надо было далеко. Так я и перебрался сюда, поближе

к рыбе. Здесь жили сплошь немцы. Но ничего, сначала грызлись, а потом сжились друг с другом. Подкармливал я их да и научил кое-чему. Два года с залива и канала не вылезал.

– Зачем же отец ты взвалил на себя эти заботы? Любви-то между вами и немцами особой не водилось.

– Не знаю, как тебе и объяснить. Просто не могу, а мудрено не умею. Разные люди здесь спасались. Кто имел неукротимую волю к жизни, те и сами выживали, а вот кто терял ее – тем беда. Ведь голодала здесь еще и малышня. Воля к жизни у детей природная, а умения прокормиться нет. Им-то я и помогал. Голод и холод подавляют волю к жизни. А зачем мне это нужно было, я ни тогда не знал, ни сейчас не знаю. Тоже, видать, воля какая-то мною двигала. Не мог я смотреть, как они тощат с каждым днем, а потом угасают за полночь, как тонкая лучина в моих руках.

– Как случилось, что ты остался здесь в одиночестве?

– Так уехали все мои. И сыновья, и дочери, и невестки, и внуки – все разъехались, кто в соседний поселок Саранское, кто в городе живет. А меня забыли, никто не позвал с собой, вот так. Да я бы и не поехал. Ничего, я здесь посижу. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Но это ладно, вот старуха моя и соседи все перемерли, так это жаль.

– А мешки с рыбой зачем на подвесе под потолком держишь?

– Известное дело, крысы и мыши за месяц сгрызут всю рыбу. А её сохранить надо для людей до самой весны. Почти семьдесят лет прошло, а я всё ещё продолжаю своё дело – заготавливаю рыбу впрок. Главным это стало для меня, а в чём смысл всех этих забот, голода-то нынче нет? Но всё равно ловлю рыбу, а потом раздаю, только теперь старикам, брошенные, они нынче беспомощней детей.

Старик распрощался и направился в дом.

– Как звать-то тебя, отец? Может, через месяц заеду к тебе еще разок.

– Дедом Матвеем кличут, знаешь, что значит моё имя? Вижу, что не знаешь, дар Божий означает. А в чём дар тот, в чём мой дар, предназначение моё? Так и не знаю, не открыл в себе. Ну, заезжай, встречу, коли жив буду. До заморозков ноябрьских собираюсь дожить. А там и помру, засну на морозе. Тихая смерть.

– Ты тут один, помрешь, тебя и похоронить некому, будешь вонять.

– Нет, паря, не буду. И здесь мне мой секрет поможет, высохну, как мумия. Жизнь моя здесь закончится так, как и начиналась. В холоде и голоде. Круг должен замкнуться. Вот никому не говорил, а тебе незнакомцу скажу, мне иногда кажется, что те самые первые два голодных года на этой земле и есть самые главные в моей жизни.

Григорий достал прихваченную из машины поллитровку и с благодарностью отдал деду. Тот явно обрадовался:

– Придут морозы, буду ей согреться, по семьдесят грамм утром и вечером, глядишь, недельку на ней протяну. Топить-то печку сил уже не будет. Вот через недельку вишни поспеют, радость у меня будет, три года, как посадил их. Может, последняя радость. Варенье бы из вишни наварить в зиму с косточками, да уж не смогу.

Он повернулся, медленно зашел в дом, дверь закрывалась за ним сама, долго с пронзительным скрипом, будто лесная птица кричала во весь голос свою протальную песню. Григорий завел машину, дальше дорога была твердой, через несколько минут открылся вид на канал.

Про деда вспомнил Григорий только в следующем году на майские праздники. После обеда направился к нему в поселок. По знакомой до-

роге ехалось легко, и яму перед поселком объехать не забыл. На участке перед домом никого не было. Незапертая дверь болталась под напором ветра, на кухне, опершись спиной о стену, сидел дед. Одет он был так же, как в прошлую встречу, только на голову была глубоко, по самые брови надвинута шапка. Лицо его было спокойным, только цвет кожи был коричневым, как у дехканина. Он спал, и сон его был вечным. На столе стояла ребристая немецкая рюмка из толстого синего стекла и та самая дареная бутылка водки, теперь уже пустая. Делать Григорий ничего не стал, в конце концов он даже не Свидетель, только Зритель. И в полицию ничего не сообщил, ничего не тронул, лишь слегка поправил шапку, пусть дед сидит в своем доме и встречает редких гостей. Прикрыл дверь в дом, которая ту же самую печальную песню на этот раз пропела коротко. В сарае все было по-прежнему, только с лесок сняли всю рыбу. На полу валялся тетрадный листок, сброшенный сквозняком с подоконника. На нем корявым почерком кто-то написал: «Дед Матвей, спасибо тебе за рыбу», – затем слово «рыбу» было зачеркнуто и выше размашисто написано «ЖИЗНЬ».

Григорий поднял листок, разгладил его ладонью, аккуратно насадил на гвоздь, торчащий из стены, так чтобы каждому входящему слово «ЖИЗНЬ» бросалось в глаза:

– Видно, дед прав, невозможно всегда оставаться только наблюдателем, только зрителем. – Какая простая мысль, может эта житейская история с ним потому и произошла, от случайной встречи с пожилым немцем, который ребёнком так тяжело боролся за жизнь, до встречи с русским дедом, который мальчишкой в этих местах помогал выживать таким же немецким пацанам, да и русским тоже, чтобы он, Григорий, осознал, вернее ощутил в себе волю к действию.

В задумчивости Григорий вышел из сарая, плотно прикрыв за собою дверь.

Старый сад медлил с цветением. Немецкие яблони, не выходя из зимнего сна, засыхали. От прошлого не остается ничего: ни деревьев, ни других жизненных декораций, разве что память, да и она уходит вместе с людьми, только вот книги – они сохраняют память. Но в углу сада, охваченные белым пламенем, трепетали молодые вишенки. Те самые вишни-костянки, которые так хотел попробовать дед прошлым летом. Случилось ли ему их поесть или неугомонные скворцы склевали раньше первый урожай вишен, теперь не узнать.

В этот же вечер в мюнхенском театре ровесник деда Матвея играл свою единственную роль. В конце пьесы, оставшись на сцене в одиночестве и пытаясь понять, отчего его герой, старик, брошенный всеми в притихшем доме посреди гибнущего вишневого сада, всё еще живет, он лег на лавку и повторил в мёртвой тишине зала слова деда Матвея:

– Mich haben sie vergessen. Tut nichts, ich bleib' hier sitzen*. Жизнь-то прошла, словно и не жил...

* Про меня забыли... Ничего... я тут посижу ...(нем.).

Юлия КИМ

Родилась в 1966 году в городе Ирбите Свердловской области. Окончила Орский государственный педагогический институт по специальности «русский язык и литература» и Московскую финансово-промышленную академию по специальности «оценка бизнеса».

Работала учителем русского языка и литературы и библиотекарем в поселке Домбаровский Оренбургской области. В 2000 году переехала в Ульяновск, где работала оценщиком, затем открыла свое дело в области судебной экспертизы и оценки.

В настоящее время руководит некоммерческой организацией в области судебной экспертизы. Живет в Москве,

ТЫ ПАХНЕШЬ МОРЕМ

Времени у меня оставалось от силы несколько дней. Страшно было не успеть, и я, втайне от всех, оставила пропахшее лекарством и старостью жильё и села в самолет.

Меня скоро хватятя, доложат сыну, он поймет, где я, и кинется за мной. Но будет уже поздно. Простите меня.

Я на безлюдном берегу, море этой осенью неприветливо. Жду, когда он подойдет неслышно, по обыкновению, положит руки мне на плечи, зароется лицом в мои волосы и скажет: «Ты пахнешь морем».

Впервые я увидела его накануне своего двадцатилетия. От скуки я зарывала ноги в песок. Стоял глубокий сентябрь, море пенилось, шипело, вылизывало берег, оставляло на песке тонкую прозрачную пленку, отступало и вновь яростно накатывало.

Я прибыла сюда залечивать душевную рану после неудавшегося романа. Предполагалось, что буду часами в одиночестве бродить по берегу, лежать пузом на горячем песке, что не пророню за две недели ни слова. Ожидалось, что страдать будет сладко и даже приятно. Да и как могло быть иначе, когда впереди маячила вся жизнь.

На деле уединение получилось не таким уж благостным. Песок лез повсюду, в холодную воду заходить не хотелось, да и душевная рана оказалась не такой уж глубокой и через неделю затянулась без следа под бархатным крымским солнышком.

Вспомнились приманки мегаполиса, студенческие вечеринки со свойственными им излишествами, теплая пенная ванна, домашний уют и прочие блага цивилизации.

Небо все чаще затягивалось тучами, сквозь которые солнце выглядывало изредка и лениво. Редкие отдыхающие почтенного, в моем понимании, возраста бродили по кромке воды, качались в волнах или сидели на песке в задумчивости.

Тоска.

Я пришла искупаться, но лезть в холодные волны, вздрагивать от их бесцеремонных прикосновений к животу и груди, не хотелось. Накатила, сковала лень. Я обзревала унылый пейзаж, разномастные прибрежные постройки от замков в готическом стиле до грубо сколоченных времянок, тяжелые, обкатанные морем, камни повсюду. Устала пересыпать в ладонях песок, вздохнула, закрыла глаза и подставила лицо под мягкое солнце.

На плечи опустились чьи-то прохладные ладони. Здесь меня знала разве что моя прижимистая хозяйка. Я обернулась. Он наклонился ко мне совсем близко, коснулся влажными волосами щеки и сказал:

– Ты пахнешь морем.

– Откуда такой? – спросила я, восхитившись его наглости. Он махнул рукой в сторону волн, улыбаясь и продолжая беззастенчиво разглядывать меня. Что ж, по крайней мере будет не так скучно.

Его звали Марий. Не знаю, было ли это настоящим именем. Возможно, имени у него и не было. Но это подходило ему – стремительному и гибкому, как рыбка.

Мы уплетали морских гадов в заведении под названием «Пиратская бухта», где сонные, осенние официанты сразу предупреждали, чего нет в меню по причине конца сезона. Марий, подняв вверх зажатую в кулаке вилку, рассказывал о морских обитателях так, словно знал их лично. Мы бродили, обнявшись, по бесконечному пляжу, валялись на песке, наслаждались последним в этом году солнышком и своей молодостью. Каждый вечер он провожал меня до ворот домика, где я снимала у упомянутой уже хозяйки убогую комнату. Он никогда не заходил. Я спрашивала, где он живет, он смеялся и показывал на море.

Это не было похоже на новый роман. Мы, правда, целовались, но дальше дело никогда не заходило. Марий прикасался ко мне так, точно любовался мной, осторожно пробовал на вкус. Он вдыхал мой аромат, но не присваивал меня. Словно отсутствовал в его отношении ко мне импульс, толчок, словно суть наших встреч лежала за пределами плотского удовольствия и поэтому его можно было упустить. Это было до того необычно, что я поддалась наших платонических встреч. Нежилась, таяла, но не более.

Тогда я совсем не умела плавать. По утрам Марий приводил меня к морю, заходил в воду и протягивал ко мне руки. Сам он кувыркался в волнах, как дельфин, с ним не было страшно. Я разглядывала в воде свою кожу в сетчатых бликах солнца, словно в чешуе. В то лето, едва научившись держаться на воде, ежеминутно останавливаясь, чтоб проверить, есть ли под ногами дно, я уже познала мягкие и упругие объятия моря. Оно обхватывало меня, лишало скелета и влекло, влекло за собой. Оно относилась ко мне так же, как Марий, – любя и ничего не требуя взамен, не присваивая меня, а лишь направляя. Это было восхитительно.

Закончился сезон, надо было уезжать. Я была уверена, что отношения с Марием только начинаются. Но в последний день перед отъездом

он пропал. Так я и улетела, не попрощавшись с ним, смертельно обидевшись и зафиксировав это событие для себя как курортный роман. Поставила галочку, чтоб больше не возвращаться сюда. Сказать, что мной просто попользовались, строго говоря, было нельзя. скорее наоборот. Но я была молода, амбициозна и решила навсегда вычеркнуть из памяти и этот берег, и этого парня.

Но все сложилось иначе.

Следующий год оказался для меня богатым событиями. Я окончила университет, познакомилась с будущим мужем и решила связать с ним судьбу. Он разительно отличался от всех моих прежних ухажеров-раздолбаев, был серьезен и обожал меня. Все было хорошо и шло к свадьбе.

Укутанные в Москву, мы не могли себе представить, что где-то плещется море. Мой жених был сухопутен. К воде его не тянуло. Я же этой зимой плескалась в ванне и даже записалась в бассейн. Но бассейн не заменил мягких объятий волн. Да и объятий Мария, чего греха таить, тоже.

К свадьбе все было готово, искать работу я не торопилась. Маялась от безделья, шастала по квартире, открывала время от времени шкаф, любовалась белым облаком, выбирала пригласительные, занималась прочей ерундой.

Жених мой, напротив, был сильно занят на работе и предложил мне съездить отдохнуть на море одной. Он шутил, что наступили последние мои вольные деньки и я просто обязана напоследок насладиться свободой.

Хотелось солнышка. Я выбрала шумную красавицу Ялту и сразу влюбилась в нее. Но вскоре насытилась ее парадной яркостью, дворцами, винными погребками, экскурсиями, толпами праздных отдыхающих. Я села в автобус и втайне от всех отправилась туда.

Марий подошел сразу, словно все это время только и делал, что ждал меня. Словно мы виделись вчера и прошедшего года не существовало. Он был такой же. Юный, бронзовый, похоже, в тех же шортах. Я окунулась в его внимание. Той осенью он научил меня нырять и плавать под водой. Я во все глаза разглядывала подводный мир, мягко баюкающий меня и великолепие морского дна. Время здесь текло по-другому, медленно и плавно, как вода. Казалось, я могла провести по нему рукой и почувствовать упругость волн.

Однажды под водой Марий взял меня за руку и потянул дальше, туда, где не было дна. С Марием я была в безопасности. Но чем дальше мы плыли, тем меньше в воде оставалось солнышка, тем больше было другого глубинного мира. Огромного, бездонного мира, о существовании котором я раньше не подозревала. Мне было любопытно, но страх перевесил, и в какой-то момент я забилась, беззвучно закричала, требуя вернуться.

Марий обнимал, укутывал меня на берегу, дрожащую и рыдающую от ужаса перед открывшейся неизвестностью, а я непослушными губами повторяла: «Зачем, зачем?» и сама не понимала, о чем это я.

Он же целовал мои мокрые волосы, ничего не объяснял и шептал, как заклинание: «Ты пахнешь морем».

Ночью мне снилась бездна. Я смотрела на нее со стороны, без страха, и мне вспомнилось или, возможно, только почудилось, что за секунду до того, как меня накрыл ужас, я что-то увидела во тьме. На следующий день я уехала.

В тот год родился Миша. Не думала, что буду способна так, задыхаясь от нежности, любить это крошечное существо. Целовать ему ножки, вдыхать молочный запах и молиться, молиться, чтобы все было хорошо. Мне ничего больше не было нужно. В первый его год мы были единым целым, и все померкло перед этим чудом.

Отпуск у мужа выпал на конец сентября. Он предложил вывести Мишу на море. Синоптики обещали тепло. Я рассказала мужу про тихий уголок, песчаный пляж, прозрачное море, и мы собрались. Когда Миша засыпал, а муж углублялся в дела, я выходила на берег и ждала. Но Марий не приходил. Там мы пробыли недолго. Муж откровенно скучал от безделья, и мы перебрались в курортный городишко, ходили на экскурсии, завели друзей и в целом неплохо провели время.

Весь следующий год я скучала по морю, искала, где только можно, хотя бы его частицу. Меня окружала зябкая, суетная, зимняя Москва. В вечернем метро хлюпали под ногами грязные лужи.

Бассейны, морские соли, спа – все это было рафинированно и мертво. Мне нужно было только оно, живое, непредсказуемое, несговорчивое. Песок с черными вкраплениями повсюду – на дорожках, в комнате, на ногах. Солнце в воде, жирные голосащие чайки, прожаренные на солнце отдыхающие, знающие тайну бархатного сезона, и его руки на моих плечах.

В сентябре я взяла уже подросшего Мишу и отправилась на море. Муж вроде бы даже вздохнул с облегчением, до того не любил он пляжное безделье. С Мишей ходить по экскурсиям и узнавать что-то новое было сложно. Ему нужен был морской воздух, ленивое солнышко и теплое море.

На этот раз Марий появился. Он сразу принял меня и Мишу как единое целое. Учил его, кроху, плавать. Марий кувыркался в воде, а в его руках резвился заливался младенческим смехом мой сын. В волнах мелькали его пухлые ножки, ручки, он жмурился, отплеывался, вода стекала с его гладкой кожи. Мишу на глубину Марий никогда не звал, и я была за него спокойна.

Я же, помнящая весь год о манящей жути бездны, искала момент, чтоб расспросить Мария про нее.

Вечером я уложила Мишу и вышла на берег. Марий взял меня за руку и повел в море. Мы проплыли совсем немного, солнце еще просвечивало сквозь воду. Я даже не успела испугаться, но вспомнила о сыне, который спал один в кровати на берегу и глазами попросила Мария вернуться.

Я прилетела в Москву отдохнувшая и полная сил. Миша в ту зиму совсем не болел, и я решила каждую осень возить его в то место. Но как-то обнаружила на одном из его первых рисунков, сделанным нетвердой рукой, зажавшей карандаш в кулак и от усердия крошащей грифель в порошок, море, солнце, себя с руками-ногами-палочками, Мишу и... Мария, зарывшего лицо в мои волосы. Я спрятала рисунок от мужа и с тех пор каждый год в сентябре ездила на море одна. В семье мирились с моим чудачеством, беззлобно посмеивались над ним, но отпустили.

Мы много путешествовали всей семьей. Муж и сын с азартом познавали мир, строили планы о новых и новых поездках. Мы лазили по древним развалинам, внимали гидам, бродили по лучшим музеям. Но конец сентября неизменно был моим.

Я брала уроки у лучших дайверов мира для того, чтобы задавать им вопросы о безднах. Они рассказывали о красотах, величии, иногда опасности и страхе, но никто не говорил ни о чем, похожем на то неизведанное и желанное, что открылось мне.

Я предпринимала новые попытки спуститься в бездну, но каждый раз, когда мне уже казалось, что я что-то вижу за толстым слоем воды и надо было просто нырнуть туда вместе с Марием, каждый раз в ту минуту меня охватывал панический ужас. Передо мной вставали картины того, что могу потерять, если что-то случится, того, что было так дорого мне. Миша, муж, любое дело. Моя основная, главная жизнь, а не сказка про юношу и море. И я тянула Мария вверх, на берег. На песке он гладил меня по голове. Я просила: «Расскажи, расскажи мне, что там». Я умоляла. Мне обязательно нужно было про это знать. Он говорил: «Я правда не могу тебе этого рассказать, это невозможно. Таких слов нет. Это надо увидеть и почувствовать. Ты можешь. Доверься мне. Я всегда буду с тобой».

Моя жизнь складывалась гладко. Я преподавала, обрела заслуженность и звания. Муж мой действительно оказался порядочным и надежным человеком. Миша рос славным, умненьким мальчиком.

Внутри же я бредила морем. Я прочитала о нем все. Я знала, что может быть на дне, я видела сотни фильмов, картин, фотографий. Но все не то. ТАМ, в бездне, было нечто иное. Я читала Грина, Беляева, Кларка, Хемингуэя... Никто из них не описывал ничего подобного тому, что манило меня и от чего я в ужасе бежала.

Тем временем каждый год в сентябре происходило одно и то же. Хотя нет, не совсем. После каждой зимы я становилась немного другой. В силу возраста ли, обстоятельств ли минувшего года. А Марий не менялся. Он оставался тем же улыбчивым, поджарым юношей с кубиками на животе. Неизменным было и его бережное отношение ко мне. С какого-то момента нас стали принимать за мать с сыном, а потом, к моему огорчению, за бабушку с внуком. Да, жизнь текла и время меня не щадило. «Зачем я тебе, зачем ты возишься со мной?» – спрашивала я Мария. Он нежно обнимал мое стареющее тело и шептал, улыбаясь, одно и то же: «Ты пахнешь морем».

Он научил меня чувствовать себя в воде лучше, чем на суше. Но каждый раз, доплывая до бездны, я поворачивала обратно и твердила: «Потом, потом». Уже не страшно было за оставшегося на берегу Мишу, он давно вырос. Муж был вполне благополучен и здоров. Теперь я хваталась за остаток своей жизни. Страшно было менять его на неизвестность.

А Марий качал головой и снова крепко обнимал меня. Он никогда не торопил, не упрашивал, не настаивал. Господи, почему он этого не делал? Возможно, я решилась бы. Он же всегда просто был рядом и всегда готов был вести меня туда. Как он мог! Наверняка он знал о конечности жизни, о неотвратимом.

Сейчас, здесь, в свой последний приезд на этот берег, мне это казалось жестокостью. Я готова была проклинать Мария, бить бессильно кулаками по груди. Но у меня не было права этого делать. Ведь решение всегда было за мной. Все было правильно.

В последний год я сильно болела. Надеялась выбраться, продолжить. Не удалось. В моем распоряжении оставался крохотный и потому самый драгоценный кусочек жизни. Поэтому я была здесь.

Сентябрь в этом году выдался промозглый. Волны бились о берег, норовили добраться до меня. Я сидела на камне, ждала. Накатывала слабость, и я больше всего боялась исчезнуть сейчас, не дождавшись.

Он появился, положил руки мне на плечи, заглянул в глаза глубоко-глубоко и сразу повел меня в море. Мы никогда не купалась в шторм. Марий взял меня на руки и перенес через гряды береговых волн на глубину.

Солнца не было, и под водой скоро стало совсем темно. Мы плыли во мраке, взявшись за руки, сквозь хаос и мой ужас и видели впереди свет. Точно настоящее солнце было не в небе, а там, в глубине.

Мы спешили к нему, рассекали холодную волны и медленно приближались. Бездна раскрылась. Я все увидела. Там был мой дом. В следующее мгновение мое время закончилось.

Иван АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Родился в 1977 году в Москве. Окончил Московский государственный агроинженерный университет им. Горячкина, специальность «инженер-механик». Кандидат технических наук. Работает в компании по производству печатной и наружной рекламы. Живет в Москве.

РВАННОЙ ПЕНОЙ ВЗДЫБИЛОСЬ ПРОРОЧЕСТВО...

* * *

В молчании и в разговоре,
В дыхании, сути всего –
Повсюду мне видится море,
И слышится голос его.

И светом омыта, и звуком
Моих полушарий кора;
– Се – волны, – сказала наука,
Раскачивая корабль.

В безбрежности толп миллионных,
В волнении флагов и штор
О редкие шлюпки влюблённых
Стучит одиночества шторм.

Но мама качает коляску,
Дитя утешая во сне.
И, боль принимая за ласку,
Колышется сердце во мне.

То чёрной стеной ледяною,
То, вдруг, и светла, и нежна,
Приходит волна за волною,
Не зная повтора и сна.

Как будто решили измором
Нас взять, одного за одним.
Мы изгнаны были из моря,
Но связь не утрачена с ним.

От родины не отрекаясь,
В пустынях, горах и лесах
Скитаюсь, ругаясь и каясь,
Качаясь, как на весах.

* * *

Века спустя как часть пейзажа
Руины города стоят:
Цивилизации пропажа,
Культурных мумий длинный ряд.

Но их костей и сухожилий
Меня не трогает парад.
Здесь раньше люди, люди жили,
Я с ними встрече был бы рад,

Ведь собирало время камни
По низким берегам речным
Их загорелыми руками,
Надёжным способом ручным.

И эти тёсаные склепы,
Сосудов глиняных бока
Не ветром высечены слепо,
Слепила не сама река.

Но жизнь ушла, другой в угоду,
И словно шепчет мне из тьмы:
«Вернётся всё домой, в природу,
Что из природы взяли мы».

Пусть. Гончары и камнетёсы
Не уличат меня во лжи:
Сложнейшим изо всех ремёсел
Была и остаётся жизнь.

А той истории начало
Укрылось в дымке за кормой –
Под бирюзовым покрывалом,
За белоснежной каймой.

* * *

Облако памятью острова
Над горизонтом взошло –
Светлые локоны прошлого,
Облако ласковых слов.

С этого мига прощального
Годы и годы в пути –
Гордая горечь молчания
И тишина впереди.

Неба безоблачный колокол.
Моря блестящая даль.
Облако, милое облако,
Милая, голос подай!

Счастье нырнуло играючи,
Мой показался удел –
Тучей громовой пугающей
Берег скалистый чернел.

* * *

Если в сумрачной жизни твой путь одиноко,
То однажды представишь хотя бы,
Как на пляжа ночного холодный песок
Вышли самые крупные крабы.

С полным ртом золотого песка говоря,
Миражом растворялись в нём или
Застывали на месте в луче фонаря
И в глубокие норы манили.

Этот жёсткий, разжёванный всеми, песок
С каждым словом всё тише и мельче.
И язык одиночества к небу присох,
Но и время его не излечит.

* * *

Одетая в чёрное платье,
Ушитое блёстками звёзд,
Луна, на живущих не глядя,
Взошла на невидимый мост.

Её поторапливал юркий
На башне смотритель хромой,
И пенились нижние юбки
От каждого шага волной.

Я верил – она обернётся,
Замедленно, будто во сне,
И свет от зашедшего солнца
Посветит немного и мне.

Гляди, как уходит, мерцая,
В серебряных звёздах спина.
От края моста и до края,
За море уходит луна.

Уходит, и темень воронью
Накинув, как вдовый платок,
Не смотрит. И черт я не помню.
Я помню лишь свет золотой.

* * *

Океан грозил и уговаривал,
Закипал солёным кипятком,
Теплоходы в чреве переваривал,
Лодки растворял под языком.

Осыпал смолу аквамаринами,
Гнул улыбку в бешеный оскал;
Словно пёс укусы комариные
Через боль до мяса расчесал.

Рваной пеной вздыбилось пророчество,
Ледяной сапфир врезая в грудь.
Голубое око одиночества
Нас в слезе пытается сплакнуть.

* * *

Позабудьте наши имена.
Сохраните наши документы –
В них для вас описаны сполна
Этой экспедиции моменты.

Если мы погибнем, мы хотим,
Чтобы люди примирились с этим.
Потому, что риск необходим
На пути к любой мечте на свете.

Мы хотим, чтобы следом поднялись,
От ошибок наших оттолкнувшись,
Смельчаки в неведомую высь,
Словно рыбы первые на сушу.

* * *

На поиск лодки непришедшей
Послали люди вертолёт.
И день, казалось бы, прошедший,
Никак к финалу не придёт.

Никак не кончится качанье
Огня над пропастью во мгле,
Как жест извечного прощанья
Людей с надеждой на земле.

Не торопись, Морской Владыка,
Не призывай к себе глупцов –
Кому милей даров великих
Земли усталое лицо.

София МАКСИМЫЧЕВА

Родилась в 1964 году в Ярославле. Работала в госучреждениях, бухгалтером, звукооператором на радио, вела свой бизнес. Подборки стихотворений публиковались в альманахах «Ликбез», «45-я параллель». Живет в Ярославле.

И НАЧИНАЕТСЯ ОТСЧЁТ ЭПОХ ДРУГИХ...

* * *

что слова – сиротство. пустуют гнёзда.
беспощадна осень, но злей зима.
из стеклянных нитей холодный воздух,
выйдешь в ночь на ощупь, худа сума.
словно странник набожный посох держишь
и бредёшь к трамваю поверху вод.
поначалу зол, грубоват, осержен,
а потом осадисься:
– что ты? вот
лёт луна на землю сироп лимонный,
и блестит седеющая трава.
а по полю звёздному – анемоны,
смотришь в глубь небес, взгляд не оторвать!
и на миг почудится:
вот он, рядом,
шелестит тяжёлым своим крылом.
в душе твоей – и покой, и радость
оттого, что за руку ты ведом.

* * *

за ощущением зимы
является иное чувство.
мы здесь зимой не прощены
за то, что в признаках искусства

не нами осязаем след
всего холодного, и льдистый
над головами неба свет...
дрожащий ветер гладит пристань

замёрзшую. река хрипит
простывшим горлом, стынет прорубь
без рук рыбацких. аппетит
над ней нагуливает голубь.

а тишина такая, что
озноб душевный возникает.
но, слава богу, в час шестой
выть начинает пёсья стая.

* * *

вот кукольные домики стоят
как будто декорации из фильма
мне кажется их ровно пятьдесят
покрытых придорожной серой пылью
в черешневых подтеках край стены
к которой прислоняются статисты
слегка расслаблены обречены
сгореть под солнцем ярким и когтистым
игрушечные боги синева
полощет горло сплевывая в воду
в сухом остатке глупые слова
о вере о бессилии не отдан
обол последний тихая река
пытается за берег зацепиться
у лодочника лёгкая рука
и блёклые от старости ресницы

* * *

ты – просто текст. набор лексем.
страница из молитвослова.
регистр звука. низкий тембр,
который осенью взволнован
нахальной лисьей красотой
и видом рыжего фасада.
изящной ножкой городской,
небрежно брошенным
– так надо.
губами терпкими, как сок
перебродившей винной вишни...
курсив,
что лёг наискосок.
на белый лист
– прости, так вышло.

* * *

натюрморт в стиле ретро. простыло
голубое осеннее утро.
дышит ветер деревьям в затылок,
треплет рыжие пышные кудри.

по периметру рамы – квартира,
за тяжёлыми шторами – город.
край небес по-хозяйски застиран,
коридоры меж стен, коридоры,
не дающие выйти наружу,
не дающие ветру ворваться.
тихий быт лет как сто отутюжен.
глянцевитый поток иллюстраций
за окном шелестит беспокойно.
там опять без тебя бродит осень,
кистью краски наносит послойно.
не пытаясь – отринуть, отбросить,
что годами,
как тяжесть
копилось...

топит в воздухе парочку вёсел
время-лодочник с яростной силой.

* * *

застанешь краешек небес,
ещё не омрачённых снегом.
вот ковыляет ветер без
подручных немощных, а следом

за ним торопится декабрь –
последний ставленник. сороки
трещат упорно. старый граб
стоит сутулясь у дороги.

ты говоришь
– о чем писать?
наверное, о дне холодном,
в котором голосиста рать
воронья рядом с колокольней.

штaketник серый валит бок,
как будто милостыню просит
у человека. на замок
закрыт предел церковный. восемь

минут проходит, прежде чем
я выхожу на свет из арки.
где обретает время темп,
являя мир живой и яркий.

* * *

стоять и слушать поезда,
их расписание живое,
колёсный стук туда-сюда.
стоять и чувствовать.

другое
здесь время.
соразмерный звук
душе,
стремящейся повсюду,
увидеть сферы полукруг.
и ощутить,
как мал и узок
периметр жёсткий,
где вокзал
перекликается с перроном.

– о бытии ты всё сказал,
теперь – о боге эталонном.

и шум, и гул, и тишина,
всё существующее – вечно.
холодных стоек белизна
на фоне речи человечьей.
спешащих
окрыленный взгляд,
их вера в ручку чемодана.
всего дотронуться –
гудят
густые воды иордана.
и начинается отсчёт
эпох других,
где дым белёсый
от неизбежного спасёт...

туда-сюда
стучат колёса.

Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Периковый сад» в 2012 году удостоен Диплома 3-й степени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

* * *

...И запахнет сушеной малиной,
И простор распахнут небеса.
У соседской девчонки Марины
Голубые, как речка, глаза!

Я плыву, я тону в этой речке,
Мне, конечно, спасения нет.
Мы с Маринкой сидим на крылечке,
На двоих нам – всего двадцать лет.

Все на свете легко и прекрасно,
И еще мы не знаем пока,
Как она глубока и опасна,
Эта тихая с виду река.

Светят звезды в молчании строгом –
Наудачу скорей выбирай!
Мы пока что беседуем с Богом
И вокруг – непотерянный рай.

Семнадцатый май

На улице запах жасмина.
А я на свиданье иду.
Цветет и сирень, и рябина.
И сердце мое – все в цвету!

Свищу я мотивчик беспечный.
Счастливая светит звезда.
И кажется жизнь бесконечной
И светлой, как в Волге вода.

Спешу, пока ночь не погасит
Окошки в притихшем селе,
К той самой красивой – и в классе,
И даже на целой земле!

Упасть бы пред ней на колени!
Да только решимости нет.
Зато уж соседской сирени
Я ей наломаю букет!

* * *

Помню лодку на приколе
И деревню у реки.
За деревней было поле,
А на поле – васильки.

И ловил я с той лодчонки
Легкой удочкой синца.
А еще жила девчонка
В третьем доме от конца.

Целовались на крылечке,
Неумело, как могли.
А потом купались в речке
Возле ивы на мели.

Дни июньские летели,
Ночи были коротки.
И глаза ее синели,
Как на поле васильки.

Пахли губы теплым хлебом,
Были слаще леденца...
На детей смотрело небо
Взглядом доброго отца.

Вишня

А сегодня ты опять не вышла
На скамейку нашу у крыльца,
Где стоит белее снега вишня,
Будто бы сейчас из-под венца!

Светлый ангел! Царственная вишня!
Белая посланница небес!
Жалко только то, что ты не вышла
Поглядеть на чудо из чудес.

В нашей жизни каждый третий – лишний.
Через годы прошлое ясней.
Там стоишь ты белой-белой вишней,
Вечною невестою моей.

Экспромт

Брось, душа моя Любашка,
Слезы лить по пустякам.
Эка невидаль, что чашка
Раскололась пополам!

И сказала мне Любашка,
Хмуря крашеную бровь:
– Можно склеить эту чашку,
Да не склеится любовь!

Осеннее

Последние дни уходящего лета,
Последние теплые дни,
Омытые дождиком, солнцем согреты,
Недолго продлятся они.

Сентябрь поразвесит в ветвях паутинки,
Ветра хоровод заведут,
И мертвой листвою засыплют тропинки
Деревья в больничном саду.

Я буду смотреть, ни о чем не жалея,
На гаснущий медленный свет,
На легкий в конце опустевшей аллеи
До боли родной силуэт.

И сердце сожмется, и станет так ясно,
Лишь к небу глаза подними,
Что жизнь на земле коротка, но прекрасна,
Как эти последние дни.

* * *

Уходить давно пора,
Да тепла постель.
И гуляет до утра
За окном метель.
Замела поля, сады,
Выбелила тьму...
Замела мои следы
К дому твоему.

Из будущих книг

Елена АРСЕНЬЕВА

Родилась в 1952 году в Хабаровске. Окончила Хабаровский пединститут и заочно сценарный факультет ВГИКа. Работала на телевидении, в журнале «Дальний Восток», в издательстве. В конце 1980-х переехала из Хабаровска в Нижний Новгород. Автор около 50 романов.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде

ТАЙНА ВОСКРЕСШЕЙ ЦАРЕВНЫ

Отрывок из романа

Судьба детей последнего русского императора всегда будет порождать множество догадок и домыслов хотя бы потому, что слишком велика у нас вера в чудо, в надежду на спасение невинно пострадавших девушек и их младшего брата. Именно поэтому так много появлялось людей, с большим или меньшим успехом выдававших себя то за одного, то за другого. Исследователи и историки до сих пор спорят – и никогда, похоже, не придут к единому мнению! – была ли хотя бы крупинка правды в словах этих самозванцев и самозванок.

Кому-то кажется странным, что самой популярной оказалась среди самозванок личность великой княжны Анастасии Николаевны. На самом деле для этого есть как минимум две причины: явная подтасовка фактов во время поисков останков семьи императора и факт бегства Анастасии... то ли из Екатеринбурга, то ли, по другим документам, из Перми.

Среди множества женщин, выдававших себя за великую княжну Анастасию Николаевну, особенное внимание привлекают три. Это Наталья Билиходзе, Анна Андерсон и Надежда Иванова-Васильева*. Роман «Тайна воскресшей царевны» посвящен женщине, известной под именем Анны Андерсон. В нем исследуется новая версия личности и судьбы самозванки.

Е. А.

Пермь, 1918 год

...Сизо-серебристое море, аромат роз, темные, таинственные кипарисы вдаль – это райский сад? Нет, это Ливадия. Ах, как плавно колыхаются волны, нежат шлюпку, подбрасывают, словно играя. По волнам

* Романы об этих трех самозванках публикуются в издательстве «Эксмо».

прыгают солнечные зайчики, но не тонут. Аня смотрит, смотрит на них – и вдруг восторженное любование сменяется головокружением, и запах роз кажется приторным, ее мутит все сильнее, а таинственная темнота кипарисов навеивает страшные мысли о кладбище... Она жмурится, слезы подкатывают к глазам.

– Я не хочу больше кататься, – слабо шепчет она. – Я домой хочу...

– Да тебя просто укачало, бедная девочка, – участливо говорит тетя Надя. – Но надо терпеть, потому что Анастасию никогда не укачивает. И других девочек тоже не укачивает. Они любят кататься по морю. Вы будете учиться грести.

«Я ненавижу море! – думает Аня с тоской. – Я не выдержу...»

Она представляет себя болтающейся в одинокой шлюпке посреди серебристого моря, с тяжелыми веслами в ослабевших руках, – и тошнота подступает к горлу.

Аня наклоняется через борт лодки. Волны плещут совсем рядом, она жмурится, чтобы соленые брызги не попали в глаза, и вдруг видит, как из глубины поднимаются чьи-то бледные лица.

Русалки?! Как в сказке Андерсена? Какие они красивые! Но странно: почему-то кажется, что Аня уже видела их раньше. Одна из них очень похожа на тетю Надю. Нет, две похожи на нее! А две другие – ну просто копия сестры Ирины... еще дальше плывут две Евдокии, две Ларисы. Сейчас они вынырнут, всплеснут хвостами, и Аня спросит их, почему они так похожи на людей и почему они похожи, как двойники.

Двойники... дублеры...

Волна медленно поворачивает русалок, и Аня видит, что у них нет рыбьих хвостов. У них ноги, как у самых обычных людей.

Да ведь это люди, а никакие не русалки! Вот Аня видит дядю Федю, и Сереженьку – и их двойников видит.

Значит, это водяные? Почему, почему они так похожи на людей?!

Волнение на море усиливается, и русалок вместе с водяными уносит вдаль. Ане становится страшно.

Как же так? Они сейчас уплывут, а она останется одна в этой страшной шлюпке?!

– Тетя Надя! – кричит она испуганно. – Дядя Федя! Ирочка, Сережа! Подождите меня!

– А ну, тихо! – взрезал слух чей-то грубый голос. Неласковые руки схватили Аню за плечи, сильно трягнули: – Просыпайтесь! Вам пора просыпаться!

Она открыла глаза, увидела небритое мужское лицо, – и мгновенно вспомнила все, что было вчера, что было ночью, что было потом...

С жалобным стоном поджала колени, натянула на них юбку – неужели кошмар повторится?

– Не надо... не надо... я больше не могу... – слетел с губ жалобный стон.

– Что такое?! – пробормотал удивленно мужчина. – Чего задергались?

– А, понятно, – раздался женский голос, в котором звучала насмешка. – Не по нраву ей наши солдатики пришлись. Не по нраву, да?

Аня оглянулась, страхась увидеть себя снова в том вагоне, где ее минувшей ночью распинали на полу и мучили, но нет – она лежала на кушетке в какой-то комнате, похожей на человеческое жилье.

Да, она оказалась здесь вчера... или позавчера? День и ночь перепутались в голове, счет времени сбился. Сюда приходил доктор, такой добрый, он смотрел на нее чуть ли не со слезами, и она ему снова сказала:

«Я дочь государя Анастасия».

Доктор так побледнел, что Аня поняла: он поверил сразу. Безоговорочно поверил! А те, другие...

Поверили? Нет? И что теперь сделают с ней?

Голова кружилась так же, как в шлюпке, ее тошнило, мысли то медленно плавали, то метались, и ей было холодно, холодно!

– Я замерзла, – пробормотала она. – Мне плохо. Дайте воды.

Женщина с резкими чертами лица и белокурыми волосами, видневшимися из-под красной косынки, подала ей воды в железной кружке, но Аня сделала только глоток – не было сил пить.

Откинулась на кушетку, закрыла глаза.

– Кажется, ее придется туда нести, – недовольно сказала женщина. – А это не близко. Может быть, автомобиль вызвать?

– А может быть, золотую карету? – ухмыльнулся мужчина. – Ничего, до дома Березина дойдет, это же два шага, на углу Покровской. А оттуда их всех вместе увезут. Давно пора! Развели чертов либерализм, понимаешь! Непротивление злу насилием развели! Надо было их всех еще в Екатеринбурге... Но теперь все, наконец-то, кончится.

– Тогда зачем ее туда тащить? – холодно спросила женщина. – Здесь тоже есть подвалы. Не в первый же раз.

– Требуют, чтобы их всех вместе увезли в монастырь на Биармской, – проговорил мужчина.

– И подвели под монастырь, – хихикнула женщина.

Их слова реяли над Аней, словно злобно жужжащие мухи. Эти мухи жужжали о ней, мухи жужжали о том, что ее скоро убьют. Подвал дома Березина... Она мечтала туда попасть, ей нужно было туда попасть... Она не помнила, зачем. Ну теперь она туда попадет. И там ее убьют. Нет, ее увезут в какой-то монастырь...

Какая путаница в голове!

Как холодно! Синяя ледяная вода вокруг, русалки хватают ее под руки и куда-то волокут. Хорошо, что не вниз, не на дно!

Нет, это не русалки. Ее волокут двое мужчин по каким-то ступенькам. Уже в подвал?! Уже убивать?!

Нет, они вышли на крыльцо, спустились с него, повернули за угол и пошли по ухабистой немощеной улице.

– Э, куда плететесь, земляки? – вдруг прозвучал рядом веселый мужской голос.

– Это ты, Гайковский? – окликнул солдат, шедший справа от Ани, и обернулся.

Гайковский?!

Аня вздрогнула, попыталась повернуть голову, увидеть его, но вокруг было темно. Ее волокли по темной, неосвещенной улице, только вдаль раскачивался фонарь над крыльцом чеки.

Гайковский...

И вспыхивает воспоминание: вот она что было сил бежит по березовой роще, стараясь держаться в стороне от деревни, которая называлась Нижняя Курья. Человек, который провожал ее от Полуденки до этого места, остался в лесу. Все, что о нем знала Аня, это что его следовало называть господином Ивановым. Он привез для нее короткое коричневое пальтишко, серый платок, зеленую юбку, белую полотняную блузку и короткие мягкие сапожки, сказав, что та девушка одета точно так же. Велел расплести ее короткие толстые косы.

Когда они шли по лесу, господин Иванов молчал. Все, что нужно было рассказать о положении первой семьи в Перми, уже было сказано вчера, и он знал, что Аня это запомнила. Также она накрепко запомнила, что ей надо было добраться до разъезда 37 Пермской железной дороги, где ее ждал солдат-красноармеец по фамилии Гайковский, которого она знала по описанию: высокий, черноглазый брюнет. Он поможет ей добраться до Перми, где она должна попасться в руки солдат. В лесу же следовало держаться от них подальше.

Наконец они дошли до места обмена, и господин Иванов крепко пожал ей руку, заглянул в глаза:

– Аня, помните, от вас зависит очень многое, бесконечно многое!

Волна гордости захлестнула ее, и она вспомнила, как волновалась, как переживала, боясь, что первой пошлют или Ларису, или Дунечку. Ирину послали бы вряд ли: она была уж слишком красивой, дядя Федя и тетя Надя боялись, что к ней могут пристать солдаты.

При этих словах обида на мгновение пронзила Аню: «А я что, уродина?» И дядя Федя, словно услышал эти мысли, шепнул: «Ты самая умная, Аня. Ты сообразишь, как вывернуться из какой угодно ловушки!»

Да, она пошла на обмен раньше других. Прежде всех! И потом, когда все кончится, когда первую семью спасут, а потом спасут и Филатовых, когда красных погонят из России поганой метлой, когда первая семья вернет себе место, которое принадлежит ей по праву, рядом с ними всегда будет она, Аня Филатова... то есть не Филатова, конечно, но свою настоящую фамилию она уже не помнила. Может быть, имя у нее тоже было другое, может быть, ее звали вовсе не Аней...

Эта мысль вдруг неприятно поразила ее, но тут же она прогнала ненужные размышления и ускорила шаги.

Как бы не опоздать на встречу, от которой зависит так много!

В это мгновение Ане показалось, что мимо кто-то пробежал, таясь за кустами так же, как таилась она.

Девушка повернула голову и успела разглядеть мелькнувшее среди желтой листвы серое пятно.

У нее глухо стукнуло сердце: это пятно было похоже на платок, такой же платок, какой носила она, а значит, мимо пробежала сама...

Аня гордо вздернула подбородок.

Нет! Теперь сама была она, а та, мелькнувшая за кустами, стала просто-напросто жалкой беглянкой, жизнь которой зависела от Ани Филатовой.

Она гордо улыбнулась. Наконец-то начиналось то, к чему ее готовили всю жизнь! Теперь она сможет показать, на что способна! Настал ее час!

Мужская фигура показалась за кустами, и девушка метнулась туда, уверенная, что это Гайковский, однако встречный походил на него только высоким ростом и солдатской шинелью. Он был белобрысый, курносый, голубоглазый.

– Эх ты! – удивился солдат, заметив девушку. – Чья такая кралечка?

Аня бросила на него холодный взгляд и резко свернула в сторону.

И все-таки сердце ее забило тревожно. Если та, другая, пробежала ей навстречу, значит, начало тщательно продуманной операции прошло успешно. Но где же Гайковский? Что ему помешало встретить ее?

– Да стой же ты! – крикнул в это время солдат. – Куда валишь? Тоже по грибы пошла? Нашла чего? Нет? Ну так я покажу тебе грибок, хошь?

И он подмигнул, расстегивая свою грязную, поношенную шинельку. Аня попятилась, прикидывая, куда бежать, как вдруг услышала треск кустов. Кто-то еще шел сюда!

Наверное, это Гайковский, и он избавит ее от этой неожиданной помехи.

– Чего блажишь, Вань? – послышался другой голос, и еще один солдат, поменьше ростом, рыжеволосый и бледный, вылез из кустов. Через плечо у него, как и у первого, висела винтовка. – Нашел чего?

– А нашел! – сообщил солдат по имени Иван. – Девка вон по грибы пошла, да с пустыми руками ворочается. Хотел ей свой грибок показать, а она совсем глупая, не понимает ничего.

И он захохотал бессмысленно и глупо, пьяно качаясь из стороны в сторону.

Аня догадалась: солдат пьян, да и рыжий тоже, судя по тому, как он покачивался на ходу. Решив, что сможет от них убежать, Аня резко рванулась в сторону, проломилась через кусты и сразу оказалась на дороге. Впереди виднелась сторожка железнодорожного охранника или стрелочника, и девушка устремилась туда, однако позади вдруг громыхнул выстрел – пуля свистнула над головой.

Аня споткнулась, но продолжала бежать, хотя сзади один за другим звучали выстрелы. Запнулась, упала, вскочила, но тут на нее налетел один из ее преследователей, сорвал с нее платок и пальтишко, повалил на спину, полез под юбку, налетели еще солдаты, и Аня, которая поняла, наконец, что ее ожидает, закричала, почти лишившись рассудка от ужаса:

– Оставьте! Прочь! Я царская дочь! Я великая княжна Анастасия Николаевна!

Солдаты захохотали.

– Мели, Емеля, твоя неделя, – пробормотал лупоглазый солдат, рывая на ней блузку, но тут кто-то набежал со стороны, крича:

– Оставьте, дураки! К стенке захотели? Что, коль это правда?

Девушка, почти лишившаяся сознания от страха, повела на него заплывшими от слез глазами – и перехватила испуганно-сочувственный взгляд. Солдат был высокий, темноволосый и черноглазый, и она поняла, что это Гайковский.

Вот сейчас он поднимет ее и уведет туда, куда должен увести, и всё, что было задумано, произойдет...

И в это самое мгновение она поняла, что своим криком, своей истерической попыткой спастись все погубила.

Теперь ей не добратся незаметно до Перми, чтобы быть там схваченной и попасть в подвал бывшего доходного дома Березина на улице Обвинской. А это значит, что под угрозой не только ее жизнь, но и жизнь узниц, заточенных в этом подвале. Это значит, что вся операция «Вторая семья», которая разрабатывалась много лет и успешно осуществлялась втайне от всех, сейчас находится на грани провала.

Девушка в отчаянии уставилась на Гайковского, и тот ответил ей растерянным взглядом. Он тоже не знал, что теперь делать!

Однако его вмешательство если не отрезвило солдат, то, неведомо, надолго или нет, отбило у них охоту к насилию. Они привели в порядок свою одежду, подняли девушку с земли и под конвоем повели ее в сторожку. Озабоченный, хмурый Гайковский шел с ними, и по лицу его девушка видела, что он совершенно не представляет, как теперь быть.

Она тоже не представляла, но, избавившись от первого страха, начала лихорадочно обдумывать сложившуюся ситуацию и искать выход из того положения, в которое попала.

Ах, если бы у нее хватило сил подождать, потерпеть, помолчать еще несколько минут! Тогда, возможно, Гайковский спас бы ее!

Внешне понурая и испуганная, однако собранная и напряженная в душе, девушка послушно вошла в сторожку и притулилась на лавке в уголке, исподтишка оглядываясь.

Это оказалась избушка телеграфиста. Аппарат стоял на столе, а молодой связист поглядывал на Аню сочувственно.

– А пусть он выйдет пока, чего мешается, – вдруг сказал один из красноармейцев, махнув в сторону хозяина. – Спроворим, чего начали. Раз попалась, значит, наша. И здесь всяко потеплей, чем в лесу.

Аня не поверила своим ушам. Это кошмар. Это ей снится, с ней такого наяву просто не может произойти! Чтобы к великой княжне Анастасии Николаевне – к царевне! – притыкался какой-то Ванька-дурак?!

– Умолкни, Ванька, сила нечистая, – встревожено сказал ему Гайковский. – Чего несешь?! Что она тебе, телка деревенская?! Ну как она правду говорит?

– Ну так и что, коли правда? – хмыкнул Ванька. – К тому же, как это может быть правдой, коли во всех газетах написано, что царскую семью порешили в Екатеринбурге?

– А мне другие обсказали, что порешили только самого Николашку, а девок и жену его допрежь вывезли в Пермь и секретно содержат в Перми каком-то подвале, – настойчиво проговорил Гайковский.

– Да чего попусту трекаться, мы лучше вот кого спросим, – оживился Ванька, ткнув пальцем в связиста. – Он тут при телеграфе сидит – небось, всё знает. Давай, Грачев, говори: пристрелили царских дочек и женку его али в самом деле в Пермь притаранили?

Связист ответил уклончиво:

– Мне за разглашение государственных тайн кому ни попадя знаешь, что может быть? Так что лучше меня не спрашивайте, а отведите девчонку по начальству, ему, небось, виднее.

– И то! – засуетился Гайковский, накидывая на плечи дрожавшей девушку свою шинель и отдавая ей свой башлык. – Давайте-ка ее лучше на станцию отведем, пускай ее снова в подвал посадят. Кто их знает, начальников, может, они хотят девок да царицу отправить к их родне, а не то обменять на какую ни есть для нас выгоду?

Аня перевела дух с неким подобием облегчения. Она поняла, что Гайковский по-прежнему старается ей помочь. И если у него нет возможности вернуть ее в подвал в Перми, он поможет ей вернуться отсюда. И она все-таки там окажется, она поговорит с узниками, объяснит им все, расскажет, что делать дальше...

– Ладно, пошли, – согласился, наконец, Ванька. – Пускай начальники решают.

Гайковский успокоено кивнул и направился к двери, однако Аня успела заметить, как солдаты хитро переглядываются, едва сдерживая смех.

Девушку начал бить озноб. Она дрожащими руками стиснула у горла ворот шинели.

Ее повели мимо железнодорожных путей к мосту, однако не перевели через него, а заставили идти по путям к стоящим чуть на отшибе вагонам.

– Эй, вы куда?! – крикнул сзади Гайковский, но рыжеволосый солдат наставил на него винтовку и угрожающе щелкнул взводимым курком.

– Мишка, ты чего! – возмутился Гайковский. – В кого целишься?

– И не только целю, Сань, но и пальну, – спокойно сообщил тот. – Отвяжись и иди отсюда, а не то...

– Сдурел?! – вскричал Гайковский. – Чего делать собрались?!

Вместо ответа Мишка выстрелил ему под ноги.

– Она не пойдет с вами! – отчаянно крикнул Гайковский.

Кто-то из солдат ответил угрожающе:

– Ты, Санька, нам лучше не перечь сейчас. Ну, малость блуд почешем да отпустим твою царевну. А то, хочешь, с нами пошли. Чем плохо? А будешь мешаться, или правда пулю словишь, или комиссару на тебя донесем, мы-де поймали эту девку, а ты ей хотел помочь сбежать. Сам знаешь, что тогда будет: не только тебя, но и твою семейку на су-чья вздернут.

– Да пожалейте вы ее, – почти взмолился Гайковский. – Вас же там целая рота... Я знаю, вам с утра спирт давали, но не весь же ум вы пропили!

– Пошел! – крикнул Мишка, передергивая затвор. – Или с нами идешь, или пеняй на себя.

Гайковский больше не проронил ни слова.

Вот отодвинулась дверь вагона, и оттуда раздался дружный восторженный крик. Множество солдат смотрели на Аню, и ей показалось, что их там десятки, сотни, тысячи! Она отпрянула, но ее подхватили, зашвырнули в вагон, дверь задвинулась снова, и начался кошмар, который длился всю ночь...

И вот теперь ее волокут – куда? Убивать? И снова рядом Гайковский... В прошлый раз Аня понадеялась на него, но напрасно. Сумеет ли он помочь на сей раз? А главное, захочет ли?

Или надежды нет больше никакой?..

Пермь, 1918 год

Александр Гайковский не раз проклял себя за то, что впутался в эту историю. Но ему предложили такие деньги... разумеется, это были не бумажки, которые в те обезумевшие времена по всей России ходили разные: где керенки, где еще царские, где иностранные деньги. Все дензнаки, кроме долларов или фунтов, обесценивались чуть ли не каждый день, и не зря люди говорили, что они скоро будут годны только на то, чтобы ими оклеивать стены – на манер обоев. Гайковский получил золото – еще царское, то, которое ценилось сейчас даже дороже американских или английских денег. Дали ему также мешочек с украшениями, в числе которых было жемчужное ожерелье такой красоты, что Гайковский не мог себе представить женщину, на шею которой можно было бы это ожерелье надеть. Ну вот разве что царевной-королевой она должна быть... как та, которую он вывел из подвала в Перми и с которой простился возле Нижней Курьи, чтобы встретить и увести снова в подвал другую.

Но все пошло наперекосяк... Они разминулись на минуту, а в это время черт принес Мишку Кузнецова и Ваньку Петухова. Они и перехватили девушку.

Когда Гайковский увидел ее, то сначала подумал, что это та самая, которую он вывел из Перми. Решил, что ту схватили, что всё дело загублено! Лицо девушки было залито кровью, да и похожи они как две капли воды – немудрено спутать.

Но тут же он увидел, что на ней коричневые чулки... А на той были белые – ну, грязные, конечно, но все же бывшие некогда белыми. Гайковский мельком это заметил, когда помогал ей выбраться из подвала и у нее юбка немного задралась. Заметил, да тут же и забыл, а теперь вспомнил – и понял, что подмена все же удалась.

Удалась, да не совсем!

Кто знает, может быть, он отбил бы девушку у солдат, соврал, что это его девка... Мишка и Ванька не стали бы у товарища отбивать то, что ему принадлежало! – да она, на беду, возьми и заори: я-де великая княжна Анастасия.

Неважно, поверили они или нет – теперь Гайковский не мог за нее вступить, не рискуя жизнью семьи. Он уговорил мать еще вчера уехать в условленное место, однако она что-то замешкалась со сборами, и Гайковский знал, что тронуться в пути они с Верунькой, его сестрой, и Сергеем, младшим братом, смогут только завтра, не раньше. А если солдаты на него озлятся, они и впрямь могут завалиться в Верхнюю Курью и всех Гайковских к стенке или в петлю определить, а его в чеку сдать.

Надо было что-то придумывать... Но что?!

Когда эту бедняжку уволокли в вагон 21-й роты, Гайковский еле сдержался, чтобы не наброситься на этих тварей.

Ему было жалко и девушку, и деньги. Неужто их придется теперь вернуть? Конечно, можно удариться в бега прямо сейчас, но Гайковский нутром чуял: тот человек с черными непреклонными глазами, который ему заплатил, не пошутил. Он расправится и с ним самим, и с его семьей. Гайковский редко видел людей, которые были бы способны внушать такой ужас, как этот невысокий и худощавый человек с густыми бровями, сошедшимися к переносице. Его густые и длинные ресницы были обычно полуопущены, скрывали бритвенное лезвие взгляда, но уж когда этот человек смотрел Гайковскому в глаза, того охватывал нерассуждающий, слепой ужас.

Если что, этот Иванов не просто убьет – он так измучает свою жертву перед смертью, что молить начнешь, чтобы тебе поскорей перерезали горло!

И все же дело было не только в страхе и в жадности. Гайковский недаром был потомком заносчивых польских шляхтичей и задиристых, как петухи, трансильванских гайдуков. Они без всякого душевного трепета облапошили бы в сделке как богатого, так и нищего, как сильного, так и слабого, но только не в том случае, когда залогом сделки служит слово шляхтича или боярина.

Ну и не без трезвого расчета обстояло дело, конечно. Гайковский уже свыкся с мыслью, что, успешно завершив обещанное, он сможет убраться из России, уехав или в Румынию или в Польшу. Если сумеет избежать подозрений, хорошо. Нет – у него хватит денег, чтобы уйти от погони.

Так какая разница, уходить от нее только вместе с матерью и братом, или еще взяв с собой девушку, которую вдруг да удастся спасти?

Гайковский знал: если ее отведут в дом Березина, оттуда ей и остальным женщинам путь только в могилу – их судьба давно решена. Ну,

других он не спасет, они уже, считай, приговорены, к ним не подходить, а эту...

После того, как он вызвал чекистов на разъезд, сообщив, что солдаты 21-й роты захватили беглую царевну и, вместо того, чтобы вернуть под стражу, употребляют ее в своем вагоне почем зря... и неизвестно, то ли уделают до смерти, то ли потом, натешившись вдоволь, отпустят восвояси, – после того, значит, как Гайковский помог эту девушку захватить снова, он стал у чекистов человеком вполне своим. Никто не возражал, когда он шлялся по кабинетам дома на углу Петропавловской и Обвинской, где разместилась пермская чрезвычайка. И это дало ему в нужный момент возможность услышать то, что для чужих ушей не предназначалось, и мгновенно составить план действий.

Времени у него было всего ничего – только пока двое солдат, которые волокли под руки чуть живую «великую княжну», пройдут квартал от Петропавловской до Покровской и повернут налево, к Соликамской. На счастье, на улице стояла тьма кромешная, только позади болтался керосиновый фонарь над крыльцом чрезвычайки.

Гайковский запросто мог бы снять охранников из винтовки – он был метким стрелком, – однако стрельбу непременно услышали бы чекисты, поэтому он взялся винтовку за ствол и, как только один из охранников обернулся на его голос, ударил его прикладом в лоб с такой силой, что голова солдата треснула с отчетливым и жутким звуком. Второй охранник даже не успел понять, что произошло: Гайковский мгновенно нанес ему такой же сокрушительный удар.

Оба упали; девушка осела между ними, как куль, но Гайковский не стал ее поднимать, прежде чем не обшарил карманы шинелей и за пазухами обоих солдат. Нашел два куска хлеба, фляжку с водой, кисет и револьвер, что его приятно удивило: не солдатское оружие, не иначе, охранник у кого-то его стибрил да утаил. Спрятав все добро в своих карманах, добил обоих солдат, вонзив поочередно каждому штык в сердце.

Резко, кисло запахло кровью; Гайковский нервно сплюнул, но все же подхватил девушку под руку:

– Жива?

Она молчала, часто, судорожно сглатывая; Гайковский попытался заглянуть ей в глаза, но они закатывались, голова запрокидывалась...

Тратить время на то, чтобы привести ее в чувство, было нельзя. Гайковский, стараясь не запачкаться в крови, оттащил тела под забор, чтобы не сразу наткнулись. Потом взвалил девушку на плечи, побежал, как мог быстро, в темноту улиц. Дома стояли вплотную, проходные дворы вокруг чрезвычайки все перегородили, а ему надо было как можно скорей выйти из города и добраться до моста.

Добежал до Пермской, поставил девушку на ноги, прислонив к какому-то забору, всмотрелся в лицо, потом с размаху хлестнул по одной щеке, по другой. Она всхлипнула, но шататься из стороны в сторону перестала.

– Если жить хочешь, беги быстро! – велел Гайковский, хватая ее за руку, и ринулся по Пермской, таща девушку за собой.

Она словно ожила, почуяв свободу, и, как ни удивительно, оказалась легка на ногу и не слишком-то отставала, хотя дыхание ее запылилось быстро: иногда Гайковский слышал задыхающийся хрип за спиной и тогда слегка приостанавливался и даже некоторое время тащил ее за собой.

Скоро, на Биармской, перед ними выросла стена Успенского женского монастыря, и Гайковский приостановился:

– Помолились, если в Бога веруешь, чтобы сил дал.

– Это монастырь? – прохрипела она. – Сюда нас должны увезти, здесь убьют...

– Откуда знаешь? – с ужасом спросил Гайковский.

– Слышала... эта, блондинка из чеки... говорила, – с трудом выдыхала девушка.

– Беда, – пробормотал Гайковский. – Ну что сказать... монашек они разогнали, добро все разграбили, теперь в монастыре расстреливают да там же или закапывают, или за город везут, на Сылву или Чусовую, в болотах топят. Хотя и здесь тоже болотин полно, никуда везти не надо...

У нее громко застучали зубы.

– Их я спасти не смогу, тебя – если Бог даст, так что молись, – повторил Гайковский.

Девушка несколько раз перекрестилась на слабо мерцающие купола, и беглецы поспешили по узкой дорожке, лежащей под монастырской стеной, по-над берегом речки Данилихи.

Перешли железнодорожные пути и двинулись дальше по дорогам среди болот, оставляя слева станцию Заимки и новый железнодорожный вокзал, а справа – Кожевенную улицу.

Вдали громыхнул выстрел, другой... Стреляли там, в центре, где-то в районе Обвинской.

– Зашевелились, – пробормотал Гайковский. – Ну ты вот что... мы опять на разъезд идем на тот же самый, помнишь?

Девушка замерла.

– Не дури! – прикрикнул он. – Иначе Каму не перейти, понимаешь? В другом месте моста нет. Не бойся. Знаю, что ты подумала, да зря. Надо было бы мне тебя спасти, если бы я хотел опять тебя этим сволочам отдать! К тому же, двадцать первую роту перевели в другое место, вагоны пока пустые стоят. Ну не трясись, сама посуди: никому и в голову не взбредет, что ты будешь прятаться там, где тебя поймали! Я тебя отведу к телеграфисту – помнишь его? Максим Грачев...

У девушки подогнулись ноги, она упала бы, но Гайковский успел ее подхватить: встряхнул, глядя в глаза, которые снова обморочно закатывались.

– Мне нужно идти за своими: брат, сестра, мать должны меня ждать в Нижней Курье. А ты останешься пока у Грачева. Не бойся, говорю! Он поможет. Если чекисты смекнули, что это я тебя увел, они сейчас в другую сторону помчались – в Верхнюю Курью. Там моя семья жила. Но я им вчера еще сообщил, чтобы уходили сюда, в Нижнюю. Они давно готовы были, что мы тронемся в Россию. И мешкать не станем!

– В какую Россию? – пролепетала девушка. – А мы сейчас где? В Китае, что ли? – И она хрипло хихикнула.

– Мы на Урале, – снисходительно пояснил Гайковский. – А Россия – это там, где Москва да Питер. У нас так испокон веку говорят. На дрезине, конечно, быстрее было бы добираться, да ведь дрезину так просто не уведешь. Там охрана. Придется пешком. Так что набирайся сил да терпения. Пошли.

Они сделали несколько шагов, потом Гайковский вдруг спросил:

– А как звать-то тебя?

– Аня, – всхлипнула она.

– А меня Александр.

– Я знаю.

– А я думал, что тебя Анастасией зовут. Николаевной, – ухмыльнулся он вдруг.

Аня слабо улыбнулась в ответ, опустила голову.

– А та, другая, значит, спаслась... – пробормотал Гайковский.

– Может быть, – кивнула Аня. – Хорошо бы!

– Ишь ты, – протянул Гайковский. – Радуетесь? Так ты за нее жизнь отдать готова была?

Аня молчала.

– Ничего я в этом не понимаю и, видать, не пойму, – горячо сказал Гайковский. – Но тебя спасу. Жалко мне тебя.

Аня шла молча. Потом прохрипела:

– Нас учили, что мы должны... должны...

– Кому? – не понял Гайковский. – Чего должны?

Она молчала. И больше не проронила ни слова за все то время, пока они шли до моста.

Вениамин ЧЕРНОВ

Родился в 1949 году в селе Рожки Кировской области. Имеет два высших образования, филологическое и медицинское. Офицер в отставке. Автор ряда повестей и романов, работает в жанре исторической прозы. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Живет в Кирове.

Готовит к изданию сборник исторических повестей «Руси быть». Представляем читателю фрагменты одной из повестей этого сборника – «Битва при Калке».

БИТВА ПРИ КАЛКЕ

Фрагменты повести

Выбежала девушка-подросток, – такая же молодая и нежная, как вокруг оживающая весенняя природа, – из летней избы, зажмурилась от яркого теплого солнца. Радостно заулыбалась, блестя зубами. Было раннее утро, но солнце уже успело высоко подняться в темно-синее небо. Свежий ветерок ласкал матово-розовенькую кожу девичьих щек, сладко пахло оттаявшей и нагретой под лучами, землей... Весенний аромат распускающихся почек пьянил. Душа рвалась куда-то ввысь, хотела полета; тело заволакивало негой – сердце «таяло» в груди...

– Ты чо это – зимогором?! – подружка через двор (подошла незаметно) – рыжая конопатая Степана кривила рот в ехидной улыбке. Действительно: Агапка была одета в овечью полушубу прямого покрова с длинными узкими рукавами, застежках на кожаных пуговицах, на груди и по краям рукавов – строчные вышивки. На голове – плат: кус нового холста («новины»). – Жарко! Где браслеты-те?

– Вот одна... – Агапка показала: – Мати боюся...

– Скоро тебе поневу носить, а ты все матери боишься!.. Да не заметила бы она – сама же говорила, что навез-навоевал твой тятя, когда с нашим Володимерским князем ходил пустошить Рязанскую землю... За одну браслетину баба Чуга не приворожит тебе Устина, а мне Мокея!

– А давай к бабе Радуне!

– Она только лечит... Хоть грешно так-то делать, но теперь уж решено... Пошли к бабе Чуге: она, может, и на одну согласится – все-таки, сама знаешь, жадна она...

– Жадна! Все в старой избе живет... – Девушки шагали-бежали по улице Подгорцев на Низ – конец села. Солнце светило им глаза. – Говорят: копит, копит она... Для чего? Для кого? Помогла бы кому: радость, здоровье дал бы ей Бог...

Баба Чуга: высокая, чуть сутуловатая, мужеподобное лицо, над верхней губой большого рта – усики, пыталась улыбаться (глаза пусты: ничего не выражали), выслушала скороговорку Степаны, подержала – взвесила на руке браслет, рассмотрела, заулыбалась по-настоящему, показывая крупные желтые зубы, и – радостно:

– Согласна я, греха не боюсь: это по-вашему грех – крещены, – а я своих богов не омманываю, не предаю... Не отговаривайтесь, сикушки, на вас грех- от... Чо вы мне говорите? Грешны, грешны! По вашей вере уже рождение – грех... Да видала, видала, как в утай на вьюношник бегаєте – сама там была, – прикусила язык, заозиралась, смотрела на девушек, но те как будто не слышали (скорее всего не поняли)... – В наше время все своими именами называли: Ярилиными днями... Ну-ко, чо вы там закрестились, дергалки!..

Девушки крестились в темноту угла. Баба Чуга распалилась:

– Двuruшничаете!.. Одной рукой креститесь – Богу молитесь, а другой колдуете?! Ничего нет святого!.. Ничему и никому не верит народ! Так, на всякий случай, крестятся – машут руками, в душе оставаясь пустыми, безвольными, точнее, своевольными, живущими по-звериному: страстями своими... Чо так вылупились на меня? – говорю вам: я не крещена – мне можно... Хе-хе!.. Все мы таки – я, может, первая... На днях не утерпела, когда в Град ходила, хоть и не крещена (страсть любопытно стало!), зашла в церковь Успенья Богомати и слушала моление с церковным пеньем... Ох, как поют!.. Но вот у многих – ничего не шевелится... крутят свои дурные головы и лыбятся: нет ни уваженья, ни страха перед Богом!.. – Баба Чуга закатила глаза, открылся рот, свесились губы, как у уставшей лошади, – стояла так какое-то время, очнулась: – Красота!.. Только ради этого можно в церковь ходить, окреститься (говорят, что все грехи снимутся) и молиться там... одна не буду: с людьми, с Богом... В конце речь проповедную слушала. Поп церковный говорил... А сам-от какой: большие глазища алчным огнем горят на мордатом сизобородом лице! Одежда на нем как на князе каком в праздничные дни: золотом-серебром шитое – слепит, сверкает при множестве горящих свечей... невысок, толст, чреват – не объять... Среди блеска и света горящего золота и серебра – темные лики: жуть как страшно и хорошо!.. Только говорил он о наших богопротивных поступках и стыдил нас, пугал, будто мы своими поступками и поведением гневим Бога и Бог послал на нас кару: появились неведомые татарове, которые пустошат земли: убивают, полонят, жгут... Опять пугал, что если мы не перестанем грешить, сами крещеные, не окрестим всех своих близких родных, истинно не будем верить в Бога, исполнять Его заповеди на Земле, то и к нам, на наши русские земли они придут... И молитвенно призвал церковослужитель побороть в себе все звериное и бесовское и приложиться душой и телом и добрыми мыслями ко Кресту Бога, и отмолиться от божьей кары молитвой и приношениями в божью церковь: кто чо может... Русские слова он произносил кувьркатисто, но понятно и на старославянский манер, и получалось, как будто с нами говорят на божьем языке...

– Ой, как страшно!.. Чо делать?.. – еще больше заполошились девушки.

– Чо делать?.. Сходить после этого в церкву, можно и даже лучше – во Володимир, благо великий град совсем рядом: пять верст на полдень, – свечку толстую поставит и все рассказать-покаяться Богу, сказать, что не для блуда вы эдак-то делали, а чтобы их, молодых жеребя, своими мужьями сделать... И не грешить больше, девки!..

– Почему же Бог такой: нужно постоянно Его бояться и чуть чо – наказывает?! – как еще наказывает! Бог таким не должен быть, если это истинный Бог!..

– Хватит, сороки, настрекочете!.. Если бы не было такого строгого Бога, то чо было бы!? По лесу нагими бегали бы вместе с лешими, жили звериной жизнью!.. По-церковному Он один (видать так!), и Он нужен вам, как родительская рука с хлыстом и вас – по заднице, по заднице!.. – Баба Чуга от удовольствия прищурила глаза, ощерила, оголив лошадиные зубы. – Но как вам не помогает (толстозады), так и людям: злое думают, говорят и делают друг другу, отбирают у ближнего еду и кров, иногда и – жизнь. Это по-большому, а по-малому: в избе кричат, домового обижают, плюются при огне или даже в огонь; с чужими женками могут и не в разрешенные дни... В непраздничные дни могут и медком и бражкой или даже вином повеселиться – будто бояре или же князья каки!.. А чо вы на меня так смотрите?..

– Прости нас! Мы ведем себя...

– Да ладно!.. Вы перед Богом кайтесь... Я уж говорила: сама така: срамна: все коплю... В нищете и в голоде росла, потому и стремлюсь всю жизнь насытиться... И самое страшное: старости боюсь – одна – ни детей, ни рода!.. Но перед смертью все роздам – особо неимушим, многодетным, работающим, и Бог меня простит – пройду я проверку земной жизнью... Другие и этого не знают, не хотят знать – думают, вечно будут жить. Появилась седина – первая отметина смерти – перестань глупить: на тот свет ничего с собой не возьмешь, кроме души!.. И никого и никогда Бог не простит, если ты всю жизнь жил только для себя, себя улаждал, чванился перед другими... Не перебивайте меня!.. Да чо вы говорите, всезнайки! Сказала же вам, что крещение приму после вас, грешниц, – вы последние будете – чистенькая буду... Богу не нужны никакие посулы – у Него все есть, а нет, то сотворит!.. Ему душа нужна человеческая, чистая, чтобы там душа могла помогать Богу, а грешные души забирает в ад Черт... Вот они и стараются на Земле каждый себе побольше душ набрать, но Черт больше набирает – люди сами в том помогают ему... Я хоть кака, а стараюсь людям... вам помогаю... хочу там вечно жить!.. С Богом!..

– Ты же не крещена!

– Я ж сказала – крещусь! Да при чем тут крещение?! – за добрые дела попадают в рай!.. Чо думаете: если крещеный, дак можно грешить, грешить, а потом раз перед смертью отмолиться или же купить себе отпущение грехов?! Нет, такого не бывает!.. Ладно, девоньки, – вдруг умиленным голоском, и тут же, вытерев рукавом глаза, высморкалась в подол, и – баском:

– Истопите-ко баньку!

– Бабушка...

– Кака я вам, дурочки, бабушка!..

И действительно: на них смотрела нестарая еще женщина – страстными огнеискрящимися желто-зелеными глазищами, большеротая, губастая, – готовая накинуться и вытолкать их. Девушки изумились, испугались, заизображали на своих личиках улыбочки. Завертелись. Степана вновь затараторила:

– Ой, прости нас ба... Чу...

– Кака я вам еще «Чу»?! Ладно, баньку-то – удивим Подгорцы: все работают, а мы – баньку... Пошлите в летник.

Они вышли во двор, вошли в летнюю избу: одновременно изба и клеть. Удивились Агапка со Степкой, когда оказались на втором этаже

клетки-избы: было чисто, светло и тепло. Но вот только – кругом сундуки: железные, деревянные, плетеные; и мешки, мешочки... Баба Чуга изменилась: лицо посветлело-помолодело, подобрело – глаза ее ласкали каждый сундук, каждый мешочек, тряпочку...

– Разденьтесь!..

Высокая стройная Агапка развязала плат – открывшаяся копна тяжелых золотых волос упала на плечи, – закрыла лицо...

– Ты бы, девонька, постыдилась (Агапка и без того робела-стеснялась своей белоснежной наготы): скоко одежды на себя наворочала!.. Повторяйте за мной! Ты, Степка, называй имя Мокея Тугого... Ты – Устина Троедворцева... Мне Устина жаль, а вот Мокея – дурня, лодыря – нисколь. Ох, вьюноши, сбесятся понесут ваши ноженьки туда, куда укажет и потянет ваша чуга; разум помре пред страстью!.. Говорите за мной, поводя руками по своему телу вот эдак... – бабка срамно делала-показывала на себе.

Агапка ойкнула: «Не буду!..»

– Делай давай – все равно браслет обратно не отдам!

– Ты с ума сошла? – полненькая, толстозадая, покрасневшая Степана накинулась на подружку. – Мне мати сказывала, что по-другому мужиков не привяжешь к себе – только «этим» женки и держат в первое время мужей!..

– А потом?.. – Агапка, преодолевая себя, кривляясь телом, руками проделывала такое!.. С виноватой улыбкой ждала ответа.

– Потом – дети, внуки... Привяжется кобелина – не выгонишь... – Степана все это выговорила по слогам, в коротких промежутках прыжков-полетов.

Баба Чуга лыбилась (уйдя мыслями и ощущениями в себя), ощерив рот до красных десен, топоча ногами, мотая головой, распущенные темные волосы – в разные стороны; обеими руками схватив правую длинную, до пупа, грудь, звонко шлепала ею себя голую, взвизгивая по-дурному, кричала:

– Не останавливайтесь: делайте, делайте!.. Потейте, потейте и желайте мужиков... Агапка! Куды?.. Поздно... На место! – баба Чуга схватила девушку и, как тряпичную куклу встряхнув, поставила на место. – Вспомните праздник-вьюношник... Раньше Ярилу из могутных мужиков выбирали, а сейчас греха боятся – трусливы стали мужики и хилваты – приходится чучело делать с большой чугой, и то!.. Вспомните мужскую чугу и желайте!.. Без этого не можно приворотное зелье изготовить... Желайте-потейте, а я буду у вас протирать-смывать приворотный пот и собирать в горшочки...

Все втроем бесились: прыгали, крутятся, отплясывали «танец любви», кривляясь одновременно все вместе, проделывали руками и телом срамные действия. Вскрикивали слова заклинаний:

– ...Садись белый кречет на рабу божью (имя), на белы груди, в рети-во сердце, в кровь кипучую всю тоску-кручину, всю сухоту, всю чахоту, всю вянуту великую во всю силу его могутную, хоть и плоть его в семьдесят семь жил, семьдесят семь суставов, в становой его сустав-чугу, во всю буйную головушку!..

Доведение себя до безумства девушки превратились в страстных демонишек. Но всех их вместе превосходила баба Чуга. При этом она успевала протирать потные молодые тела прыгающих в неистовстве «вакханок», орущих что-то нечленораздельное, страстное, смывала, споласкивала льняную тряпочку в ключевой воде (наговоренную), налитой в горшочек (для каждой свой горшочек).

– Ну, Степана!.. На жеребячий табун хватит, – говорила, дрожа от страсти, баба Чуга. Протирая у нее внизу, между ног: – Рыжие все таки!..

Провожая еще не отошедших, не вернувшихся полностью в реальный мир, озирающихся вокруг полоумными глазницами девушек, говорила простоволосая колдунья:

– Мотрите!.. Делайте, как велела: сразу ставьте квас – в свежем больше силы...

В просторном, огороженном, утоптанном скотом и людьми дворе Тродворцев, как во всех русских семьях, уже с раннего утра кипела работа, озвучиваясь бодрыми сильными голосами людей: женщин, мужчин и веселыми, звонкими – ребенков; мычали коровы в хлевах – просились на волю; блеяли овцы; иногда вскудахтывали куры – снесли яйцо; ржали призывно лошади, запрягаемые подростками... Жили большими семьями – несколько поколений. Глава семьи – Антип. Вот он, прохаживается-распоряжается: рослый, могучая грудь выпирается из вотолы; русые волосы, бороду кое-где побелила седина – самый старый мужчина в семье Тродворцев, 46 лет, он один из мужчин уцелел, участвуя в многочисленных постоянных ратях, – в основном в междоусобных войнах русских князей. А вот женщины живут дольше и часто доживают до глубокой старости: жива еще его бабушка, 79 лет, матери 63 года – она вместе с его женой, братовыми вдовами-снохами весело и бойко ведут женское домашнее хозяйство: в избах, в скотном дворе, в огородах. Старшие женщины давали распоряжения, чтобы молодые вовремя убрали холсты, выложенные для беления; сгребли коноплю, которая зиму пролежала под снегом, а теперь готова и подсохла... и сами работали – не отставали. Антип с мужчинами: с младшим сыном Устином и племянниками, неженатыми еще, делали мужскую работу: во дворе, избах, клетях, амбарах, сараях, хлевах, овинах – готовили сохи, бороны; вытачивали деревянную посуду на лучных токарных станках; рубили, чинили избы, баню, другие постройки; успевали «рыбалить»: сетями, мерешки ставили; бортничали (как без меда!); зимой – охота; весной пахали, сеяли; в середине лета заготавливали сено, в конце – жатва – и все это весело – в радость!.. Сейчас вот едут помогать огнищанам: старшему и среднему сыновьям, племянникам – они со своими семьями отделились в починок, – нужно сжечь нарубленный посек в прошлом году, вспахать сохами и в новой земле, густо удобренной золой, посеять; помочь им нарубить новый посек (рядом, вокруг Подгорцев, пашни уже засеяли, предварительно осенью унавожив, – на открытых полях земля раньше просыпается). Он подумал о своих снохах: иногда огорчали они – не так легки на подъем, любят повалиться в постели, распустили их сыновья – дают им волю, нет положенной строгости к своим женам... и тут же – с умилением о братовых женах-вдовах: «Трудолобивы, чтут старших и память своих погибших мужей!.. Везде успевают: варят, парят, помогают сеять, жать, сено косить, сушить, убирать и попутно коноплю рвут, сушат, мочат, снова сушат, мнут, теревят-чешут, прядут, ткут, шьют... Хлеб молотят – от нас, мужиков, не отстают, веют. Крупу в ступах колют; ручной мельницей зерно мелют... И все – с радостью, с песнями!.. Ребенков-мурашей нарожали, вырастили таких же, как сами: жорких за столом и ненасытных в работе!..»

...Устин запряг лошадь в волокуши: две длинные жерди-оглобли с круто загнутыми вверх концами, которые волочились по земле, они в

двух местах соединялись перекладинами, на них была закреплена большая корзина, сплетенная из ивовых веток. Туда Устин помогал класть продукты: мешки с крупами – ячменем, пшеном; горохом; печеный подовый хлеб: пушной – из плохо провеянной и непросеянной ржаной муки – и ситный.

Подошедший Антип невольно залюбовался своим младшим сыном. Шестнадцатый год, а он уже с него ростом. Еще два-три года, и будет такой же могучий, как и он сам. Лицо у Устина успело покрыться золотистым загаром, на верхней губе отрос золотисто-желтый пушок. Такого же цвета волосы свисали до плеч, обвязанные вокруг головы синей ленточкой. Сын чему-то улыбался: белели зубы, сверкали синим цветом глаза – радовался жизни! «Женить его надо, нынче же, в Покров, тогда некогда будет телей ходить и лыбиться, а то забалует: что у него на уме-то?.. Говорят, с Агапкой ходит, как-то нужно присмотреться к ней – хоть людишки так себе – из худого рода, не уважаемы: воровством нажили богатство, но девка не в родителей – бывает и такое...»

Посмотрел вдаль, на северо-восток, где в трех верстах виднелся черный (смешанный) лес – хвоя на елях и соснах уже ярко зеленела и – о другом: «Начали ли жечь прошлогоднюю подсеку?.. Хорошо бы, если пожгли, можно было бы тогда пахать и сеять... Новый участок нужно срубить там же: на правом берегу Нерли...»

Во дворе неожиданно появилась Агапка – в руках берестяной туесок с крышкой, на смущенном лице – виновато-глупая улыбка. Подошла к удивленному Антипу – поясной поклон, еще сильнее зарделась и, повернувшись к Устину, подала туесок:

– Едешь?.. На тебе... по дороге захочешь пить... Сама делала, хлебный, не твореный...

Антип задрал бороду, выпятил нижние губы – левый глаз прищурен – разглядывал ее: «Долга, тонка – такая слаба в работе (что мордашкой – не в счет!)»

Устин еще больше был удивлен. Он ничего не понимал в действиях Агапки и никак и ничем не мог объяснить ее появление, поэтому, подчиняясь сказанным словам, глядя на нее как загипнотизированный, взяв в левую руку туесок, правой, вслепую нащупав крышечку, начал открывать...

– Поставь, Устинко... потом, сбегай борзо и вели Микитке и Темиту – я забыл сказать, – пусть вытащат медвежью шкуру и повесят на солнце, – и высоко вешают, чтоб собаки не порвали... Луки приберут и рожны с древа снимут и, протерев кипяченым конопляным маслом, повесят в клетки под потолком...

Выехали поздно, наверное, последние, если не считать Тугих, которые никогда не спешили – им работа – в тягость. Поехали в объезд, так как овраг можно было перейти только по мосту. Вешняя вода бежала по дну оврага с шумом, мутная, пенная, чуть не касаясь поперечных бревен моста. Переехав мост, поднялись по пологому северному склону оврага. Пошли по полю; в открытых местах тропа-дорога была суха, утоптана, начала прорастать ярко-зелеными остроконечными травинками, фиолетово-сине-зелеными на концах трубочками молочая; в конце поля, перед лесом на пригорках всюду желтели цветы мать-и-мачехи. В лесу стало сыро, тенисто, прохладно; вокруг кое-где белели подснежники, зеленели кустарники черники, подальше – брусника с крупными красными прошлогодними ягодами. Тихо шумел-говорил

лес. Хвоя на ели, пихте и соснах близи была еще зеленее. Приятно стало холодить, чувствовалось: в глубине леса снег только что растаял, ушел в землю.

На трех лошадях ехали Троедворцы на починок. Устин с отцом шагали за лошадью с возом позади всех. Впереди обоза шли племянники, за ними ехали женщины на лошадях, запряженных в летние сани, с ними младшие ребенки; табунок подростков убежал вперед.

Антип даже приостановился – только сейчас заметил: Устин шел в ступнях (будничная летняя обувь, плетенная из бересты) – по голенищам было видно, что он поверх портянок не надел ноговицы (сшитые из куска кожи, те не пропускали воду).

– Ты что?.. Работать едешь али так?! Ноги-то намочишь!..

– Я портянок намотал поболе...

Отец посмотрел строго на сына (Устин по привычке съежился), но оплеуху не дал, зашагал:

– Что у тебя с Агапкой?.. Мотри, без баловства, а то я тебя!.. Другую найду – на Строгановых дочери... Они вон какие, все на подбор: коренасты, крепки и сильны, а главное, честны, порядочны и не лодыри – такие они хоть не богаты, но всегда они в достатке бывают, и души у них в спокойствии пребывают, и день и ночь в радости-работе – трудом живут, не воруют и не грабят – не губят свои души... Так-то. Агапка... Посмотрел на нее – давно ее не видел, с той осени – еще длиннущее, еще худущее стала: ноги как две жердины, сисек не видать... – посмотрел сыну в глаза: – Как дитя будет вынашивать, чем кормить?

– Тятя!.. Вырастут... – Устин красный, потный, еще что-то хотел сказать, но его сердито перебил отец:

– Вон, Видана, тетка твоя – ни одного толком сама не выкормила, ладно другие тетки у тебя титькастые – помогли твоих двоюродных братьев и сестричек выкормить!..

– Да ладно, тятя!..

– Что ладно? Вон жизнь-то какая!.. Опять, наверно, война будет: какие-то татарове появились, и будто бы они всех побивают... Нам и своих войн хватает: мы не только с русскими землями деремся, но уже теперь в своей, Володимерской... Некому от иноземцев оборонять: почти все взрослые володимерцы полегли под Липицами, когда братья-князья Юрий и Константин володимерский великокняжеский стол делили, – говорили, в церквях 9232 души отпели!.. А искалеченных!.. Сколько не сразу умерло, а после – придя домой... И с другой стороны – ростовцев и новгородцев не меньше, хоть и победители они – просто их побольше было... Прошло всего семь годов – ребенки ихние, у кого остались, кто успел обзавестись, – еще не успели подрасти... Я вот один из четырех братьев, дядьвет твоих, в живых остался – остальные все головы сложили за князей...

Устин смотрел на отца, раскрыв рот, слушал, не замечая, что ноги у него иногда по лужам идут.

– ...В конце снежня* от князя Удатного** гонцы прибыли в Володимир с просьбой к нашему великому князю Юрию, чтоб вместе с русскими князьями и половцами выступил против неведомых татар и помог побить их.

– Послал помочь?

* Февралья.

** Великого князя Мстислава Мстиславовича Галицкого.

– Нет. Ни сам не пошел, ни свою дружину не послал... Ты что под ноги- то не смотришь?! – звонкая оплеуха, от второй Устин увернулся. – Дай-ко попить...

Уже попивая из туеска Агапкин квас, Антип говорил:

– Эх, уйти бы нам куда подальше на новые земли-места и не видеть, не слышать, не участвовать бы в этой грызне между князьями и боярами!.. Или же в монастырские земли податься, пахать и сеять – монахи забирают себе только на свое пропитание и содержание. А тут... как бы земля хорошо ни рожала вокруг Подгорцев, все не хватает: то этому дай, то другому оброк – то за это, то за то... Хорошо хоть новые земли подсечные выручают – с них три года не берут... на себя, в свою радость работаем-живем...

– Деда, дай!.. Тоже хотим пить, – откуда-то подскакали ребята-подростки.

– Натё, пейте, туесок-то обратно принесите. Ох, благодать!.. Никогда такого не пил, – пожалуй, надо подумать... Агапка... пожалуй... – улыбнулся, подмигнул сыну: – Какой вкус-аромат!..

Устин думал о своем, вдруг глаза у него вспыхнули:

– Вот бы в княжью дружину попасть!..

– Не то говоришь: я об одном – ты о другом!.. О деле надо говорить, а не пустое. Мы для земли рождены и на земле должны жить и радоваться: семье, детям... Какая радость пахать, сеять, жить среди полей, лесов, лугов, рек и озер, под небесами на воле вольной – тело и душа радуются – счастье-то какое!..

– Дак откуда берутся воины-дружинники? С наших Подгорцев тоже ведь есть...

– Чтобы хорошим воином быть, нужно с детства, с малых лет... Княжат с пяти-шести лет постригают, на коня сажают и от мамок-нянек дядьям передают, которые учат ратному делу, и не только... Читать, писать – грамоте учат... княжить... И детей боярских с малых лет готовят... Такие, как мы, могут только стать конюхами, стремянными слугами, оруженосцами – копья, щиты и другое оружие таскать – и потом только в молодшую дружину попадают. У бояр есть тоже свои дружины, но только из холопов – это совсем другое... во время войн обычно набирают... Мне отец (деда не помню) всегда говаривал, что истоки жизни и всех благ на земле – народ. Все от народа: и хорошее и плохое – куда он настроится, повернется...

.....

...Стрела, еще несколько стрел, сотни стрел посыпались с шелестом сверху со стороны реки на правый берег: стучающе-скрежещуще-хрустящий звук, когда стрела на излете ударялась в песчано-гранитный грунт у воды или глухой стук – в истоптанный дерн; как град слышался, попадая в шлем, броню... Шлеп-чмок – когда в незащищенную часть тела, неглубоко рая, но – больно!.. Раненые кони дико взвизгивали, вставали на дыбы, вырывали поводья, сбрасывали седока и ускакивали прочь...

Дикий ор людей, вопли, визги... Бешеный галоп несущихся и сбивающих все на своем пути раненых коней...

Стреляли татары с левого берега через брод, стоя конным строем, не спускаясь к воде.

Когда прискакали Мстислав Мстиславович, Даниил Романович и Ярун на место обстрела, русские вои, прикрывшись щитами, начали уже стрелять – отвечать из самострелов (русские лучные стрелы на таком расстоянии, перелетая реку, не достигали до высоко стоящих на берегу противников).

Татары перестали стрелять, отошли от берега, исчезли из виду.

Даниил Романович поднял татарскую стрелу. Показал Мстиславу Мстиславовичу.

– Смотри, какие наконечники – ни бронь, ни кольчугу не проткнут...

Подходили, смотрели, удовлетворенные.

– На охоту и то такие не возьму...

– Что-то знакомые... Кажись, это не татарские...

Между тем крики, шум нарастали. Общее возбуждение среди русских!.. Подбегали, подсказывали конные на пляшущих конях – просили быстрее переправиться на левый берег, чтобы побить за «насмешку» татарву.

Ярун вздыбил черного рослого с лоснящейся короткой шерстью жеребца, развернулся и умчался к своей новгородской дружине и к приданным ему половцам, которые были уже готовы к выступлению и встретили своего воеводу громкими криками-призывами ринуться в бой.

Могучие новгородские конники – в тяжелой броне, в руках толстые длинные древки копий, слева у каждого, поблескивая на солнце бронзой, медью или железом, висел щит, – плотным строем шли за Яруном; за ними – пестрые конные отряды многочисленных половцев, во главе каждого – стойбищный хан в красных, синих, зеленых одеждах, у некоторых поблескивали на ушах кольца из драгоценного металла – кое у кого были кольчуги и шлемы, с луками в тулях, привязанных сбоку к седлу, в руках легкие длинные пики, – гортанно кричали, блестя черные глаза, светились бронзовым цветом потные лица, торопились к переправе...

Остров Хортица разделял Днепр на два рукава: левый – быстрый – и правый: раза в три шире и с более спокойным течением. До подхода русских войск пешцы воевод Домамерича и Держикрая Владиславовича успели построить наплавной мост с правого берега на Хортицу. Вот по этому мосту и ринулась конница подошедших русских и половцев. Мстислав Мстиславович, уже не колеблясь, отдал приказ начать переправу на левый берег – атаковать противника.

Пешцы («выгонцы галицкие»), с ног до головы увешанные оружием: копья, мечи, луки, самострелы, за спинами тяжелые колчаны, наполненные стрелами, слева у каждого тяжелый червлёный щит чуть ли не в рост человека – спускались с крутого скалистого берега Хортицы по вырубленным в граните ступенькам к воде. Садились в длинные лодки, закрывшись щитами по бортам и спереди, отталкивали тяжело осевшие лодки в водные струи левого протока Днепра и, быстро гребя веслами, мчались к левому берегу. Зеркально отсвечивала солнечными бликами река; брызги, шум, стук уключин и веселый возбуждающий гомон-ропот тысяч людей.

На острове тесно от войск. Со стороны кажется, что все смешалось, неразбериха... На восточной стороне острова, на краю невысокого каменистого берега стоит спешившийся Мстислав Мстиславович в окру-

жении своей охранной сотни, вестовых; рядом – стремянные с двумя его боевыми конями, оруженосцы. Великий князь весел, блестят на солнце его белые зубы; к нему то и дело подходят один за другим: князья, воеводы – как и он, все в бронях, латах.

...Великий князь Галицкий заканчивал давать наставления воеводам Юрию Домамеричу и Держикраю Владиславовичу (они вслед за своими сотнями собирались на левый берег):

– Отгоните их подальше в Поле и, огородившись копьями, прикрывшись щитами, бейте по ним из луков и самострелов – не давайте приблизиться к себе или обойти вас, – нам нужно время и место, освобожденная полоса на левом берегу, чтобы конные полки наши перевезти на тот берег...

Сел на коня – так виднее Мстиславу Мстиславовичу. Судя по ябеде дальних сторожей, там – союзники татар, а сами они где-то за ними прячутся. Вот последние лодки с воями-пешцами пересекли левый быстротечный проток. Передние взобрались уже на левый пологий берег Днепра и вступили в рукопашный бой с алано-касожскими полками.

Теперь Мстислав Удатный хорошо разглядел: «Точно не татарове. И стрелы те не татарские». Похоже было, что противник не в состоянии сопротивляться и потому уходит-бежит в Степь, оставив для прикрытия союзников. Он, Мстислав Мстиславович, все правильно делает: оставив на правом берегу часть половцев с кибитками, во главе с ханом Котяном для защиты с юга русских земель, переправившись на левый берег с войсками (пешцы, его конная дружина, присоединившиеся к нему Даниил Романович, Ярун со своими и конными половцами, союзные князья и бояре-воеводы) пустится в погоню за татарами, не обращая внимания на киевских, чернигово-северских и смоленских князей. Он один сделает то, что должны были сделать вместе!.. «Своих сторожей нужно оставить на переправе...»

Обогнув остров сверху, подошли и причалили весельные, сделанные из трех-четырёх лодок, паромы. Гулко стуча коваными передними копытами по деревянным плахам-настилам, заходили, нервно вскидывая головы и всхрапывая, ведомые за поводья кони. На паромы была загружена конная дружина Яруна, затем – половецкие полки. Конники стояли около паромных перил, каждый со своим полком, поглаживая морду, шею своей лошади.

Передние паромы переплыли, причалили, конница начала высаживаться. Ярун смотрел на приближающийся берег. Там уже не видно было сражающихся русских со спешившимися степняками, только знакомый шум-гул боя слышался с той стороны – врага оттеснили от берега. Вот уже, ведя за собой на поводу коней, вверх вбегали половцы, ухватившись за седла, взлетали на своих коней и с гиком-свистом уносились – исчезали с глаз...

Ярун оглянулся: на берегу Хортицы могучий всадник в сверкающем золоченом шлеме и в латах, подняв правую руку с мечом, радостно приветствовал-призывал их вперед – в бой!..

Слева, нагоняя их, шли паромы с конной дружиной князя Даниила Романовича.

Пахло рекой, свежей древесиной (устланый пол парома из только что срубленных и обтесанных деревьев был изрублен сверху подковами беспокойно топчущихся коней).

Паромы ходили – продолжали перевозить. Даниил Романович через вестового сообщил, что он со своей дружиной вместе с Яруном и половцами гонят врага, но с самими татарами еще не скрещивали мечи; спрашивал: далеко ли от Днепра уходить – гнать их?..

Великий князь послал ответ: «Идите как можно дальше в Поле за ними, не останавливайтесь! Я догоню вас».

...Джэбэ, стоя на кургане, одетый и вооруженный как воин тяжелой конницы, приподняв стальную личину (даже шея спереди и с боков была закрыта мелкочаеистой кольчугой, которая крепилась к шлему, сзади – к назатыльнику), шурясь, наблюдал за боем. Подправил висящий на левом боку тяжелый длинный палаш, обратился к рядом стоящим тысячнику багатур-нойону и юртаджи.

– Хватит!.. Достаточно!.. Гемябэк, у тебя восемь сотен: пять легкой конницы и три тяжелой. Пусти вперед пять сотен легкой – останови урусов, засыпь их стрелами; остатки бегущих аланов и касогов поверни лицом к врагу – чтобы ни шагу назад!.. (Приказ был исполнен немедленно: пять сотен легкой конницы умчались на запад.) Сам с тремя сотнями тяжелой конницы и бери всех моих аланов и касогов и гони на врага – закрой урусам на два-три дня дорогу в Поле, – из-под век сверкнули темные жгучие глаза: – Я разрешаю тебе достойно, как положено монголу-мужчине, умереть с оружием в руке!.. Так нужно богу Сульдэ – мы должны показать силу и как умеем, когда нужно, сражаться до конца, не отступив, не показав спины, достойно уйти к нему в Синее Небо, чтобы стать божьим воином. Мы давно не посылали ему монгольских батыров, пусть знает, что мы не стали трусами, не прощаем оскорбления и унижения, которое мы получили от своих врагов: убили наших безоружных мирных послов! Пусть Сульдэ всегда будет с нами, помогает, не отворачивается от нас!.. Нам нужно время, чтобы успеть подготовиться к большому сражению!..

Темник Джэбэ опустил закрепленную к шлему личину, изображающую морду тигра с оскаленной пастью, вмиг преобразился, приказал глухим из-под маски рычащим голосом:

– Проводим багатур-нойона Гемябека и наших братьев Непобедимых в последний бой на земле!..

Боевые трубы, бубны подняли трехтысячное войско алан и двухтысячное касогов. За ними вскачь – три сотни монгольской тяжелой конницы воинов-батыров во главе с тысячником Гемябэком. Чуть отстав, скакала за ними, провожая на бой, навстречу русским дружинникам многотысячная монголо-татарская конница Джэбэ.

Расстояние между сотнями тяжеловооруженных татар Гемябэка и последними рядами легковооруженных алано-касогов неукоснительно соблюдалось, так как тех, кто отставал, затаптывали, изрубали, сбивали, – после двух-трех таких случаев алано-касогои подтянулись и, уже не сбавляя скорости, скакали вперед. Вскоре увидели легкие татарские сотни, которые, заметив догоняющих, прибавили скорость и вскоре скрылись за горизонтом.

Задние из касогов, оглядываясь, видели, как вплотную к ним, будто прицепившись, скачут, тяжело грохоча копытами, три сотни татар во главе с тысячником. За ними равномерно, не убыстряя и не замедляя бег, катилась конная лава Джэбэ. Мощные воины-татары (в тяжелую конницу отбирали самых сильных воинов и под стать им коней) в бле-

стящих черных латах из буйволово́й кожи специально выделанных, обработанных и покрашенных; длинные тяжелые палаши (в полтора раза длиннее сабли или меча) в руках, луки в полуоткрытых чехлах висели слева рядом с круглыми щитами, прикрепленные к седлам. Колчаны со стрелами висели справа, задевая бедра. Лицо, шея воина защищены; крупы коней укрыты кожаными пластинками-латами, на мордах – огромные личины-намордники; кожаные пластины кое-где усилены стальными пластинами – все самое лучшее, передовое было взято у народов Китая и Средней Азии в вооружении и технике. Редкая стрела или копье, или меч, сумев пробить кожаные пластины, добивались до нательного белья монголо-татарского воина, но и добравшись, как правило, не протыкала ткань из специального шелка, а уходили в глубь раны вместе с наконечником стрелы, копья, и, если потянуть ткань белья, легко вытаскивалась из раны – эта своего рода операция многим спасала жизнь, так как застрявший наконечник приводил к инфекции – к гибели раненого.

Расстояние между тремя тяжелыми сотнями Гемябэка и туменем Джэбэ начало увеличиваться. Отставшие конные лавы монголо-татар сворачивали налево, затем поворачивали назад...

Пять сотен легкой татарской конницы Гемябэка на бешеном скаку разворачивались в широкую лаву, охватывая урусов, скакавших навстречу на тяжело дышащих лошадях, не могших развить достаточную скорость.

Боярин-воевода Иван Дмитриевич вел свою полторатысячную дружину, обойдя справа – по приказу Мстислава Мстиславовича – сражающихся Даниила Романовича и Яруна с остатками бегущих алано-касогов, в Поле – разведка боем.

Вот татарская конница уже обхватила их подковой и быстро пошла на сближение. Иван Дмитриевич усмехнулся: противник явно переоценивал себя – в дружине воеводы в три раза больше воев. Хотя... то, что татары появились вдруг и смело атакуют, с какой скоростью выполняют маневры, говорило о том, что все не так просто и что противник опытен. Пригляделся и удивился: татары были хорошо вооружены, и в шлемах, и в легкой броне!.. («Вон какове татарове, а я-то думал!.. Только зачем столько колчанов со стрелами? – счас врежемся и порубим их!..»)

Они, сблизившись с русскими на расстояние полтора-два полета русских стрел, вдруг разом развернулись и закрутили «карусель», при этом бешено мчавшиеся в переднем ряду татары начали стрелять из луков и, выпустив каждый по десятку стрел, доскакивали до конца ряда, разворачивались и уже обратно скакали по второму ряду и, вновь развернувшись на другом конце, снова оказывались в переднем ряду, и все вновь повторялось... И поражало то, что расстояние при этом между русскими и собой они сохраняли!..

Стрельба из луков ошеломила русских, отрезвила – беспечности как не бывало, когда после первых выстрелов они десятками скатились, сползли, умирающие, с седел, повисли раненые. Длинные тяжелые стрелы с узкими стальными наконечниками на таком расстоянии легко пробивали броневые пластины, проходили сквозь кольчуги, как будто их и не было на русских воинах.

Лебедина, лошадь воеводы, сама, без команды, страшно напряглась, напружинилась вся и, вытянув белую шею, вдруг вырвалась вперед

и со страшным ускорением понеслась на татар. Его лошадь сделала то, что должен был сделать он, воевода Иван Дмитриевич: не дав времени на действия врагу, повести своих за собой на сближение, вступить в ближний бой, используя свое численное превосходство, изрубить, разметать противника.

Воевода, уже бешено несясь, вынул меч (в левой руке тяжелое длинное копье, справа висит, привязанный к седлу, большой колчан с сулицами), закричал зычно, перекрывая грохот-шум, призывая всех за собой. Но большинство отстало от него... Удар-боль в левое плечо – плечо как огромный больной зуб! – до самой кости впилась татарская стрела!.. От боли застонал, – щит у него слетел, – он согнулся (лошадь, не сбавляя сумасшедшего аллюра, изогнув шею, кося глазами, посмотрела на него: в светло-карих лошадиных глазищах – дикий страх), прилег на гриву...

Татарская конница – миг, и разделилась, пропустила – атака-удар растянувшейся и сильно поредевшей русской конницы – в пустоту!..

Воевода неимоверным усилием, преодолевая боль и слабость, выпрямился в седле, хриплым, но все еще громким голосом приказал остановиться и начать стрелять из луков. (Татары, скача с двух сторон, не переставали стрелять – выбивать русских.) Дружина воеводы, образовав большой овальный круг, закрывшись щитами, начала отвечать стрелами, но не все выпущенные стрелы долетали и попадали в цель. «Лодыри!.. Даже луки поленились пристрелять, как натянули тетиву на луке...» – Иван Дмитриевич вспомнил, что ему самому только перед Хортицей оруженосец натянул тетиву, и он тоже не пристрелял лук.

Даже прикрытые щитами, то тут то там пораженные воины, вскрикивая, вываливались с седел – тяжело с шумом грохались на изрубленную копытами степную траву.

Бой-перестрелка продолжалась. На одну пущенную стрелу татары отвечали тремя-четырьмя метко пущенными. Они стреляли только по всадникам, а незащищенных коней не трогали, и, как ни странно, но у многих русских это вызывало уважение... Воины легкой татарской конницы джигитовали, не стояли на месте, и в них даже с близкого расстояния было трудно попасть: носились на своих диких с виду конях, постоянно двигались, меняя положение, и будто без всяких усилий и не целясь, пускали стрелы, и, пока первая стрела успевала долететь и поразить, вслед за ней летели еще две-три – по другим уже целям...

Пересиливая боль, повернул движением ноги Лебедину, закричал своим двум сотникам, чтобы они атаковали татар слева от них, а сам с остальными дружинниками, развертываясь фронтом, пошел на сближение с другой частью татар – которые справа...

Но быстрые татарские сотни не подпускали на ближний бой – вновь легко уходили, при этом продолжали стрельбу, нанося урон русским. Вот они вновь соединились вместе, развернулись назад и, ускоряясь (стрелять перестали), – расстояние до них увеличивалось на глазах, – одолели длинный пологий подъем и скрылись из виду...

Когда преследовавшая конная дружина вслед за бежавшими монголо-татарами одолела пологий косогор, то была неожиданно атакована скрывающимися за возвышенностью алано-касожской конницей.

От полного истребления дружины Ивана Дмитриевича спасли подоспевшие великий князь Мстислав Удатный и его зять Даниил Романович с Яруном и его половцами. Мстислав Мстиславович повел свою личную пятитысячную конную дружину в лоб, остальные обошли...

Скоротечный ожесточенный бой, и небольшая часть оставшихся в живых аланов и касогов, сумевших вырваться из окружения, бежали в Степь и рассеялись, но оказавшиеся за ними легкая татарская конница (уже знакомая) и три сотни тяжелой сражались... Они, организовав круговую оборону, вначале отстреливались – не подпускали; когда кончились стрелы, оцетинившись короткими копьями, бились в ближнем бою... Уцелевшие татары, привязав к седлу умирающего хана Гемябэка, каким-то образом смогли прорваться и уйти...

Посланные в погоню Ярун с половцами на рассвете следующего дня, нашли спрятанного в земле (в норе), на восточной стороне кургана еще дышащего тысячника хана Гемябэка. Остатки татар, расположившиеся тут же, почти все израненные, хотели отвлечь внимание и увести за собой преследователей, но были окружены. Никто из них не сдался, не попросил пощады.

Гемябэка привезли к великому князю Мстиславу Мстиславовичу. Как ни пытались, не смогли хану вернуть сознание. Только раз услышали из его спекшихся окровавленных губ тяжкий хриплый стон: «Баш аурта!..»

«...Половцы... выпросив у Мстислава (Гемябэка), зарезали».

Оставив на правом берегу Днепра (напротив Хортицы) с вежами многотысячную орду во главе с Котяном и тысячу пещцев из галицких выгонцев на острове Хортица, русские князья вместе с половцами бросились в Степь в погоню за «побитыми» монголо-татарами...

Стихи по кругу

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА

Нижний Новгород

По маминым следам

1

*Господи Боже, мама!
Как мне тебя не хватает...
Такое в начале детства,
Да в старости, видно, бывает.
Безумно пронзительной болью
Становятся воспоминанья.
Невысказанной любовью
Звучат эти наши признанья.*

Лигия Лопухова.

Из неопубликованного

Мне тоже не хватает вас –
обеих, близких и любимых,
отныне в небесах хранимых
для новых жизней – про запас...
И перед этой пустотой,
что после вас в душе осталась,
я беззащитна. Да и старость
идет дорогой непростой...

Ты обрела желанный путь
в полете творческом высоком.
И пишущей машинки цокот
мне в детстве не давал уснуть.
Тогда, баюкая меня,
Мне бабушка стихи читала,
как сказки – просто и устало –
и про Олегова коня,
и про царицу у окна,
про чудо острова Буяна,
и про гадание Светланы –
все знала наизусть она...

И закружилась голова:
теперь я знаю – вдохновенье

и поиски, и дерзновенье
так вольно складывать слова,
и божий дар в твоей судьбе –
от мамы, что во тьме метельной
на память, вместо колыбельной,
читала Пушкина тебе...

2

*Жизнь как любовь.
И все стихи мои
О жизни.
Лишь о жизни
И любви.*

Лигия Лопухова.
«Жизнь, как любовь...»

*Мой божий дар – отрезанный ломоть.
Быть может, я в молчанье не права...
Слова так страшно обретали плоть,
Что стало страшно складывать слова.*

Лигия Лопухова.
Из неопубликованного

Думала, рифмы – лекарство...
Только твой опыт – не впрок:
я испытала коварство
опубликованных строк.
И замолкала надолго,
глупую дерзость кляня...
Видно, не вышло бы толку
в ведомстве муз из меня...

Кто же я все-таки, кто я?
В самом ли деле поэт?
То-то мне нету покоя...
И вдохновения нет.
Пишут и пишут иные –
русский терзают язык,
и не стихи, а стихии
втиснуты в корочки книг.
И не найти укорога
на литераторов рать...

Я же – у поворота:
смею ли, буду ль писать?

Носятся мысли в эфире,
к людям спускаются – жить...
Все уже сказано в мире...
Да и о чем говорить?

Вновь о любви и разлуке?
 Тут я, пожалуй, совру...
 Что ж мои жадные руки
 тянутся снова к перу?
 Мало мне было печали?
 Снова – зови не зови –
 строки о жизни настали,
 ну... и чуть-чуть о любви!

3

*Бег времени! Не истончай лица,
 Не поселяй в глазах моих усталость!
 Так хочется быть прежней до конца,
 И чтоб улыбка юною осталась...
 Оставь обличье верное душе,
 Живущей жаждой вечного полета:
 Ведь даже птица, сбитая уже,
 Пусть и к земле, – не прекращает лёта...*

Лигия Лопухова.

«Заклинание женщины»

О, не пытай напрасно отраженье,
 пусть мимо искажений взгляд скользит:
 когда-нибудь придет Преображенье
 и нас с тобой, и мир преобразит.
 И ту любовь, что в нас почти молчала,
 однажды этот светлый мир услышит.
 Неистребимо женское начало!
 Нам вовсе не к земле лететь, нам – выше!

Наталия КУРЧАТОВА

Санкт-Петербург

Из поэмы «БЕЛЫЕ ТОПОЛЯ»

* * *

Трактористы отрыли
 окопы по периметру нашего городка
 километры ходов сообщений
 в них скоро сибирские реки хлынут
 килотонны бурятов. скопища злых литвинов
 монгольская степь и ватаги варягов
 с воронами оплечь
 вся эта Русь, которую нам сберечь
 завещал твой отец – одноглазый, как Один
 зачем она нам сдалась, сынку?
 да просто так
 потому что красиво

вот, смотри
завтра выйдем гулять во двор
там качели, фигуры зверей
белые одуваны, отцветающая сирень
жирный лопух, силикатный кирпич, вышка, пятиэтажка
кто-то скажет – убого и очень тяжело
нет чтоб Сан-Марко отметить или хотя бы Бруклинский мост
или Литейный в Питере – поднимающий над Невою хвост
нет, почему-то именно здесь на стене кто-то намалевал: люблю
одуванчики, битый кирпич, тебя, маму твою
Олю.

* * *

Я пишу тебе из гостиницы в центре города N
спасибо, что придержал ее паспорт
она бы конечно рванула следом
но что это за путешествие, когда глаза – застит
что это за приключение (если можно вообще так назвать)
мчаться туда, где убивать
стало делом привычным
пусть даже и за любимым
в последнем более чем сомневаюсь
продолжая надеяться, удаляюсь
у тебя из френдов, чтоб не порушить твои контракты
с европейским издателем; впрочем, мы сохраним контакты
если захочешь –
пиши в телеграмме
до востребования, юзеру в камуфляжной панаме
на позиции трактористов, что стреляют в себе подобных
все это, не спорю, выглядит негуманно
человеческий мир за всю историю был гуманен не более суток
если в таком раскладе у тебя – для меня найдется минутка
ты знаешь регион, знаешь оператора, знаешь номер
для тебя (и нее) не буду здесь его выключать
для остальных я считай что помер.

Галина МИНЕВИЧ

Нижний Новгород

Заноза

Железную занозу я вытащить хотела,
На палец поглядела в рабочий микроскоп:
Светилась плоть моя, под линзой розовела,
Из глуби мирозданья, из вечности росток.

Не видно было верхних, чуть загрубевших клеток,
Струилась мягким светом моя живая кровь –
Прозрачно наше тело. С какой же тайны слепок?
Неутоленный разум вопросы ставит вновь.

Простые «человеки» – мы временем гонимы,
 Но из глубин Вселенной поют нам сотни лир.
 Прозрачны наши души, занозами ранимы,
 Но мудро, даже нежно, мы любим этот мир.

Елена СОМОВА

Нижний Новгород

* * *

Мелкий такой, тщетный, нелепый снежок,
 Падающий на лёд, изрыгающий крупные неприятности,
 Гипсовые скульптуры конечностей, стремящихся
 к бесконечности.
 Лёд, в который следы впаяны до весеннего таянья,
 И тот, который вовсе не сохранит ничьих следов,
 А только, может, нежное воздушное присутствие
 прошедшего человека,
 Выдох его легких, растворённый в воздухе после вдоха ветра,
 Воронки суетного бытия, которое отрицать невозможно.

Андрей КАНЕВ

Сыктывкар

«Подснежник»

На бруствере окопа талый снег,
 В бойнице камни голого предгорья,
 И в камуфляжной форме человек
 С кровавым озерцом у изголовья...

Смотрю, смотрю в оптический прицел,
 И не понять, он наш или из местных,
 В ночной тиши растяжки шнур задел,
 Пополнив список павших безызвестно.

Площадка, словно на ладони вошь,
 Пристреляна и этими, и нами.
 В оптический прицел и не поймёшь,
 Чей в камуфляже? В общем, – россиянин.

И надо б сползать. Как накроет снег,
 Тогда уж до весны – другим забота.
 Тот в камуфляжной форме человек
 Достанется сменившим нашу роту.

Кого послать? Иль сползать самому...
 А может там Хаттаб? Пусть догнивает...
 Он не живой уже. А те пальнут!
 Их «эсвэдэшки» промаха не знают.

Под пулями сюда его тянуть,
Погибшего почти что бестолково?
Вдруг с неба повалил ему на грудь
Пушистый снег. Решилось, право слово!

Пускай покроет будний след войны
И до весны хранит себе кого-то.
А снег кружился, словно знак вины
За чью-то там весеннюю заботу...

Борис ЛУКИН

Москва

Только весна

Странно в мире... Спокойствие. Будто весна
Свет не задела своей огнедышащей трелью.
Тихо, привычно трамваев стучат семена,
Сыпясь на стыках... но искры в утробе не спеют.

Спеет равнина, клочками срывая снега.
Зреет река, возбужая рыхлистою ледью.
Птицей на ветке, чей щебет по капле стекал.
Солнцем на взгорке, чей профиль по-мартовски меден.

Мною, тобой и детишками, спящими всласть,
Ждущими мира душевного, лада телесно-земного.
Кто это выдумал злую такую напасть
Не замечать:
по весне
нету спасенья иного.

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ

Нижний Новгород

* * *

Василию Поздееву

Когда потомки луговых мари
Меня с утра представят Кугу Юмо,
В льняной рубахе выйду в хвост зари,
Ни к западу, ни к северу, ни к югу.

А на восток, где полупьяный карт
Двенадцать раз ударит в колотушку.
Задумаюсь, и не замечу как
Три раза на шесте всплакнёт кукушка.

Осыплется мирская шелуха.
На нитях опущусь в иное царство.

Меня обнимут травами луга,
Как обнимали на земле нечасто.

К ночи с марийской девушкой вдвоём
Мы сядем у костра друг против друга,
Лирическую песню запоём,
Вдвоём уйдя из огненного круга.

Наутро у потухшего костра
Останется лишь пепел, прах и угли.
На день сороковой в последний раз
Приду проститься с близкими супруги.

И буду жить как луговой мари,
В природу дух вплетая прозорливый,
В квасу туманов, в киселе зари,
В нектаре трав, в ухе речных заливов.

Пётр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

Моя Ветлуга

Жизнь моя – река Ветлуга,
Что-то стала ты узка.
Обмелевшая яруга
Тальники да плешь песка.

Деревенька. Пара елей
Сторожихами стоят.
Избы будто захотели
Утопиться все подряд.

Здесь давно уже не пели,
Не куражилась гармонь.
Злые ветры налетели,
Все богаты – не затронь!

Воскресенским крутояром
Да с Ватрухиной горы
Мне привиделись недаром
Берега иной поры...

Помню я тебя другую,
Когда яростной весной
Ты несла плоты, лютуя,
Вся пропахшая сосной.

Плотогоны – люд не тихий.
Ночью круты и легки,

До Задворки с Чернышихи
Долетали матерки.

От окна усадьбы древней
Я смотрю на берег тот:
На тайги зелёном гребне
Дремлет белый теплоход.

Тихо музыка играет.
Птицы крик да плеск весла.
Речка звуки подбирает,
Те, что память принесла.

Чуть прислушался... и – диво!
Как среди бела дня краду
Песню Крюковой Клавдии
В сенокосную страду.

Скоростных судов не плоше, –
Смех и грех, года-вода! –
Катер с именем «калоша»
Не забуду никогда...

Тонут пристани в тумане,
Под Калинихой – моя.
Наша пристань, – утром ранним
Сторожили соловья.

Отозвалась соловьяха.
Слушать ли, свою ль встречать?
Будто сводит ветер тихий
С сердца времени печать...

Хоть теперь ты не такая,
Будоражить смеешь кровь,
Моя первая большая
И последняя любовь.

Март

Из болотищ заветлужских,
Где Лешак Весну пасёт,
К речке солнца полукружье
На рожищах лось несёт.

На крутом обрыве стоя,
С липой крепко обнявшись,
Я награды удостоен:
На восход умножить жизнь...

След по насту виден с кручи,
Как лаптей стеклянных ряд.

Космонавтов формой круче,
Рыбачки к реке скользят.

Быть весне! А как иначе?
Слышу – ельничком идёт.
Повезло мне стать богаче
На ещё один восход.

Лариса БУХВАЛОВА

Павлово, Нижегородская область

* * *

Впадает в небо узкая протока.
У августа глаза Ильи пророка.
И плащ седой, спадающий с небес,
плывёт сквозь сад, кустам наперерез.

Через межу, предвидя неба твердь,
боясь крылом о край её задеть,
всё ниже пролетающие птицы.
А в грядках след от горней колесницы.

Скрещенье стрел и сполохи огней,
что вознеслись над гривами коней.
Всё видно здесь, от космоса до дна.
А выше – длань Господня видна.

Литпроцесс

Валерий РУМЯНЦЕВ

Родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР.

По окончании Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности.

Живет в Сочи.

СМЕРТЬ ЧИТАТЕЛЯ –

это лишь версия или?..

Хороших новостей приходится ждать, плохие приходят сами. За последние четверть века в нашу культурную жизнь пришло немало бед, и одна из них – катастрофическое снижение числа читателей художественной литературы. Иосиф Бродский как-то сказал: «Есть преступления более тяжкие, чем сжигать книги. Одно из них – не читать их». А ведь книга – учитель учителей!

Почему читательское «поле», как шагреновая кожа, стремительно сокращается? Чем же вызван «массовый падёж» читателей? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Одни россияне больше времени стали тратить на то, чтобы заработать копейку и бороться за физическое выживание, так что им уже не до «высоких материй». Другие вместо чтения кинулись потреблять развлечения, которые предоставили им новые технологии. Третьих не устраивает низкое качество поэзии и прозы современных литераторов. А основная часть молодого поколения не получила должного воспитания и поэтому не усвоила простую истину: чтение художественной литературы является источником духовного, нравственного и интеллектуального обогащения.

Сделать из себя хорошего читателя не так-то просто. Но этот труд потом на протяжении всей жизни будет приносить много радости. По мнению Владимира Набокова, «хороший читатель – это тот, у которого развиты воображение, память, словарный запас и который наделён художественным чутьём». Без талантливого читателя художественная литература мертва. Об этом говорили многие писатели, например С.Я. Маршак: «Читатель – лицо незаменимое. Без него не только наши книги, но и все произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина – всего лишь

немая и мёртвая груда бумаги». И А.П. Чехов признавался: «Я знаю, трепетно люблю и ношу в себе своего читателя». Талантливый читатель, как и талантливый слушатель, – это награда, удача для любого творца, автора, это их союзник, единомышленник, сопереживатель.

Многие читатели ищут в современной художественной литературе не только эстетическое удовольствие, но и достойную идею, однако не находят её. В статье «Сапоги выше Пушкина» Сергей Морозов совершенно справедливо отмечает: «Большинство современных книг вообще сторонится всякой идейности, не содержит ничего, кроме словесной жижи».

Выступая на Всероссийской научно-практической конференции «Современный читатель: эволюция или мутация», Алексей Варламов сказал: «Общество можно разделить на три группы: тех, кто читал, читает и будет читать; тех, кто не читал и не будет, и середину, за которую и нужно бороться». И бороться должны все: и писатели, и школа, и библиотека, и родители... Но особая роль в этом, конечно же, принадлежит литературным журналам. Многие главные редакторы этих журналов, чтобы не уронить свою значимость в глазах общества, в один голос заявляют, что читателей у них множество, а мизерные тиражи литературных журналов объясняются тем, что подавляющее число читателей – это те, кто в Интернете знакомится с текстами, опубликованными в их изданиях. Мол, у читателя, как правило, только один выход: в Интернет.

Сомнительно, что так оно есть. Не потому ли подавляющее число литературных журналов не поставило счётчиков читателей? Да и не каждый просмотр влечёт за собой прочтение. Так что вряд ли можно вести речь о массовом интернет-читателе журналов. Эти печальные соображения подтверждаются и различными опросами читателей, и исследованиями по этой теме.

В последние четверть века в нашей стране идёт процесс агрессивного ниспровержения чтения с пьедестала социальных ценностей. С 2000 года в России закрыто около 13 тысяч библиотек. Правительство уверяет нас, что на их содержание нет денег. Ольга Еланцева в своей статье «Чтение в современной России» приводит соответствующую таблицу и констатирует: «Приведённые выше цифры красноречиво характеризуют ситуацию с чтением в России как стремительно ухудшающуюся... Абсолютное большинство российских семей сегодня не имеют домашних библиотек. Более половины россиян сегодня не покупают книг... Сегодня в России почти половина изданий имеют тираж 500 экземпляров. И это – для нашего огромного государства!»

Исследователи и аналитики пришли к заключению, что современные любители литературы в 90% случаев – люди, которые увлеклись чтением ещё до перестройки. И только 10% молодого населения страны посвящает себя чтению. А что будет, когда наше поколение уйдёт в мир иной? Ответ очевиден. Уже сегодня можно увидеть рядом с мусорными баками собрания сочинений наших и зарубежных классиков. Впрочем, больное общество возводит болезни в ранг достоинств. Владимир Бирашевич горько шутит: «Читающих всё меньше. Пора ввести звание заслуженный читатель и обращаться к нему не иначе как Ваше читательство».

По поводу «вымирания читателя» бьют тревогу и в Европе. Француженка Роже Шартье в статье «Книга уходит из нашей жизни? Читатели и чтение в эпоху электронных текстов» жалуется: «Смерть читателя

и исчезновение чтения мыслятся как неизбежное следствие “экранный цивилизации”. Возник экран нового типа: носитель текстов. Раньше книга, письменный текст, чтение противостояли экрану и изображению. Теперь у письменной культуры появился новый носитель, а у книги новая форма». Видимо, чтобы подбодрить «хронического» читателя, Роже Шартье эпиграфом к своей статье выбрала слова Хорхе Луиса Борхеса: «Говорят, что книга исчезает; я думаю, что это невозможно».

Эта же тема затрагивается и в статье Лидии Сычёвой «Слова и цифры». Безусловно, информация – одна из форм жизни. Казалось бы, Интернет и прочие цифровые технологии – прогресс! Но там, где прошла машина прогресса, остаётся колея сомнительных истин. Темп жизни увеличивается в разы, и, видимо, скоро начнётся экранизация афоризмов.

Если идёт «вымирание» читателя, то возникает закономерный вопрос: чем же конкретно «болен» читательский корпус? Мне представляется, что болезней тут множество, но пациента можно вылечить. За последние четверть века государство сделало всё возможное, чтобы читательский художественный вкус деформировался, – и это, к великому сожалению, произошло.

Растёт число тех читателей, кто не хочет встречаться с классиками, а впитывает пустопорожние книжки, чтобы, как после употребления наркотика, забыться, отвлечься и расслабиться. Они становятся рабами подобного чтения, но не осознают этого. Рабство приобрело такие формы, что видны лишь очертания. Этим и объясняется, что лидером продаж в последние годы являются книги Д. Донцовой. Бывают, правда, всплески читательского интереса к классике после нашумевших экранизаций («Идиот», «Бесы», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»), но это всего лишь кратковременные импульсы.

Всё бы ничего, но на этом фоне рождается новая проблема: молодые да и зрелые писатели тоже хотят получить за свой труд больше денег и известности. И сворачивают на эту тропу, не желая быть похожими на героя такого анекдота: встречаются два писателя, первый, восторженно: «Ты знаешь, я недавно купил твою книгу, так талантливо, такой стиль, такой сюжет, поздравляю!» Второй, грустно: «А-а-а, так это ты купил...»

А тут ещё и некоторые литературные критики подливают масла в огонь. В своей статье «Массовый современный российский читатель» Дмитрий Морозов утверждает, что сегодня значительная часть читателей – это люди с избытком свободного времени, то есть «школьники, домохозяйки и неудачливый офисный планктон». И призывает писателей «не спорить с реалиями сегодняшнего дня», а, мол, «нужно цеплять их на крючок действия, заставлять проживать яркие эпизоды интересных событий, не имеющих ничего общего с их серой действительностью». Подобные советы дают определённый эффект: в продаже мы видим всё больше и больше книг, которые справедливо называют «макулатурой».

Но беда в том, что, читая их, человек не только не поднимается на новую ступень своего интеллектуального и духовного развития, а спускается на ступень ниже. И про таких читателей рождаются анекдоты, а устное народное творчество, как известно, очень точно и своевременно подмечает многие нюансы нашей жизни: «Ты “Войну и мир” за сколько бы прочитал?» – «Ну, баксов за сто...» И смешно, и грустно, не правда ли?

Многие редакторы и литературные критики, характеризуя отношение читателей к современной русской литературе, отмечают, что «её разлюбили», мол, в споре физиков и лириков «победили бухгалтеры».

«Кто виноват?» в незавидных читательских и писательских делах, мы вроде бы начинаем осознавать. И перед нами вплотную встает уже другой заезженный русский вопрос «Что делать?»

Сегодня наибольшей популярностью пользуется художественная литература, не требующая особых интеллектуальных способностей. Но нам надо переломить ситуацию и сделать так, чтобы модным было чтение произведений, которые заставляют думать и осмысливать действительность. И без помощи государства, в руках которого почти все СМИ и ежегодный бюджет, эту проблему решить невозможно.

Сегодня утрачивается чтение как сложнейшая мыслительная деятельность. И чтобы этого не происходило в дальнейшем, проблему необходимо решать со школьной скамьи. А для этого взять на вооружение всё лучшее, что было в советской школе, а не заниматься огульным охаиванием всего, что привнесли коммунисты в процесс воспитания и обучения.

Культура чтения – неотъемлемая часть общей культуры и образования. Только она может стать барьером от засилья всевозможных духовных наркотиков, внедряемых в Россию под предлогом демократизации.

Дверь в Завтра открывается Сегодня. И ключ от этой двери должен быть в наших руках. Иначе он попадет в чужие.

СОБРАТЬЯ ПО ПЕРУ

в поэзии Михаила Анищенко

У любого поэта есть собратья по перу. Были они и у Михаила Анищенко. С кем-то он был близок, с кем-то далёк. А кого-то и в глаза не видел. Но все они «играли» на одном поле под названием «Русская литература». Остались немногочисленные фотографии, на которых Михаил Анищенко вместе со знакомыми поэтами. Остались и стихотворения, в которых он упоминает некоторых поэтов своей эпохи. По-разному складывались отношения с ними, а с кем-то из них и вовсе не было непосредственного общения. Интересно почитать эти стихи и поразмышлять над их содержанием.

Я И БРОДСКИЙ

Я был печальным и неброским,
Я ненавидел «прыг» да «скок»,
Не дай мне бог сравнений с Бродским,
Не дай-то бог, не дай-то бог!

Стихов его чудесный выдел
Я вряд ли жизнью оплачу.
Он видел то, что я не видел,
И то, что видеть не хочу.

Он, как туман, не верил точке
И потому болтливость длил,
И боль земную на цепочке
Гулять под вечер выводил.

Он верил образам и формам,
Особым потчевал питьём,
И пахли руки хлороформом,
Марихуаной, забытьём.

И понимал я злей и резче,
Что дым клубится без огня,
Что как-то надо побережся
От слёз троянского коня.

Почему же поэт не хочет, чтобы его сравнивали с Иосифом Бродским? И почему, хотя они никогда не встречались, в стихотворении сквозит неприязнь к другому поэту? Попробуем в этом разобраться.

Поэты – народ сверхчувствительный, они обделены «толстокожестью». Если что-то им не нравится в другом поэте, они воспринимают это болезненно и не скрывают своего отношения. Ещё Александр Блок в стихотворении «Поэты» намекал на подобное: «Там жили поэты, – и каждый встречал другого надменной улыбкой». И это происходило не потому, что каждый из них был «редиской». Просто почти любой поэт считает, что стихи нужно писать так, как это делает он; другие стили, символы и смыслы для него неприемлемы.

Михаил Анищенко признавал «чудесный выдел» стихотворений Иосифа Бродского и даже говорил, что ему вряд ли хватит всей жизни, чтобы достичь такого поэтического изящества. Бродский «видел то, что я не видел, и то, что видеть не хочу». Да, Михаил Анищенко не был ни в Европе, ни в Америке. Но и особого желанья побывать там у него не возникало, – потому что он «как преступник к высшей мере» «приговорён» к России и всецело жил её бедами и печалью. Михаил Анищенко отмечал изящную форму стихов Бродского, но скептически относился к содержанию его поэзии («И потому болтливость длил»), да и «боль земная» была у собрата по перу настолько легковесная, что он её «гулять под вечер выводил».

В третьей строфе стихотворения отмечаются некоторые черты личности И. Бродского. В частности, он «особым потчевал питьём»; известно, что Иосиф любил виски «Бушмиллс» и русскую водку, настоящую на кинзе. Видимо, Бродский лечился от чего-то и использовал хлороформ. Бродский курил до пяти пачек сигарет в день (называл табак «моим Дантесом»), ну а табак с марихуаной, которая является лёгким наркотиком, во многих странах законодательно разрешён.

Главная причина неприязни раскрывается в последней строфе: «И понимал я злей и резче, что дым клубится без огня». Чем чаще поэт Анищенко знакомился с поэзией Бродского, тем в большей степени у него возникало неприятие этой поэзии. Всевозможные возгласы о гениальности Бродского – это всего лишь «дым», а огня поэзии там мало, скорее уголья. Да и Нобелевская премия по литературе дана Бродскому (как и Пастернаку, и Солженицыну) по политическим, а не иным мотивам. Михаил Анищенко рассматривал фигуру Иосифа Бродского как троянского коня, изготовленного для России Западом. В какой-то степени этот было на самом деле так.

Гениальный поэт – это тот, чью поэзию знает народ. Тот, чьи строки цитируют в разговорах. Тот, чьи стихи положены на музыку, чьи песни поют или часто слушают. Ничего этого мы не наблюдаем, если говорить о поэзии И. Бродского.

Есть ещё одно стихотворение у Михаила Анищенко, где он упоминает другого собрата по перу.

БАРАБАНЩИК

Царизм, инквизиция, пряник и кнут,
Всё горше в России и горше...
Но всё, что сегодня нещадно кланут,
Люблю я всё больше и больше.

Никто не сочтёт безымянных утрат...
Но, помня о русской Победе,
В последнем трамвае последний парад
По улице Сталина едет.

На грязной подножке стоит идиот,
Сияя зубами и славой;
А следом за ним барабанщик идёт,
Убитый потом Окуджавой.

Кого-то настораживает строка «На грязной подножке стоит идиот». Кто он такой – этот идиот? Мне представляется, что поэт вложил в этот образ понятие «сверхпорядочный человек». Да, тот самый образ, который создал Ф.М. Достоевский в романе «Идиот». И это утверждение косвенно подтверждается тем, что Михаил Анищенко часто берёт на вооружение в своей поэзии («Шинель», «Барыня» и др.) образы из нашей литературной классики. Кроме того, он всегда точен в использовании значения слов. И, наконец, в пользу такого прочтения говорят последние две строчки стихотворения: барабанщик – глашатай Победы. Но пройдёт время, и его «убьёт» Окуджава, который уже не поёт «и комиссары в пыльных шлемах склоняются молча надо мной». Михаил Анищенко вставил в стихотворение фамилию именно этого поэта по двум причинам. В одной из своих песен Булат Окуджава «убивает» барабанщика. На дороге жизни обязательно встретишь политический туман. И Булат Окуджава заблудился в нём: подписал известное обращение некоторых литераторов под названием «Раздавите гадину!», которое было опубликовано после того, как Б. Ельцин 4 октября 1993 года расстрелял Дом Советов и разогнал Съезд народных депутатов России, являвшийся высшим органом государственной власти в соответствии с действующей тогда Конституцией.

Владимир Смык в своей статье «Прогулки без Пушкина, или Поэзия вседозволенности» отмечает: «...по мере того, как ослабевал идеологический пресс, в СССР зрела культура андеграунда... Она напрочь порывала с идеологией и эстетикой соцреализма и реализма в целом. После падения социализма андеграунд автоматически превратился в постмодерн, с характерным для него отказом от истины, подменой реальной картины жизни произвольными конструкциями, вольным или невольным пародированием духовно значимых символов».

Михаил Анищенко, обучаясь в Литературном институте, занимался в семинаре поэта Юрия Кузнецова, который во второй половине своей творческой жизни фактически становился символистом. Юрий Кузнецов, как и Иосиф Бродский, не стал народным поэтом. О его творчестве начали спорить лет пятьдесят назад, и этот спор продолжается и поныне. Одни называют Юрия Кузнецова гением, другие считают, что он нанёс существенный вред русской поэзии и завёл значительную часть поэтов в творческий тупик. Страшно далека его поэзия от народа, узок круг её читателей. Где-то в 2001–2002 году открываю я журнал «Кубань» и вижу во всю первую страницу портрет, а внизу написано: «Великий русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов». Удивился, – потому что звание «великий» присваивает Время, а не провинциальный литературный журнал.

Общаясь с Ю. Кузнецовым, Михаил Анищенко, разумеется, не мог не попасть под влияние этого талантливой и уже широко известного в то время поэта. Вот как он вспоминает об этом в стихотворении, написанном на смерть своего учителя:

В его душе летели птицы,
Планеты плавали в огне;
И проливались на страницы
Слова, неведомые мне.

И я его любое слово
Глотал, забыв и стыд, и срам,
И, как трамвай от Гумилёва,
Летел по призрачным мирам.

Анищенко уважал и ценил Юрия Кузнецова. И всё же влияние пост-модернизма не оказалось чрезмерным. Используемые поэтом символы большей частью понятны не только литературным критикам, но и читателям. Рассмотрим ещё одно стихотворение Михаила Анищенко, в котором он упоминает Юрия Кузнецова.

Время поста и пора разговенья.
Стол и тетрадка. Огарок свечи.
Бездна молчанья и пропасть забвенья –
Слева и справа – зияют в ночи.

Что происходит со мной? Непонятно.
Жизнь утекает, как капли с весла.
Доброе слово и кошке приятно,
Я же как кошка в когтях у орла.

Выше и выше взлетает несчастье,
Страшно когтями по тучам скрести.
То ли меня разорвёт он на части,
То ли над пропастью бросит: лети!

Что за беда? Не пойму и не знаю.
Знал Кузнецов, но сказать не посмел.
Русь подо мною. Лечу. Умираю.
Вот и сбывается всё, что хотел.

В первой строфе поэт констатирует тот факт, что он никому не нужен. Власть знать его не хочет, от таких её коробит; ей нужны представители лёгковесного шоу-бизнеса и примитивные скоморохи. (Когда Евгений Евтушенко позвонил руководителю департамента культуры Самарской области и спросил про Михаила Анищенко, то чиновница, помолчав, сказала, что она такого поэта не знает.) Друзья забыли о его существовании, литературные журналы его тексты игнорировали. И так проходили месяцы, годы и «жизнь утекает, как капли с весла». А Михаилу Анищенко хотелось, как и любому другому человеку, чтобы оценили его труд и сказали «доброе слово» о его литературном творчестве. А он писал не только стихи, но и прозу и пьесы.

Но вместо этого он «как кошка в когтях у орла». Орёл – это, конечно же, власть. Не зря на гербе у этой власти – двухголовый орёл. И этому орлу наплевать, что поэт живёт даже не в бедности, а в нищете.

Жизненные силы у поэта кончаются, здоровье подорвано. Он не знает, что делать, как жить дальше. По его мнению, Юрий Кузнецов многое знал, но не поделился ни с кем своими знаниями и, уходя из жизни, унёс эти знания с собой. Или оставил их в своих поэмах, которые толком пока не «прочитаны» его соотечественниками. В момент написания стихотворения поэту жить уже не хотелось: «Умираю. Вот и сбывается всё, что хотел». Он понимал, что трудно научиться жить, но ещё труднее – научиться умирать.

Однако неожиданно для всех, и для Михаила Анищенко тоже, его поэзию заметил и очень высоко оценил Евгений Евтушенко. И не только заметил, но и существенно помог в решении многих вопросов.

И в жизни Анищенко «звёздный час пришёл невольно»: начались его выступления в клубах, звонки из разных городов с просьбой приехать и провести поэтический вечер, поздравления, было издано несколько книг. Был даже переезд в подмосковную Истру. Впрочем, начать новую жизнь легко, трудно закончить старую. На новом месте поэт надолго не задержался. Он рассорился (скорее всего, из-за разногласий в оценке политических событий в стране) с Евгением Евтушенко и написал вот это стихотворение:

ЦАП-ЦАРАП

Звёздный час пришёл невольно,
Как ночной галеры раб.
Отчего же сердцу больно:
Цап-царап да цап-царап?

Молоко горчит, а пенка,
Словно сладкое желе.
Зря ты, Женя Евтушенко,
Помогал мне на земле.

Не осталось, Женя, веры,
Всё отбито на испод.
Не хочу бежать с галеры
В мир банановых господ.

Полно стынуть на морозе!
Пусть живут подольше, брат,
И в стихах твоих, и в прозе:
Цап-царап да цап-царап.

Проводи меня, Евгений,
В нищету мою и грусть.
Пусть во мне вздыхает гений,
Я с ним дома разберусь.

Самое ценное, что у нас есть – это смысл жизни. Не захотел Михаил Анищенко жить в «мире банановых господ» и вернулся в село Шелехметь, в «нищету и грусть». Бедность не страшна тому, кто не стремится к богатству. Поэт понимал, что страдание приближает нас к истине. А стихотворением «Цап-царап» он как бы сказал «Спасибо!» Евгению Евтушенко за участие в своей судьбе.

И безвременье имеет своих героев. И один из них – выдающийся поэт Михаил Всеволодович Анищенко. У него была счастливая творческая жизнь. Но беда в другом: если у человека была счастливая жизнь, это ещё не означает, что и сам он был счастлив. Поэт заслужил бессмертие души, потому что бессмертные души – это духовные ценности, которые живут после смерти их автора. Настоящие поэты как звёзды: излучают свет и после смерти.

Анастасия ВЕКОВА

Филолог, журналист. Родилась в 1991 году в Самарской области. Окончила филологический факультет Самарского государственного университета, аспирантуру Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Автор около 30 научных статей по историческому словообразованию русского языка, прагмалингвистике, ономастике, проблемам изучения новгородских берестяных грамот, творчества Ф.М. Достоевского, а также почти 50 публицистических материалов. Участник поэтических конкурсов и турниров. Живет в Самаре.

РАЗДЕЛЕННОЕ ЕДИНСТВО

Русская эмигрантская литература – уникальное явление. Ее существование обусловлено историческими причинами. Пожалуй, ни одна другая страна мира не перенесла в XX веке столько войн, революций и иных потрясений, как наша. За рубежом на русском языке были созданы многие шедевры, причем часто – авторами, которые оказались вынужденно помещены в среду двуязычия и так или иначе адаптировались к чуждым реалиям. Творили и на английском, но русский не забывали.

Хотя имена В. Набокова, И. Бродского, С. Довлатова и многих других литераторов сейчас широко известны, проблема изучения их творческого наследия стоит довольно остро. Вспомните, когда и при каких обстоятельствах вы впервые прочитали кого-то из этого перечня? Вряд ли в рамках школьной программы, и уж точно не в вузе – впрочем, для филологов сделаем исключение, но это отдельная тема.

Современная школьная программа по литературе, в большинстве своем, не затрагивает эмигрантской прозы и поэзии. До 1917 года более-менее полно изучается Серебряный век. Затем следуют стихотворения советской эпохи все тех же А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского. Далее – М. Булгаков, военная литература, «Василий Теркин» (безусловно, выдающийся), М. Шолохов, Б. Пастернак, А. Платонов. Вторая половина XX века представлена поэтами-шестидесятниками, деревенской прозой, А. Солженицыным – на этом практически всё. Эмигранты странным образом перемешаны с советскими авторами и даны далеко не все. Знания о трех волнах эмиграции нет, знакомства с творчеством Бродского – Нобелевского лауреата – тоже. Конечно, Бродский непросто, но существует и внеклассное чтение. Более того, ряд его стихотворений по форме вполне встраивается в общие ряды силлаботоники.

Здесь не хотелось бы давать поучительных рекомендаций о том, как изменить программу. Хватит и происходящего вокруг: творчество этих авторов приобретает все большую популярность. В Петербурге открывают памятник Довлатову и ремонтируют музей Бродского; снимаются фильмы. Впечатляет недавняя картина Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи»: в названии – отсылка к известному стихотворению Бродского, а в основе сюжета – довлатовский «Компромисс». Режиссер будто бы намеренно подчеркивает общность двух литераторов, их синергию – и не зря. При кажущейся разнице между ними действительно много общего. Но сначала стоит вкратце сказать о каждом по отдельности.

Роль Бродского в отечественной и мировой литературе трудно охватить полностью – настолько огромной она оказалась. Стихотворения удивляют оригинальностью формы и глубиной содержания, эссе – остротой мысли, а цитаты циркулируют по просторам Интернета. Можно сказать, в определенной степени Бродский формирует современную литературу.

Теперь поговорим о Довлатове, которым сейчас зачитывается весь мир. Его проза – явление исключительное. В ней смешались журналист и писатель, смешались как-то неповторимо элегантно. Она разительно отличается от языка предшествующих авторов. Довлатов всегда говорил, что походит ему хочется быть только на Чехова – фактически стиль формировался еще и во время работы в журналистике. Сочетание публицистики и художественности особенно привлекает. Писатель то играет узкоспециализированными терминами, то передает живую нелитературную речь, а рядом – стройный авторский язык. Журналист по образованию, отчисленный когда-то с филфака, Довлатов до конца своих дней оставался филологом, который презирал безграмотность. В этом контексте особенно заметны бесконечные жаргонизмы и нецензурные слова маргинальных героев его повестей, но именно такой контраст делает язык уникальным.

Конфликт, противоречие, несоответствие – три слова, которыми, пожалуй, можно охарактеризовать все творчество Довлатова. Бенедикт Сарнов справедливо называет его продолжателем традиции Зоценко – одного из основоположников театра абсурда. Мысль, конечно, революционная: все мы привыкли считать корифеями этого метода С. Беккета и Э. Ионеско, тем не менее специфику довлатовской манеры бытописания отражает сполна. Именно абсурд – причина смеха, который вызывают все рассказы писателя: его герои говорят и делают совсем не то, чего от них ожидаешь. Это проявляется во всем: персонажи, их направление мыслей, ситуации – чего стоит только один рассказчик из «Чемодана», спокойно гуляющий в костюме Петра I по советскому Ленинграду.

Даже краткий обзор демонстрирует, что в творчестве Довлатова и Бродского, на первый взгляд, много разного – начать хотя бы с того, что один прозаик, а другой поэт. Принадлежность к разным родам литературы отчасти развела их по разные стороны баррикады – однако при ближайшем рассмотрении эта баррикада оказывается фикцией.

При изучении на уроках литературы творчества какого-то автора обычно сначала говорят про биографию. Думается, такой подход очень актуален хотя бы потому, что творчество часто становится отголоском судьбы. Между Довлатовым и Бродским было определенное биографическое, пространственно-временное единство. Они выросли в Ленинграде,

впитали его атмосферу и энергетику – что скрывать, этот город для русской литературы всегда был особенным. Далее. И тот, и другой оказались маргиналами в советском литературном процессе второй половины XX века. Скорее всего, отсюда – ощущение ненужности, одиночества, лейтмотивом прошедшее в «Ремесле» Довлатова и многочисленных стихотворениях Бродского, вспомним хотя бы знаменитое «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» Изоляция и преследование повлекли за собой эмиграцию. Литературоведы говорят, что в состоянии внутренней эмиграции Бродский был и ранее – думается, к Довлатову это тоже применимо. Фактически внутренняя эмиграция переросла во внешнюю. Уезжали они с относительно небольшой разницей по времени: Бродский в 1972-м, Довлатов – в 1978 году и, что весьма характерно, обосновались в одной стране – США. Американская культура наложила отпечаток на последующее их творчество, образ жизни и занятий: первый много писал на английском и к тому же преподавал, второй занимался журналистикой, какое-то время был главным редактором газеты «Новый американец» и создал яркий «Филиал».

Между самими художниками было определенное идейное единство. Они уважали друг друга. В «Соло на ундервуде» Довлатов прямо называет Бродского гением – Бродский же говорит, что читать Довлатова легко, и восхищается лаконичностью его языка. Потом Петр Вайль напишет о сходстве человеческих принципов этих авторов, «общности миропонимания». Думается, это лучшая формулировка, которая только может быть в данном случае. Раскрыть ее легче, если вчитаться в слова самого Бродского: «...Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо. Я говорю об этом со знанием дела, ибо имею честь – великую и грустную честь – к этому поколению принадлежать». Такое указание на общность поколений дано в работе, посвященной Довлатову. По замечанию Петра Вайля, «Сергей Довлатов – единственный современный русский прозаик, о котором Иосиф Бродский написал отдельное самостоятельное эссе» На идейную общность двух авторов указывает и Александр Генис: «С Бродским Довлатова объединяла органичность, с которой они вписывались в этот горизонтальный пейзаж. Почти ровесники, они принадлежали к поколению, которое осознанно выбрало себе в качестве адреса обочину. Цена превыше всего свободу как от потребности попадать в зависимость, так и от желания навязывать ее другим, Бродский и Довлатов превратили изгнание в точку зрения, отчуждение – в стиль, одиночество – в свободу».

Вы скажете: как вообще можно сравнить прозу и поэзию? Давайте задумаемся. Прежде всего, не стоит вешать ярлыки. Тот же Бродский получил Нобелевскую премию не только за стихотворения, но и эссеистику, а еще создал несколько пьес. Довлатов вообще начинал как поэт, однако позже отказался от этой идеи. Не совсем понятно, что смутило автора, вероятно, тут довлел гений Бродского, которым Довлатов восхищался – сам он все-таки стал бы продолжателем традиционной силлаботонической поэзии. Симптоматично, что сам Иосиф Александрович позже отметит у Довлатова отчетливое стремление к поэтической технике: «...двигало им вполне бессознательное ощущение, что проза должна мериться стихом. <...> Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бумаге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической речи: к предельной емкости выражения».

Если все-таки не вдаваться в подробности и принять во внимание сложившуюся систему координат, в которой Бродский ассоциируется с поэзией, а Довлатов – с прозой, стоит взглянуть на ситуацию аналитически. Изначально творчество возникла как песня, то есть в стихах. Тем не менее в русской литературе не наблюдается перегибов в сторону какого-то одного рода. Конечно, в конце XIX века произошел расцвет романов, а в начале XX – модернистской поэзии, однако при рассмотрении в диахронии мы можем констатировать, что и поэзия, и проза, и драматургия нашли свое место в историко-литературном процессе. Они дополняли друг друга и в то же время были неотделимы (ярчайший пример – гений Пушкина). Также невозможно изучать, например, рубеж XIX–XX веков без пьес Чехова, рассказов Бунина и стихов Блока. Бродский и Довлатов представляют примерно такое же соотношение: формально представители разных родов литературы, они двигали ее в одном направлении, а именно – развивали традиции классической русской и мировой литературы, минуя при этом советское и не относясь в полной мере ни к одному из современных им течений. Для большей доказательности можно привести читательские предпочтения художников, ибо предшествующая культура во многом и формирует установки. В рассказах и эссеистике имеются отсылки к определенным авторам. Как уже отмечалось, Довлатов говорил, что ему хочется быть похожим на А. Чехова, а еще активно читал А. Пушкина, Э. Хемингуэя, Ф. Достоевского, Л. Толстого и закончил «Соло на ундервуде» признанием в том, что самое большое несчастье в его жизни – гибель Анны Карениной. Бродский же тяготел к античным формам и, думается, высоко ценил Ф. Достоевского. Так, в эссе «Катастрофы в воздухе» он делает интереснейшее замечание: романное начало в русской литературе XX века претерпевает кризис по той причине, что пошло за Толстыми – а надо бы, как Запад, за Достоевским. Все, что было советским, номенклатурным, занимало для них некую второстепенную позицию: Довлатов, например, сам признавался, что стал читать одну «нелегальщину», имея в виду, очевидно, самиздат и эмигрантскую литературу, а «к обычной литературе начисто вкус потерял».

Логично предположить, что схожесть биографии, идей и, наконец, базовой культурной основы повлияет на творчество, в котором явно будут заметны общие черты. Если читать внимательно, то можно заметить, что авторы пишут о чем-то особенном: они рисуют такой мир, который для советской власти не существует. Довлатов, кстати, размышляет в этом направлении, когда анализирует причины, по которым его не печатали в Союзе: «Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал – почему? И наконец понял. Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует. Власть притворяется, что этой жизни нет». Действительно, герои его произведений – не рабочие, крестьяне, даже не интеллигенция. Это маргиналы: заключенные, диссиденты, безработные, пьяницы. «Я писал о страданиях молодого вохровца, которого хорошо знал. Об уголовном лагере. О низах спившегося города. О мелких фарцовщиках и литературной богеме...» Разве могли такое опубликовать в официальных изданиях? Ответ напрашивается сам.

С Бродским в этом плане сложнее хотя бы потому, что и поэзия его не проста. Чуждый политике, он часто поднимает вечные вопросы, ударяется в философию и изображает то, что можно назвать движением души. В произведениях Бродского и Довлатова нет социалистических идей

и героев-тружеников – есть только литература, реальная, искренняя, являющаяся настоящим искусством. Что такое искусство? Если говорить приблизительно, то это выражение реальности, реализация себя через образы, символы. В процессе творчества художник должен в определенной мере дистанцироваться от действительности хотя бы в том смысле, в каком он действует по воле духа – иначе он сольется с ней и получится или публицистика, или просто халтура. В этом понимании Бродский и Довлатов были художниками в самом полном значении слова. «Мне казалось, я пишу историю человеческого сердца. И все», – признается Довлатов

Очевидна также и общность художественных принципов указанных авторов, о которой упоминает, например, Петр Вайль, и художественной техники. Не стоит называть все то, о чем было написано о ранее: исследовать установки, приемы, язык писателя можно бесконечно и подготовить не одну диссертацию. Мы отметим лишь один важнейший момент: свободное, порой даже вольное обращение со словом. У Довлатова мы встречаем «либерализацию» языка: легкий синтаксис, односоставные предложения, многоточия, отсутствие нагромождения придаточных, употребление нецензурных слов и жаргонной лексики, особенно в «Зоне». Эффект разговорности у Бродского тоже имеется (см. «Речь о пролитом молоке»), а также – игра рифмой, формой, семантикой. Тут они оказались новаторами своего времени: творчество этих авторов начинается в 60-е годы и среди поэтов-шестидесятников, деревенской прозы и других направлений выглядит обособленным.

Итак, Бродский и Довлатов, чуждые советской идеологии, мыслили в одном направлении, стояли особняком в литературном процессе второй половины XX века и до сих пор изучаются в рамках эмигрантской проблематики, в то время как на самом деле они были хранителями и продолжателями лучших традиций русской и мировой литературы. Каждый из них изучается сейчас как отдельно взятая фигура, часто – вне диахронического контекста и сравнения с современниками. Феномен восприятия их потомками (в наше время) лучше всего обозначить термином «разделенное единство», однако это лишь частный пример того, как сосуществуют в литературном процессе авторы одной эпохи. «Общность миропонимания» в данном случае наиболее ощутима и позволяет рассмотреть художников в схожей биографической, идейной, творческой плоскости.

Гораздо сложнее обстоит дело с писателями, чьи установки были несколько другими или вообще противоположными. Вторая половина XX века изобиловала литературными направлениями, и до сих пор, по прошествии десятилетий лет, не совсем понятно, как соотносить, например, деревенскую прозу, городские повести, соцреализм, поэтов-шестидесятников, а еще эмигрантов, постмодернистов и т. д. Возникает фундаментальный вопрос, который полвека назад задал сам Довлатов: это одна литература или нет? Рассуждая на эту тему, он выделяет три направления развития литературы (номенклатурная, либерально-демократическая, эмигрантская и с ней самиздат) и, сравнивая с тем, что было в конце XIX века, когда взаимодействовали разные авторы, взгляды, течения, сейчас кажущиеся уже частью общего целого, приходит к выводу: рано или поздно и литература второй половины XX века будет восприниматься единой – правда, лет через двести. Симптоматично, что мы, поколение 90-х, к коему принадлежит автор этих строк, воспитанное еще на учебниках, близких к советским, но выросшее уже в но-

вой России, синергии в литературе XX века по-прежнему не ощущает. Казалось бы: и социализм, и весь XX век, и вообще второе тысячелетие уже в прошлом – почему не получается взглянуть на эту эпоху как на объективно ушедшую? Вероятно, прав сам Довлатов: прошло слишком мало времени. Трудно делать выводы, если ты был современником происходящего: традиционно такая участь отводится лишь потомкам, которые еще не вступили в игру в полную силу из-за возрастного ценза. Отдельно заметим, что и сам современный литературный процесс слишком завязан на наследии второй половины XX века. Так, например, российский постмодернизм, получивший развитие в то время, по-прежнему существует, поэтому оценить его трудно. Тем не менее сейчас, когда на дворе 2017-й, можно подвести определенные итоги литературы второй половины XX века и завершить фразой самого Довлатова: «Литературный процесс разнороден, литература же едина. Так было раньше, и так, мне кажется, будет всегда» Или, как мы уже говорили, разделенное, но все-таки единство – впрочем, это уже тема для отдельных размышлений, а приведенная цитата подчеркивает также и частную общность двух авторов.

Далекое — близкое

Виктор БАКИН

Родился в 1957 году в городе Мураши Кировской области. Окончил Кировский политехнический институт. Работает в областной газете «Вятский край».

Автор десяти книг, публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Дружба народов», «Роман-газета», «Аврора». Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени св. князя Александра Невского, Всероссийской литературной премии «Имперская культура» имени профессора Эдуарда Володина, православной литературной премии имени святителя Макария, Апостола Алтая.

Член Союза писателей России. Живет в Кирове.

ВБЕГУТКИ... ПО ВРЕМЕНИ

Холоден октябрь в Вятке.

Ежедень гонит ветер листованную рвань по уличному застылку, по хрустящим ледяным осколкам, в прохудины неба сыплет белой крупкой, задирает воротники, рвет пуговицы, разметывает в стороны полы пальто.

В такую перемесь дождя и снега и на улицу выходить нет никакой охоты, но порой надо: дела-заботы куда денешь? Или какой еще интерес случится нечаянным образом...

Вот так и мне выпало как-то в октябрьское непогодье от Спасского собора — с массивным деревянным крестом на месте порушенного купола, с пятнами сбитой штукатурки по поверхности древних стен, с дощатым оградительным проходом-козырьком на паперти, но уже вышающим медленным, но верным темпом в паутине лесов красно-коричневую колокольню в три яруса — неволить себя по сиротливой улице, по овражному спуску торопливым сбегом. У Приказной избы тормознулся еще на мгновение, глянул вниз, в мутноту ближайшей дали — домов впереди словно и нет вовсе, зарешечены густо кронами бордюрных деревьев.

Прохожих вокруг никого, машина — и та в редкость. Потому не в боязнь, не в сумасбродь и вовсе вышагнуть на проезжую часть, на самую ее середину, где и мусора, и обледенелости поменьше. А следом и просто подчиниться увлекающему скольжению под горку, вбегутки, когда ничто от тебя не зависит, но все само собой и разумно сладится.

В эту растрепанную минуту и почувствовал я нахлыв душевного волнения, увидел взрывным озарением, зацепил внутренним слухом движение большой массы людей – и все навстречу, навстречу! Впереди фонарь-светильница, чуть поотсталъ – крест, еще подальше – святые знамена с ликами Спасителя и Богоматери, хор певчих с ангельскими голосами, а следом – на наплечных носилках вся убранная сиреневыми цветиками, праздничная икона святителя Николая... А за ней крестоходцев многое множество – с пятнышками иконок на груди (издали и не различишь, чей образок, но и так верно догадаешься – чудотворца Мирликийского), с тяжелыми заплечными рюкзаками на долгую дорогу, с походными поролоновыми ковриками, закатанными в рулон, с лицами сосредоточенными, светлыми от легкой думки. И мужчин много, и молодых, есть и совсем маленькие дети: каждый свою котомочку безропотно несет, не тяготится...

Заглавие крестного хода, кажется, уже и миновало давно, хотя и нет за временем слежки, не до этого сейчас, а окончания числа трудников все нет и не видно: из-за поворотки, от ворот Трифонова монастыря непрекращательно идут и идут люди. (Где-то, верно, и я там тоже – в выцветшей панаме, в неизменной зеленой штормовке, провожаемый на первых шагах женой.) И не отставшие, не притомившиеся какие: когда бы еще было устать, все только в самом начале.

Идут и идут, шаркая сапогами да кроссовками по сухому асфальту, облитые июньской солнечной теплотой: переговариваются кратко или в молитвословы глаза опустили. И от вида этого бесконечного мирного воинства Христова славно, сладостно на душе...

Три дня и две ночи томительной ходки до Великой реки еще предстоит, до праздника на сосновом обрывном берегу – под вёдреным небом, с жаром несносным, с доставучей мошкаррой и звенящими комарами, или впротиву под черным небосклоном с пригрозой черного ливня стеной, а то и града, то и снега. И такое доставалось испытать православным за шестивековую историю ношения иконы великого Чудотворца, верного хранителя земли Вятской – и в старинные, легендарные времена, и в совсем недалёкие памятные годы.

Застытся слезно глаза в переживательную эту минуту откровения, рука перстами сама ко лбу тянется, потом к животу, к плечам... И голова покорно в поклон уходит, сгибая спину – ниже, ниже...

Долго, коротко ли прошло – различать недосуг, а вернулся в выпрямку – пинюгай не пинюгай, а нет никого в округе, было – не было видения богомольцев – никто не подтвердит, не усмехнется. Только знобно на сердце да по ногам гонит ветер выброски осенних деревьев.

Сон ли, явь ли – а вновь почти тихо над Засорой.

Тихо?.. А это что? Погрезилось в новый черед или задурманило, обнесло окончательно голову октябрьским лиховеетром, только вновь различает остро воспаленный слух колокольный звон по всему городу, а к овражью поближе – приглушенное хоровое пение да топот сотен ног. Где-то поначалу в районе Кафедрального собора. А вот уже и на самой взгорочке, у Спасского храма...

Мокрый снег с ветром по-прежнему донимает до крайности терпения, упорным перегородом встает на проходе, лицо пощечинами бьет, затмевает четкость зрения. Лоб, глаза на мгновенье порой прикроешь, чтобы хоть немного побережешься. Но следом же и уберешь руку в опасливом беспокойстве – как бы что важное не упустить.

И, слава богу, не упустил – открывают ход причетники в стихарях с запрестольным крестом и хоругвями. За ними – по два в ряд –

выбранные по прилежанию и послушанию ученики духовного училища и семинарии с наставниками и инспекторами, следом – поющие догматики дьяконы в облачениях. После них следовали тоже двурядно двенадцать монахинь вятского девичьего Преображенского монастыря в мантиях, потом таким же порядком и в таких же одеждах двенадцать монахов вятского мужеского Трифонова монастыря. А уж в самом заключении – священники в белых облачениях, с самыми почитаемыми на Вятке святыми иконами – Спаса Нерукотворенного, Божией Матери Тихвинской, святителя Николая Чудотворца да архистратига Михаила, неизменно носимыми в местных крестных ходах, и бережно поддерживаемый с боков, в предшествии четырех дьяконов со свечами и кадилами настоятель слободского Крестовоздвиженского монастыря архимандрит Иероним... И еще чуть по отступе приличного расстояния – избранные члены всего вятского общества и все остальные жители рядового звания...

Невольный вопрос: куда же сие торжественное шествие направляется? Мимо Спасского собора, мимо Донской Стефановской церкви – к новостроенному Александровскому собору, чтобы совокупным ходатайством всей вятской Святыни, всего вятского населения содействовать к низведению на него благодати ожидаемого освящения.

Коли так, как же остаться в стороне от такого заметного события, возможно ли?.. Вот впотаях, бочком и прильнул словно к общему строю в замыкании, заспешил торопко следом по хрустящему ледком мусорному загребку.

К полудню или где-то скоро за ним провел освящение по чину святой церкви преосвященнейший Агафангел с архимандритами и протоиереями в подмоге, отслужил следом и Божественную литургию. И многолетие провозгласил: всему царствующему дому, всем жителям Вятки.

И все это время вокруг храма перетоптывалось грудно в молчаливом терпении огромное собрание народа: и велик был собор во имя благоверного князя Александра Невского, благолепен и просторен внутренним пространством, а все же и у него предел есть, невозможно всех жаждущих разом принять. Не порывался, кажется, и я всеми правдами-неправдами непременно проскользнуть, протереться хотя бы на паперть или на галерею – напротив того, выгадал минутку, отбежал чуть поодаль, в пустынную сторону, чтобы еще раз, не в торопливый случай, а в спокойную охотку восхититься этим витберговским чудотворением, душу свою побередить восторженной радостью...

Возведенный в центре обширной Хлебной площади, на сбеге Казанской и Семеновской улиц, храм этот – если бросить взгляд с севера, с холмов старых жилых кварталов – словно сказочный русский богатырь в белых ратных одеждах поднялся над городом бессменным заступником и твердым охранником. Такая доблесть и мощь читалась в нем, такая правда и красота всечасно тешила глаза... Да и с разных иных мест он был тоже изначально заметен, хоть бы и из-за реки, с заливного, заивленного берега – и огромным куполом-шлемом, и малыми колокольными главками. А уж если в ближайшем подступе оказался – то и вовсе нет слов от восторга.

И верно: с какой бы стороны ни подошел, ни подъехал к Александровскому собору – все едино, все гармонично в восприятии: портал, ажурная арочная галерея первого яруса, на которой хорошо укрыться в непогоду пасхальной ночи; сдвоенные окна, широкий фриз, обрамляю-

щий самый верх стен рядками балясин и ложными закомарами, переходящими на башни, – в плане этот второй ярус формировал по авторской задумке равноконечный крест; и, наконец, храмовое завершение – голубой, как небо, купол, готического рисунка стрельчатые окна которого создавали ощущение легкой воздушности...

«...высится в Вятке собор. Стоит на горе, на просторе, он издали виден, сам видит далеко, над далью, простором, над городом, краем царит. Огромен, велик он, высок и массивен, но строен и нежен; в нем все гармонично. И кажется, он не из камня, будто он слит из металла. Обширный, он ничто не теснит, а как бы все, что вблизи и вдали, готов обнять, привлекает, зовет. Тяжелый, земли не давит, вознесся в высь и там, в воздушной синеве, недвижимо парит. При величии, при богатой отделке, он прост и близок богатым и бедным...» – восклицал один из современников духовной жизни Александровского храма.

«...этим храмом Вятка остается навсегда в памяти ее посетившего – он самый замечательный предмет в нашей стране, он один из лучших произведений искусства в нашем Отечестве, он наша гордость, наша слава!...» – согласно вторил ему другой...

На вечные века, на долгую память, напрягая силушку, собирая по копейке народную денежку, завлекая к себе искусных мастеров с иных земель, три десятка лет возводили этот обетный собор святого Александра Невского деятельные наши предки. Иди поищи еще по российской провинции такую красоту – не сыщешь! Только короток оказался его век, слаба память потомков. Им бы все клубы, все песни да пляски – о душе незачем подумать. Да и некогда. Сначала революционные вихри веяли в голову, потом денежный соблазн все затмил, затуманил...

...Околели ладони от заиндевелого камня колонны, да и ногам стало зябко, маотно – только тут враз и опаматовал: где я, что? На соборной галерее освященного храма? Непохоже – уперся прямой взгляд в большую вывеску «Меха» над входной стеклянной дверью. И рядом, по грязно-желтым стенам – все афиши, все плакаты с зазывательными приглашениями на концерты заезжих певцов и танцоров, на всякую разную разъездную торговлю.

По стандарту прямоугольная, в три этажа коробка клуба – вожденная мечта ярых комсомольских масс, а по современному языку – филармония возвышалась сейчас передо мной. С фонарными столбами на привходных дорожках, с голыми лиственницами, с чадящими машинами на отдаленной улице имени коммунистического вождя.

А кругом тонул в мокром снегопадном охвате бесприютный день равнодушного двадцать первого века...

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области
Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий

и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 04.06.2018.
Выпущено в свет 25.06.2018.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13